Б-201205

ДИОН БЕРЕЗОВ

ПЕСНИ ЖИЗНИ

Б-201203

РОДИОН БЕРЕЗОВ

ПЕСНИ ЖИЗНИ

Издание первое 1990

© Христианское Издательство

Christlicher-Verlag GmbH
Pfarrer-Hennigstr. 2-4
8751 Großwallstadt

printed in Germany by
Druckhaus Gummersbach

Родион Михайлович БЕРЕЗОВ

ПЕСНИ ЖИЗНИ

Жизнь поет!

Какой удивительный голос у певицы. То грустный, то веселый, то громкий, то тихий, но всегда чистый, незабываемый.

Слушает эти песни душа и чувствует, как отрастают крылья для полетов к вершинам красоты.

Слезы умиления струятся под эти дивные песни.

Как хороши эти слезы — кристальные, целебные, лучше всяких бальзамов, прописанных врачами.

Наставница жизнь, ты пела мне все годы колокольными звонами, шумом лесов, шелестом трав, прибоем морских волн, плеском речных струй, бульканьем весенних ручьев.

Ты убаюкивала меня песнями матери и жужжанием прялки в зимние вечера, когда в печной трубе надрывно стонала и плакала вьюга.

Ты влекла к небу певучими грозами, золотым би-

сером жаворонков, трелями соловья, переливами иволги, журчанием скворцов.

Верная, мудрая, милая — то добрая, то строгая, ты пела мне в захолустной деревне и в блестящей столице, на уютной суше и на вечно колеблющемся океане.

Ты радовала меня и моих друзей в светлые минуты благополучия и разрывала сердце в часы безысходного горя.

Ты никогда не молчала. Пение — твоя стихия. Ты научила и меня откликаться песнями на радость и страдание.

Когда ты споешь надо мной последнюю песню разлуки с земным великолепием, я не ведаю. Знаю одно: хороши твои песни, но небесные еще прекраснее.

Пропев надо мной расставанье, ты будешь радовать и печалить миллионы живых людей. Твои песни не умолкнут, потому что ты бесконечна.

О Всемогущий, Всеблагой, Вездесущий Бог, прими мою искреннюю благодарность за все песни, пропетые жизнью для моей души!

Ноябрь 1969 г., Брайт.

СВЕТЛАЯ ДУША

«Из всего этого я должен выйти человеком».
Вл. И. Немирович-Данченко.

ВИДЯТ И СЛЫШАТ

Электрические часы на перекрестках и площадях золотились в розовой прозрачности вечера. Большие черные цифры круглых циферблатов, как живые, были видны на далеком расстоянии.

Все в эти минуты казалось на месте в вечерней панораме Смоленска — и проржавевшие купола стройного древнего собора, и крепостные кирпичные стены времен Бориса Годунова, и лилово-оранжевые ленты дыма из заводских труб, деревья на улицах, в скверах и

парках, уютные домики с колоннами и рядом с ними новые большие здания, сплошь блестевшие стеклами, желто-красные трамваи, бегущие по улицам, товарные поезда чуть видные за рекой, буксирные пароходы с баржами, гружёными каменным углем, далекие деревни, разбросанные по склонам многочисленных зеленых холмов.

На лицах пешеходов уже не было той издерганности, какая бросается в глаза всякому свежему человеку, попавшему в городской водоворот.

В старинном парке, на западной окраине города, играл духовой оркестр и туда сейчас больше всего стекалось народу.

Проходившие мимо медицинского института невольно задерживались и с любопытством прислушивались к голосам, доносившимся из открытых окон.

— Какое-то собрание, — говорили одни.

— Торжественный вечер пятого курса по случаю окончания института, — объясняли сведущие люди.

Вот медленно шагавший по тротуару старик в чистом чесучевом пиджаке, с благообразным лицом и аккуратной седой бородкой, отставив трость, задержался напротив колоннады института. Из-за угла к нему подошел другой такого же возраста, но без трости, в сером залатанном костюме.

— Э-хе-хе, — вздохнул первый.

— Д-а-а, — как эхо откликнулся второй.

Многое заключалось в этих восклицаниях. «Были когда-то и мы рысаками», — вероятно думали обремененные годами люди, — и мы слушали лекции, сдавали зачеты, мечтали о благе для народа, спорили, выпивали, веселились, влюблялись... Теперь не умеют так жить... У теперешней молодежи нет того размаха, который был свойствен студенчеству нашего времени».

Но, думая так, они все-таки завидовали тем, которые собрались сейчас отпраздновать незабываемый водораздел жизни: позади — молодость и ученические годы, впереди — возмужалость и честный труд.

— Чтобы ни говорилось о современной русской молодежи, — думали старики, — как бы ни бранили ее брезгливые самовлюбленные ретрограды, у нее нельзя отнять того, что особенно удивляет иностранцев: не-

утолимой жажды знаний, которая примиряет этих юношей и девушек с недоеданием, недосыпанием и жалкими конурами.

Старики прошли дальше. В саду, примыкавшем к институту, сели на скамейку и погрузились в воспоминания.

Когда-то этот белый дом с колоннадой принадлежал дворянскому собранию. Много знаменитых людей ступало по его пологим мраморным лестницам, устланным мягкими коврами. Много элегантных дам и кавалеров танцевало в его залах, залитых ярким светом хрустальных красивых люстр. В этом доме давал концерт всемирно известный соотечественник — композитор Михаил Иванович Глинка. Здесь выступал Федор Шаляпин, а в 1912 году, за шесть лет до своей трагической гибели тут присутствовали на юбилейном балу высочайшие особы: Государь Император Николай Александрович и Государыня Императрица Александра Феодоровна с августейшими дочерьми.

Теперь этот исторический дом отдан медицинскому институту. Сюда приезжают на гастроли известные артисты Москвы и Ленинграда. Здесь нашли приют наука и славная русская молодежь.

Много стариков и старух сидело в этот вечер на скамейках неподалеку от памятника Глинке. Большинство из них жило, главным образом, прошлым, потому что не могло и не хотело примириться с настоящим. Но вот сейчас духовая музыка из парка и молодые голоса из актового зала института говорили им о том, что жизнь нельзя остановить, что реки не текут вспять и что будущее с сотворения мира всегда принадлежало юности.

— Ну, что ж, дай им Бог доброго здоровья, вон как они аплодируют какому-то оратору... Да, да, на аплодисменты современная молодежь не скупа, может быть потому, что не очень взыскательна или чрезмерно добра.

В АКТОВОМ ЗАЛЕ

Актовый зал был ярко освещен. Горели три больших люстры и все боковые канделябры.

Над временным помостом для президиума, в середине, висел широкий плакат с крупными буквами: «Кадры решают все». Над плакатом был укреплен огромный герб СССР. По обеим сторонам плаката свисали знамена двенадцати союзных республик. Справа стоял на подпорках трехметровый портрет неправдоподобно красивого Сталина, слева — таких же размеров портрет Карла Маркса. Простенки зала занимали изображения членов политбюро. Все они были сделаны в лубочно-натуралистическом стиле и обрамлены массивным золоченым багетом.

О, как неуместны были все эти портреты в старинном стильном зале. «Какое отношение к этому зданию, к этому вечеру и к большинству собравшихся здесь имеют какой-то Андреев или Микоян, да и сам «отец народов» Сталин?» — недоумевали многие из присутствующих, — не лучше ли было бы украсить зал портретами Пирогова, Сеченова, Павлова, Менделеева, русских знаменитых писателей, художников и композиторов?

На длинном столе президиума, покрытом красным сукном, стояло несколько ламп с круглыми металлическими абажурами. Такие лампы назывались «съездовскими» и были необходимой принадлежностью всех торжественных заседаний.

В президиуме, кроме профессоров и представителей от окончившей институт молодежи, сидело много областных партийных главков .

Зал был заполнен выпускниками и гостями.

Все речи, приветствия и поздравления были уже сказаны. Официальная часть, несмотря на свою торжественность, утомила собравшихся. Каждый с нетерпением ждал концерта. Когда было предоставлено слово «для подведения итогов» секретарю студенческой партийной организации Ефиму Шаталову, по залу прокатился ропот возмущения: — Этот выскочка и карьерист лишен минимального такта, — подумали многие, боясь сказать об этом вслух. И только нетерпеливое покашливание, скрипение стульев и невольное восклицание «Ох», раздавшееся одновременно в разных концах зала, дали понять этому человеку, что его вторичное появление за кафедрой — вторая ложка дегтя в сегодняш-

нем торжестве. Что может он сказать, кроме никому ненужных общих мест о том, что партийная организация института «сделала все, чтобы наш ВУЗ был одним из первых по качеству профессуры и студенчества»?

На помосте было две кафедры — слева и справа от президиума. Шаталов подошел к левой. С неприязнью взглянули сотни глаз на высокого брюнета с толстыми влажными губами. Он носил пенсне без оправы на черном шнурке, конец которого был закреплен в петлице коверткотовой куртки цвета беж. Черные зрачки бегающих глаз подтверждали самодовольство их расторопного хозяина. Эту самовлюбленность он не мог да и не хотел скрывать. Он злоупотреблял жестом, который доводил девушек до нервного расстройства: левой рукой он то и дело обхватывал подбородок, как бы поглаживая несуществующую бороду. Голос у него был писклявый — «бабий», по мнению студентов. Говорил он всегда с пафосом, обдавая брызгами слюны своих собеседников. В тех же случаях, когда не требовалось официальности, он играл в панибратство и, фамильярно похлопывая по плечу собеседника, рассказывал неприличные анекдоты. Если товарищ смеялся, Ефим, ссутулившись, потирал от удовольствия руки и усиленно облизывал кончиком языка красные мясистые губы.

Студенток он отталкивал от себя бесцеремонностью обращения и бесстыдным раздевающим взглядом. Студенты ревновали его ко многим девушкам и втайне мечтали когда-нибудь поколотить.

И вот этот человек снова мозолил всем глаза своей персоной, подводя итоги сказанному за вечер. Снова, как и в первый раз, он повторил, опротивевшую всем фразу, что «Жить стало лучше, жить стало веселей», а когда весело живется, тогда и труд для человека — не обуза, а сплошное удовольствие. Не забыл он дать совет и насчет бдительности, особенно в такой период, когда Советская страна с величайшим напряжением готовится дать отпор мировым захватчикам.

— Мы должны доказать свою готовность, в случае необходимости, умереть за того, кто как солнце светит всему миру!

В этот момент раздались аплодисменты, хотя кое-ко-

му в президиуме и в зале хотелось сжаться в комочек от стыда за свои деланные восторги.

Когда Ефим, наконец, закончил свою речь бесконечным перечислением разных «да здравствует», все вздохнули с облегчением, хотя снова пришлось аплодировать. Был объявлен короткий перерыв перед концертным отделением. Члены президиума сошли с помоста в зрительный зал. Стол был унесен. Публика частью сошла в нижний зал покурить, частью устремилась к буфету, который помещался на площадке перед входом в зрительный зал. Никаких особенных деликатесов в буфете не было, кроме «соевых батонов», жалких бутербродов с колбасой и ситро местного производства.

Погода стояла жаркая. Две молодые буфетчицы в белых платьях едва успевали сковыривать металлические покрышки с бутылок.

— Товарищи, уступите место профессору, — раздались голоса у буфета.

— Ничего, ничего, — замахал рукой человек с седыми вьющимися волосами.

— Нет, нет, Александр Трофимыч, подходите.

— Да ведь я не один, а с гостем. Значит из-за нас будут двое страдать лишнюю минуту от жажды.

— Ради вас можно пострадать не две минуты, а два часа, — сказала молоденькая девушка с обесцвеченными перекисью водорода волосами и с маленькими, слегка косящими глазами, похожим на два черных уголька.

— Я, кажется, незнаком с вами, доброе создание, — сказал, улыбаясь профессор.

— И не мудрено, Александр Трофимыч, потому что я не студентка вашего института, а только на правах гостьи сестра одной из выпускниц.

— Кого же, если не секрет?

— Костровой Ани.

— Очень приятно познакомиться.

И профессор, протянув руку девушке, отрекомендовался:

— Разговоров.

— Нина.

— А это мой брат — тоже гость на сегодняшнем

вечере, Юрий Трофимыч Разговоров. Приехал погостить из Ленинграда в родной город.

Нина на мгновение замерла, как зачарованная: Боже мой, какой интересный мужчина!

— И попали, как Чацкий, с корабля на бал, — сказала она, решив блеснуть своей культурностью.

— Нет, я гощу здесь уже с неделю.

Выпив по стакану ситро, братья вместе с Ниной вернулись в зал.

— Почему же вас нигде не было видно? Наш город не так велик, — допытывалась Нина.

— Потому что все дни провожу за городом. В лугах, в лесу, на Днепре.

— Выступления вашей сестры ждем с нетерпением, — сказал профессор, — ах, какой у нее необыкновенный голос. С третьего курса уговариваю ее — пойти на сцену, хотя, как профессор медицинского института, совсем не заинтересован в том, чтобы из стен нашего ВУЗ-а разбегались лучшие студенты. Но к несчастью, а может быть и к счастью, с чудесным голосом у нее сочетается удивительная скромность. Твердит одно: «Какая я певица? Меня близко к сцене не подпустят. Дай Бог, если получу звание врача». Все профессора не нахвалятся ею. По всем дисциплинам идет впереди. Жалко расставаться с такой редкостной девушкой. Уговариваем ее остаться при институте ассистенткой. «Нет, — говорит, — поеду в село, к крестьянам». И что ей эти крестьяне полюбились? Я-то догадываюсь, что ее притягивает к деревне. Медицина — это, так сказать, гражданский долг, а настоящая стихия Анны Костровой народная песня. Когда я слушаю Аню, то почему-то всегда вспоминаю прекрасный рассказ Тургенева: «ПЕВЦЫ». Помните, какое действие оказала песня на слушателей в летний душный день, в захолустном деревенском кабаке?

— Как же, отлично помню, — кивнула Нина, хотя ни разу не удосужилась дочитать этот рассказ до того места, где описывается состязание двух певцов.

— На меня пение Ани оказывает странное действие. Чтобы она ни пела, я, слушая ее, проливаю слезы. Да, да и не стыжусь в этом признаться. Вот дожил до седин, видал и перевидал в жизни столько плохого

и хорошего, что голова идет кругом, как оглянешься назад. Казалось бы, душа должна была очерстветь. Ан, нет, ничего ей не делается, еще слезами на песни отзывается. Вам, Ниночка, конечно, не терпится узнать, что заставляет меня плакать? Отвечу: гордость за русского человека, который своим талантом может перевернуть всю душу. Простите, что заболтался, хотя надо же оправдать фамилию «Разговоров»... Замечали вы, деточка, как зачастую фамилии очень метко определяют сущность человека?

— Да... да... например Сталин... Ведь он действительно стальной, — сделав умное лицо, — прошептала Нина.

— Не будем касаться политических деятелей. Да и вообще, кажется, пора замолчать. Уже звонят. Пойдемте займем места получше.

— Ну, брат, я на тебя в обиде, — сказал Юрий Трофимович, — гощу у тебя неделю и ты ни словечком не обмолвился о таком чуде, как Аня Кострова.

— Сюрприз тебе готовил, для этого и на выпускной вечер пригласил. Признайся, ведь ты не ждал от этого вечера ничего интересного?

— По правде сказать, пока была только тошнотворная говорильня.

— За все будешь вознагражден концертом и может быть даже не всем концертом, а лишь одной исполнительницей народных песен.

— Я так заинтригован, что сгораю от нетерпения.

— Ой, кажется сюда идет Ефим, — испугалась Нина.

— Вы боитесь его? — спросил профессор.

— Нет... но он очень уж... как бы это сказать? Стремительный!...

До сегодняшего вечера я совешенно не была с ним знакома. До начала торжественного заседания кто-то ему сказал, что я сестра Ани. Он подходит ко мне, навязчиво знакомится, рассыпается в комплиментах и уже через минуту предлагает поехать с ним на лодке в «Красный бор». Ну, как это назвать?

— Примерной активностью партийца.

— Вам смешно, а он вон какой губастый.

— Значит, горячо целуется.

— Ну, его... прилипчивый, как банный лист.

— Это, деточка, все же меньшее зло. Было бы гораздо хуже, если бы вы прилипали к таким товарищам, как наш уважаемый Шаталов.

КОНЦЕРТ

Публика заняла места. В зале стало тихо. Конферансье (один из окончивших институт — блондин в синем костюме) объявил о начале концерта, который будто бы состоит из такого количества номеров, что их исполнение займет всю ночь, весь день и прихватит следующий вечер. Все почувствовали, что это шутка и заулыбались, заранее извиняя все потуги на остроумие: ведь он же не специалист-хохмач. Слава Богу, если избавит публику от пошлостей и бородатых анекдотов, от которых как-то всегда не по себе культурному человеку.

Сначала выступил мужской студенческий джаз, недурно исполнивший всем известные танго и фокстроты. Конферансье спел под аккомпанимент джаза несколько жанровых песенок, за что был щедро вознагражден аплодисментами. Потом выступали приглашенные артисты эстрады, драмы и цирка. Были показаны скетчи, партерная акробатика, музыкальная эксцентриада, танцевальные номера.

— Когда же выступит Кострова? — несколько раз спрашивал Юрий Трофимыч, наклоняясь к брату, — может быть она раздумала выступать?

— Запасись терпением. Где это видано, чтобы самое вкусное блюдо подавалось первым?

Нина тоже забеспокоилась, почему не выпускают сестру?

— Она такая застенчивая... Когда выходит на сцену, сердце у нее готово выскочить из груди от страха. Не понимаю, к чему так волноваться? Если бы пела плохо, или публике не нравилось бы, ну тогда другое дело. А то ведь со сцены не отпускают.

— Ваша сестра — настоящий большой художник, потому и лишена самоуверенности, свойственной всем бездарным выскочкам и хвастунишкам, — сказал профессор.

Они тихонько перебрасывались фразами в те моменты, когда публика была поглощена аплодисментами. Наконец, конферансье объявил:

— Сейчас, дорогие друзья, я хочу предложить вашему вниманию то, что все вы ждете с колоссальным нетерпением.

Раздались шумные аплодисменты.

— Вы, конечно, догадались, кого я имею в виду.

— Аню Кострову! — раздался выкрик из зала.

— Не ошиблись, молодй человек: народные песни в исполнении нашей любимицы, нашего товарища по институту, Анны Романовны Костровой.

И снова зрительный зал забурлил восторгами.

На сцене появилась она. Кто-то бросил ей под ноги розовый пион. Юрий Трофимович аплодировал вместе с остальными. Аня остановилась неподалеку от рояля. Взоры всех присутствующих были устремлены на стройную девушку в белом шелковом платье. Заплетенные темные косы были положены вокруг головы и это придавало девушке приятную солидность. Большие синие глаза согревали зрительный зал благодарностью за внимание.

— «На горе-то дождик», — объявил конферансье, когда аплодисменты стихли.

Пианист сыграл вступление — несколько минорных аккордов. Вслед за этим зазвучал голос — густой, сильный, бархатистый.

На горе то дождик,
В долине туман,
На меня, на девицу —
Горе и печаль.

Перед слушателями предстала меланхолическая картина: осень, мелкий нудный дождь, белые туманы, окутывающие холодным саваном землю. Как не загрустить всякому человеку в такую пору, а в особенности молодой одинокой девушке?

День тоскую,
Ночь горюю:
Забыл мил меня.
Он забыть-то не забыл,
Ину полюбил.

Печальные раздумья завдадевают девушкой: почему

милый бросил ее и полюбил иную? Чем она хуже разлучницы?

Иная разлучница
Чем лучше меня:
Ее лицо не белее,
Щеки не алее.

Напряженная тишина воцарилась в зрительном зале. Невольные вздохи только подчеркивали силу впечатления, охватившего слушателей. Профессор Разговоров плакал, закрыв глаза левой рукой. Юрий Трофимыч переживал молитвенный экстаз: «Боже мой, какая сила... какое очарование... какой талант... какая красота»...

Несколько заключительных аккордов. Поклон публике, очнувшейся от звучащего гипноза певицы.

— Браво! Браво! — забушевал зрительный зал. Шум аплодисментов напоминал морской прибой во время шторма, или бурю в лесу, которая вырывает с корнем могучие дубы.

— Вот сила художественной правды, — думал Юрий Трофимыч, — ведь певица нарисовала перед слушателями драму девушки. Почему же она захватила всех так, как не могли захватить ни веселые скетчи, ни бравурные танцы, ни юмористические куплеты? Только теперь он понял, почему в состязании двух певцов, описанном Тургеневым, первенство осталось за грустной песней. Значит трагичность, грусть, печаль — основы русского бытия и потому правдивое изображение их большим художником заслоняет все радости, кажущиеся такими непрочными, такими преходящими.

Многих, которые выступали перед этим, а теперь разгримировывались в соседней комнате, охватила зависть: такой успех никогда не выпадал на их долю. Может быть ее приветствуют так бурно потому, что она своя, а мы чужие? — думали артисты.

Но дело было не в том, что Аня и большинство сидящих в зале связаны узами пятилетней дружбы, а в том, что это удивительно скромная на вид девушка обладала обаянием, соединенным с ярким талантом. Ею заранее гордились, как светилом в артистическом мире, потому что знали: не выдержит она долгого пребывания в глухой провинции, искра Божия потянет ее на сцену — не

для того, чтобы упиваться успехами, к чему стремится большинство честолюбцев, а для того, чтобы дарить тысячам людей минуты высокого наслаждения.

— «Овечушки косматушки», — громко и весело объявил конферансье и все почувствовали, что это будет что-то другое, и, как видно по выражению лица исполнительницы, не печальное, а безудержно веселое.

Пианист весело пробежал пальцами по клавиатуре. Певица отошла от рояля и, улыбаясь, остановилась на середине сцены, ближе к рампе.

Овечушки-косматушки,

Овечушки-косматушки, — запела она в плясовом ритме, оглядываясь направо и налево к воображаемым овечушкам.

Да кто ж вас пасет,
Мои матушки!
Да кто ж вас пасет,
Мои матушки?

В этом обращении была жалость к овечушкам и трогательное сочувствие их судьбе. Соответствующая мимика дополняла голосовые интонации.

Мамка стара, дочка мала,
Мамка стара, дочка мала,
А я молоденька кросна ткала,
А я молоденька кросна ткала.

Легкими жестами рисовала певица старость матери и рост дочки, грациозными движениями обеих рук показывала она роботу за ткацким деревенским станком, притопывая каблучками в такт песне.

Кросна ткутся, нитки рвутся,
Кросна ткутся, нитки рвутся,
Возле меня молодой молодчики вьются,
Возле меня молодой молодчики вьются...

О, сколько изящества было в ее движениях, сколько лукавства в сверкающих синих глазах. — Что мне делать с ними? — спрашивали глаза, — ведь от них нет отбою... они мешают мне работать... вон уже сколько ниток порвалось из-за этих молодчиков... Скажу ка им всем:

Вы вейтеся, вы не вейтеся,
Вы вейтеся, вы не вейтеся,
На меня ли молоду не надейтеся,

На меня ли молоду не надейтеся...

Это было сказано всем им, обступившим молодую ткачиху, сказано с сознанием собственного достоинства. И когда это говорилось, ноги сами, без всякого понуждения, приплясывали задорно и весело.

Прибивай, прибивай, мое бердышко,
Прибивай, прибивай, мое бердышко...
А я прибивала и не унывала,
А я прибивала и не унывала...

— Молодец, Аня! — кто-то выкрикнул из зала, а Юрий Трофимыч, аплодируя вместе со всеми, думал о том, какой большой исполнительский диапазон у Костровой. Она может потрясти душу драмой и развеселить ее искристой плясовой песней. Глядя на нее, любуясь ею, он вспоминал женские образы, воспетые нашими классиками — Татьяну из «Евгения Онегина», Елену из «Накануне», Лизу из «Дворянского гнезда», Веру из «Обрыва», Наташу из «Войны и мира». А сколько их, не запечатленных страницами художественных произведений, встречается на каждом шагу даже в наше тяжелое время... Разве мало достоинств у моей бесконечно доброй Машеньки? А сколько прекрасных женщин и девушек в тех семьях, с которыми мне приходится общаться!.. Сколько их в вузах, в техникумах, в учреждениях, на предприятиях, в городах, в колхозах, несмотря на то, что условия жизни и труда в нашей стране, прославляемые официальной прессой, на самом деле безмерно тяжелы и беспросветны... На Западе другая жизнь. Там все к услугам женщины, и все же героинь там меньше, чем у нас.

Певица уже несколько раз выходила на вызовы публики. К ее ногам падали цветы от друзей, товарищей и поклонников, со всех сторон слышались выкрики с названием песен, но время было позднее, а впереди еще предстоял ужин, а после ужина вероятно многим захочется потанцевать.

Пришлось уступить просьбам и спеть «Страданья», которые стали популярными благодаря всем известной певице Ольге Васильевне Ковалевой. У Ани было все, что требуется артистке: молодость, красота, обаяние, голос, талант. Ей не доставало только уверенности, но это можно было причислить скорее к достоинствам,

чем к недостаткам. Когда она пела «Страданья», многие из слушателей подхватывали припев:

Помни, что было:
Тебя я любила.

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА

Слушателям не хотелось расставаться со своей любимицей, но прижимая руку к сердцу, она дала понять, что на сцене лучше немного не додать, чем быть чрезмерно доброй. Сопровождаемая криками: «Костровой!», «Браво», она удалилась за сцену, осчастливленная, но не опьяненная успехом и не возгордившаяся. Скорее она чувствовала смущение перед своими собратьями по концерту.

В артистическую, едва только туда вошла Аня, вбежали восторженные профессор Разговоров и его брат, Нина, Ефим и много товарищей по институту.

— Аничка, как ты сегодня божественно пела! — крикнула Нина, горячо целуя сестру.

— Уж божественно... скажешь тоже, — смутилась Аня.

— Да, да, — начал профессор, — поверьте искренности шестидесятилетнего человека: вы певица Божьей милостью. Видите эти слезы? Они еще не высохли. Вашему пению обязан я этой радостью. Спасибо, мое солнышке. А это мой самый младший брат, архитектор. Смотрите, как взволнован.

Юрий Трофимыч крепко пожал руку Ани.

— Я бесконечно благодарен брату за приглашение на сегодняшний концерт... А мою благодарность вам я даже не могу выразить словами.

— Я очень рада, что все вы получили удовольствие, но я, право, не знаю, чем вы восторгаетесь? Разве в Москве и в Ленинграде вы не слышали певиц в тысячу раз лучше, чем я?

— Честное слово, Анна Романовна, не слышал.

— Зовите меня Аней.

— Поздравляю с колоссальным успехом! Вас, Аничка, ждут слава, деньги и бесчисленные поклонники, — задерживая руку Ани и облизывая губы, сказал Ефим и, улыбнувшись, добавил:

— Не мешало бы вам уже сейчас позаботиться о подыскании хорошего антрепренера... Могу предложить свои услуги. Ручаюсь: за выступления будете получать высшую ставку, ездить будете в отдельном вагоне. Через месяц у вас будет свой «ЗИС».

Все оглянулись на Шаталова. Каждый подумал: «Этот ловкач спешит и здесь извлечь выгоду». К Ане подходили девушки, молодые люди, профессора, гости. От такого успеха, безоговорочного всеобщего признания могла бы закружиться голова у кого угодно. Но у Ани она не кружилась. Аня переживала то же, что переживает гостеприимная хозяйка, когда гости, расходясь по домам, выражают ей искреннее восхищение приемом, угощением, беседой.

— Как здесь душно, — сказала она.

— Может быть разделите наше общество и пройдетесь вместе с нами по саду? — спросил профессор Разговоров.

— С большой радостью, Александр Трофимыч.

Они вышли втроем: она и два брата. Ефим подошел к Нине.

— Ваша сестра возгордилась и с нынешнего вечера стала неприступной. Надеюсь, вы не заразились от нее зазнайством?

— Не говорите неправду, — вспыхнула Нина, — в том то и беда, что у сестры совершенно нет гордости.

— Почему же она не обратила никакого внимания на мое предложение?

— Насчет антрепренерства? Потому что она приняла его за насмешку.

— Напрасно... За каждым моим словом следует действие или решимость — действовать. Не хотите ли в сад?

— Пожалуй, пройдусь по чистому воздуху.

Они вышли. Он взял ее под руку.

— А вы не поете?

— Мурлычу про себя.

— Жаль.

— Почему?

— Вы такая эффектная, такая запоминающаяся... Ваше появление на сцене произвело бы фуроро!

— И тогда вы предложили бы мне свое антрепренерство?

— А почему бы и не так?

— Если у вас непреодолимое тяготение к такой деятельности, то почему не поедете в Москву и не поищете особу, достойную вашей кипучей энергии?

— Не отпускает обком партии.

— Ах, так?

НИНА

Нина была моложе своей сестры и только за несколько дней до этого окончила десятилетку. Темные волосы она обесцветила перекисью водорода еще в шестом классе, не попросив на это разрешения у матери и не посоветовавшись с сестрой. «Что ты наделал? — стонала мать, — ведь на пугало стала похожа».

— Тебе нейдет быть блондинкой, — сказала сестра, — твое лицо и глаза слегка напоминают монгольский тип. Ты немного похожа на японку. А где это видано, чтобы японки были блондинками?

— Ну и пусть. Наплевать мне на то, бывает это или не бывает. Я так захотела — и все!

Отрастающие у корней волосы были черными и голова девушки напоминала теперь мех какого-то диковинного зверя: светлый с поверхности он был черным у самой кожи.

С того времени, как были окрашены волосы, девочка пристрастилась и к курению, но курила тайком от матери и сестры. Когда мать, войдя в задымленную комнату, удивленно спрашивалаь «Кто накурил?» Нина придумывала нелепые оправдания, в которые было трудно поверить: «Кто-то шел мимо дома и выпустил дым в раскрытое окно», или: «Забегал одноклассник спросить о заданных уроках и затянулся раза два».

Однажды Нина так осмелела, что решила закурить даже в присутствии матери, дремавшей за чулком на диване. «Кто курит?» — встрепенулась мать. — «Ой, застонала дочь, — погибаю от зубной боли... говорят, что это помогает»...

Десятилетку Нина окончила с большим трудом, все время пробавляясь отметками «посредственно». И толь-

ко за домашние сочинения всегда получала «отлично», потому что их писала за нее сестра.

Уже в двенадцатилетнем возрасте девочка секретничала с подружками о «мальчиках», стараясь обратить на себя внимание или каким-нибудь необыкновенным бантом на платье или нарочито звонким голосом. Отпрашиваясь у матери «к подругам — учить уроки», она вместе с такими же, как сама, обивала пороги кино, заводя знакомства с подростками подозрительного вида.

Без всякого стеснения, глядя в глаза матери, она открещивалась от того, в чем ее обвиняли и приписывала себе добродетели, которым была чужда. Привычка — нравиться мальчикам — породила в ней страсть к кокетству, к нарядам, к форсу. Она часто меняла шляпки только на том основании, что случайно — в парке, на улице или в кино увидела шляпку, которая ей понравилась, как последний крик моды.

— Что ты делаешь? — с укоризной спрашивала сестра.

— Разорительница, — говорила мать, выполняя капризы Нины в память любимого мужа, на которого была похожа младшая дочь.

— Свернешь себе шею, — предсказывала мать.

— Посмотрим, — вызывающе отвечала дочь и вся при этом ходила ходуном, как на шарнирах. Когда она говорила с молодыми людьми, то вертела головой во все стороны, считая это признаком утонченности. Свои поступки, мечты, планы она подчиняла девизу: «Лови момент» и часто свою сестру называла «растяпой» за то, что та несколько раз «выпускала счастье из рук».

Обширные знакомства и привычка вращаться в самых разнообразных кружках молодежи приучили ее разбираться в людях и понимать их с полунамека. Мир блатных парней, завсегдатаев танцевальных площадок, вестибюлей кино, остряков-анекдотистов и охотников за девочками был изучен ею во всех тонкостях.

Она принимала участие в пикниках и попойках, знала множество песенок и романсов, незнакомых широкой публике, читала такие книги, какие нельзя достать ни в одной библиотеке. Но при всем том в ней было и здоровое зерно рассудочности. Журя по родственному сестру за «Растяпство» и неуменье удержать счатье, когда

оно просится в руки, сама Нина еще ни разу не изловила тот самый «момент», ловить который приучалась чуть не с пеленок. «Нет, это не то», — говорила она, когда на ее пути расставлялись ловушки из подарков, комплиментов, панибратства и фамильярности. «Мелко плавает, если думает соблазнить меня такой мишурой и погремушками».

Если же кто-нибудь, распаленный ее пикантностью, пытался применить физическую силу, девушка отвечала такой звонкой и негодующей пощечиной, что у парня навсегда пропадала охота иметь дело «с дьяволенком, перекрашенным перекисью водорода». Нина была остра на язык, но не злопамятна. Она знала себе цену и сердилась на сестру за чрезмерную простоту и доступность, «которой может злоупотребить всякий невежда».

Она любила Аню и мать, гордилась своим покойным отцом, который в должности помощника капитана торгового флота исколесил все моря и океаны.

СТЫЧКА

Только сегодня познакомившись с Ефимом, Нина сразу раскусила, «что это за фрукт».

Выйдя в сад, они мимо памятника Глинке прошли в главную аллею, которая вела к цирку Шапито.

— Люблю таких девочек, как вы Ниночка, не ломак и не жеманниц, — признался Шаталов.

— А я не люблю таких мужчин, как вы, — бесцеремонно ответила Нина.

— Что вам не нравится во мне?

— А что в вас может нравиться девушке?

— Ну, хотя бы темперамент.

— Не думаете ли вы, что всякое чудовище с темпераментом способно околдовать молодую девушку? В вас нет того, что дает прелесть мужчине.

— Чего же именно?

— Того удивительного магнита обаятельности, который сказывается во всем: в голосе, в глазах, в жестах, в походке, в манере держаться. Вы нахраристый самец с бабьим голосом и толстыми губами. Не спорю: может быть вы незаменимый делец и всякая связавшая свою судь-

бу с вами, будет купаться в золоте. Но не всякой женщине полезны золотые ванны.

— Вас бы, например, они превратили в королеву.

— Нет, пусть уж какая-нибудь дура соглашается быть королевой партийного секретаря. Меня эта роскошь не прельщает.

— Вы такая дерзкая, что я уже давно мог бы обидеться, затаить против вас месть в душе, но вам я прощаю все.

— Повидимому, по каким-то соображениям.

— Вы — оригинальная девушка, и, признаюсь, первая за всю мою жизнь, наговорили мне столько дерзостей ни с того, ни с сего.

— И вовсе это не дерзость, а ваша характеристика.

— Нет, вы положительно редкостное создание и я все больше проникаюсь уважением к вам.

— Теперь запели об уважении, а в первый момент признались в любви... Пошли на попятный?

И Нина расхохоталась.

— Вы очень громко разговариваете. Я бы просил вас сбавить тон в тех местах, где вы даете мне оценку и утверждаете, что я лишен обаятельности, как мужчина. Кстати, много ли по вашему обаятельности у брата профессора Разговорова?

— О... это — воплощенная утонченность, соединенная с простотой. Юрий Трофимыч может с первого взгляда вскружить голову почти любой девушке. Он обладает как раз тем магнитом, какого нет у вас.

— Бедная Аня: значит у нее уже во-всю кружится голова.

— Я сказала «почти любой девушке». Аня как раз принадлежит к тем, которые могут приказать сердцу: «Не смей зариться на женатого».

— Разве брат профессора женат?

— Думаю, что не холост.

— Ах, вон оно что... Ну, значит будет дело!..

Ефим захихикал и уронил с носа пенсне. В этом бабьем хихиканье было столько пошлых намеков и липкой грязи, что Нина не удержалась и, вырвав руку из руки кавалера, крикнула:

— Какая мерзость!.. И это руководитель студенческой партийной организации! Какое счастье, что я

не студентка мединститута!

— Не злитесь, Ниночка, а лучше пойдемте ужинать. Ведь, пожалуй, придется произносить тосты.

— Неужели вы не чувствуете, что все ваши речи, доклады и тосты — тошнотворные снадобья?

— Девочка, придержите язык за зубами, если не хотите нажить неприятностей.

— Пожалуетесь в НКВД?

— Не я, а тот, кто подслушает... Я на тебя, при всем моем желании, не могу сердиться. Давай руку.

— Пожалуйста без фамильярности и тыканья.

— Ты похожа на необъезженную лошадку. Каждый момент горячишься и встаешь на дыбы.

— Господи, какой нахал: ничем его не проймешь!.. Вот уж действительно — типус!

РЕЧЬ ПРОФЕССОРА

Они вернулись в помещение института как раз в тот момент, когда в большой аудитории, рядом с артистической, профессора, выпускники и гости садились за столы, поставленные в три ряда. Бутылки с водкой и вином заставляли многих из молодежи потирать руки в предвкушении удовольствия. Венигрет, рыбные консервы, колбаса и булочки дополняли сервировку стола.

— Не густо, — перешептывались мужчины.

Президиум и профессора уселись в среднем ряду. Тут же между братьями Разговоровыми было предложено занять место Ане Костровой. Ефиму за профессорским столом не нашлось места. Расценивая это, как контрреволюционную вылазку со стороны декана, он с ворчаньем расположился на углу крайнего от входа стола. То, что его обошли почетным местом, он воспринимал больнее, чем все откровенные отчитывания Нины Костровой.

Когда все угомонились после рассаживания и бокалы были наполнены, декан института, плотный армянин средних лет, предложил тост в честь Сталина, благодаря которому наша молодежь имеет возможность учиться и совершенствоваться во всех отношениях. Кто-то крикнул «ура»... Выкрик подхватили остальные, но это излияние восторга было разноголосым и нестройным,

что заставило кое-кого смущенно переглянуться. Хотелось спрятаться за других, сжаться, опустить голову вниз.

Чтобы спасти положение, Ефим предложил выпить за нашу несокрушимую, могучую партию Ленина-Сталина, которая воспитала столько славных героев и преобразила одну шестую земного шара, превратив нашу страну в несокрушимую крепость.

На этот раз «ура» получилось более внушительным, но смущение еще окончательно не рассеялось.

— Скажите вы, Александр Трофимыч, вас так любит вся молодежь, — шепотом уговаривала своего соседа по правую руку Аня Кострова.

— Говоря современным языком, боюсь «засыпаться», — отнекивался профессор.

— Я уверена, что это будет самое лучшее слово.

Он встал и постучал вилкой по стакану. Взоры всех обратились к седому шестидесятилетнему человеку с юной жизнерадостной душой. Выпускники мысленно оглядывались на пройденный путь. Сколько интересных лекций по биологии, пересыпаемых научными анекдотами, услышали они от любимого профессора. Как их всех поражала удивительная память этого человека: каждого студента он знал по имени и отчеству. Прекрасно читая Зощенко и Чехова, он много раз принимал участие в самодеятельных студенческих концертах. Все знали, что он хороший пианист и художник. Его биологические экскурсии со студентами, иногда продолжавшиеся по нескольку недель, были праздником для молодежи. Каждый из студентов считал своим долгом сдать ему зачет на отлично или, по крайней мере, на хорошо. И вот теперь этот любимец хочет что-то сказать. Как на родного отца, глядела на него молодежь.

— Дорогие друзья, — начал он. — Я один из тех, которые работали с вами рука об руку пять лет. Когда вы переступили порог института, многим из вас казалось, что впереди трудное восхождение на вершину высокой горы, которая называется «Дипломом врача». И вот этот славный путь пройден, осилены крутые склоны, рассыпанные на тропинках камни, холодные ветры и туманы. Все это победила ваша настойчивость, молодая воля, жажда знаний и горячее желание — отдать

все силы тому народу, детьми которого вы являетесь.

Сюда, к этой вершине, вы пришли по дорогам, ведущим из разных точек нашей обширной страны. И вот теперь, вооруженные знаниями, с багажом культыры, с сердцами переполненными любовью к отечеству, вы разлетитесь, как вольные птицы во все стороны нашей горячо любимой Родины. Работайте, мои друзья и питомцы, не покладая рук. Помните, что хотя наш народ жадно тянется к свету, что хотя он дал величайших гениев во всех областях искусства и науки, на местах еще много темноты, косности, невежества, жестокости и самодурства.

На нашу страну смотрит весь мир. Она должна стать во всех отношениях образцом. Но пока этот образец только в мечтах. Приложите же все усилия к тому, чтобы этот образец стал явью, чтобы при слове «Россия» у каждого человека земного шара светлело на сердце. Пусть слово «русский» станет синонимом душевной чистоты, великодушия, благородства, культурности и всепрощения... Итак, выпьем за Россию, за ее города и села, за всех россиян, населяющих степи, леса и горы — ура!.

Вот когда «ура» было искренним, звонким, мощным и единодушным. Если бы молодежь не сидела за столами, она непременно ринулась бы качать профессора, который, как тончайший психолог, выразил заветные мысли и чаяния окончивших институт. Да, да, нужно сделать так, чтобы за все русское не было стыдно.

ОПАСЕНИЯ

Но по другому расценили выступление профессора Ефим и партийные гости.

— Тост Разговорова — стопроцентная контрреволюция под маской самого оголтелого национализма, — шепнул Ефим Нине, сидевшей рядом с ним.

— Сейчас побежите в НКВД?

— НКВД не нуждается в моей услуге, у него всюду свои уши и глаза.

По насупленным лицам партийцев профессор понял, что им недовольны.

— Я так и знал, что раздразню их, — сказал он Ане.

— Вот и хорошо, жму вашу руку. Ваше слово было

вдохновенным стихотворением в прозе, — ликовала Аня.

— Ну, будь что будет... Не удержалась душа, захотела вылететь из клетки подхалимства на простор правды и если за это ей обломают крылья и пригрозят смертью, она с радостью примет ее, — чуть слышно говорил профессор. За звоном стаканов и шумом голосов его никто не слышал кроме Ани.

— Они не посмеют вас тронуть, — успокаивала профессора Аня, — молодежь поддержит вас.

— Об этом, деточка, поговорим где-нибудь в другом месте.

— Александр Трофимыч, приглашаю вас на семейную вечеринку в субботу. И вас, Юрий Трофимыч, — добавила она, обращаясь к соседу слева.

— Сегодня только вторник. До субботы почти целая неделя. Я не теряю надежды — повидаться с вами в эти дни.

За столами было шумно.

Многие мужчины преднамеренно делали «ерш» из водки и пива, чтобы скорее ошалеть. Места теперь были перемешаны: кавалеры подсаживались к своим дамам, с которыми были разлучены в начале ужина. Захмелевшие предлагали самые разнообразные тосты одновременно в разных концах. Все это сливалось в общий шум радости, счастья и беззаботности. Снизу послышались звуки радиолы. Несколько парочек побежало туда танцевать.

— Я распрощаюсь с вами, мои дети, — сказал профессор, — а вы еще повеселитесь. Пойду вздремнуть. Кажется, уже светает. Июньская ночь, как молодость: уж больно коротка.

— Вы танцуете? — спрасила Аня у Юрия Трофимовича.

— Да, но я предпочел бы сейчас не толкаться в тесном вестибюле, а поехать на лодке вниз по Днепру. Человек за свою жизнь очень редко видит восход солнца. Он любуется только закатами. А ведь закат — кончина дня. Не лучше ли радоваться при восходе, когда вся природа поет гимны приближающемуся светилу?

— Это хорошая идея... Но как мы поедем? Вдвоем будет трудно справиться с лодкой.

— Ведь мы поплывем вниз по течению.

— А когда будем возвращаться обратно?

Не эти опасения смущали Аню. Ей не хотелось причинить боль старушке матери, которой кто-нибудь в сгущенных красках может рассказать о том, как ее дочь, только что познакомившись с солидным человеком, убежала вместе с ним со студенческого вечера и все утро пропадала неизвестно где.

Юрий Трофимыч ни словом не обмолвился о своей семье, но по обручальному золотому кольцу Аня догадывалась, что он женат. Значит ехать на лодке вдвоем тем более неудобно. Она, конечно, ни одного мгновения не сомневалась в порядочности своего нового знакомого и в глубине души ей хотелось остаться с ним с глазу на глаз, но... другой голос подсказывал: «Лучше сегодня этого не делать... пусть это будет при второй или третьей встрече...»

— Ну, что ж... давайте позовем ваших лучших друзей... Может быть поедет ваша сестра?

— Тогда увяжется и Ефим, а мне не хотелось бы встречать восход солнца в обществе этого человека... Я шепну кое-кому. Вы идите в сад и ждите у памятника Глинке.

УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА

Через несколько минут Аня подвела к Юрию Трофимычу двух девушек и двух молодых людей. Все были в восторге от затеи — прокатиться по Днепру в предутренние часы. Не поднимая шума, они направились к реке глухой улочкой, чтобы не обращать на себя внимания постовых милиционеров на перекрестках.

На лодочной пристани они поговорили со стариком сторожем, который сначала и слушать не хотел о лодке для «шаромыжников» в неурочное время. Когда же ему объяснили, что это не шаромыжники, а молодые врачи, только что окончившие институт и сунули в узловатые руки пятерку, он сразу подобрел и почему-то вспомнил свою молодость, когда на зорьке ездил ставить сети, а за компанию прихватывал с собой «от скуки и симпатию».

Лодка была новая, голубая, с белыми бортами. Золотой краской было выведено славянской вязью название: «Светлана». Юрий Трофимыч уселся за рулем, Аня

перед ним. Остальные мужчины расположились на веслах.

— Счастливо веселиться, — напутствовал молодежь старик.

— Спасибо, дедушка.

Выбравшись на середину тихой реки, бесшумно и плавно поплыли вниз по течению. Приближался мост. Несколько человек, проходивших по мосту, остановились. Когда лодка приблизилась, помахали дружелюбно руками. С лодки ответили тем же.

Аня подумала: «Какой это замечательный обычай — приветствовать всех движущихся в поезде, на пароходе и на лодке. Почему никто не машет рукой или платком пешеходу? Повидимому, потому, что пешеход застрахован от возможных бед и напастей, а тот, кто вручил свою сдьбу поезду, пароходу или лодке, уже чем-то рискует. А может быть в душе каждого человека таится стремление к путешествиям, к передвижениям? И если кто-то может осуществить свое желание, другие радуются за него и своим приветствием хотят сказать: «Будь счастлив».

Утренняя заря бросила целую палитру красок на реку. У берегов в воде отражались ивы и тополи, каменные и деревянные постройки. Перламутровые, розовые, лиловые, оранжевые и лимонные полосы и пятна колебались на гладкой поверхности, всколыхнутой голубой лодкой.

Проплыли мимо древнего собора, внешним обликом и внутренним благолепием которого когда-то любовался император Наполеон. Теперь в этом соборе помещался антирелигиозный музей. Когда отплыли подальше, Аня крикнула:

— Обратите внимание на отражение собора в реке.

— Какая прелесть, — вздохнули девушки. И каждая в эти мгновения невольно вспомнила раннее детство и посещение собора вместе с матерью или бабушкой.

Резной золоченый иконостас, ризы священников, стройное пение, благоговение молящегося народа — как много во всем этом было таинственности, заставлявшей как-то по особенному трепетать душу. Зачем это отняли у народа? Что ему дали взамен?

— Девушки, вы кажется загрустили? — спросил Юрий Трофимыч.

— Вспомнилось прошлое, — сказала Аня.

— Оно у вас было так недавно... Почти вся ваша жизнь в будущем, но кроме будущего и прошедшего есть настоящее... Есть вот это утро, которое никогда не повторится, эта река, сверкающая всеми красками рассвета, этот древний любимый город и эти живописные холмы... Аня, вы поете песню: «Меж крутых бережков»?

— Пою.

— Готов вам пообещать за нее, что угодно. Ее любила моя покойная мать. Она родилась на Волге, в Жигулях и до конца своих дней не могла позабыть своей родины... Запойте, Аня, а мы подтянем.

— Просим, просим! — зашумели гребцы.

— Не надо просить, я сама люблю эту песню.

Меж крутых бережков
Волга речка течет...

В шесть голосов было пропето окончание куплета:

А на ней, по волнам,
Легка лодка плывет.

У Юрия Трофимыча на ресницах показались слезы, но не голос Ани вызвал их, а воспоминание о любимой матери волжанке захватило сына.

В ней сидел молодец,
Шапка с кистью на нем,
Он с веревкой в руках
Волны резал веслом.

Он ко бережку плыл,
Лодку вмиг привязал,
Сам на берег взошел,
Соловьем просвистал.

Лодка быстро неслась, подгоняемая двумя парами весел. Далеко разносилась песня. Вон на левом берегу, у самой воды, пожилой человек держит за повод гнедую лошадь.

На правом берегу стоит женщина, только что зачерпнувшая воды в два голубых ведра. Как зачарованные глядят они на быстро скользящую лодку, слушают стройные молодые голоса и сами невольно подпевают, улетая мыслями к чему-то желанному, далекому, может

быть никогда неосуществимому. Девушки машут белыми платочками и пожилому человеку с лошадью и женщине с голубыми ведрами, а те, отвечая им, машут руками.

А на береге том
Высок терем стоял,
В нем красотка жила,
Он ее вызывал.

Все ярче становилась кроткая синева неба, все тоньше и прозрачнее редкие кружевные облака на востоке. Город остался позади. Миновали и вокзал железной дороги. Красный товарный поезд бежал некоторое время вдоль реки, потом скрылся в сосновом бору. Только эхо долго доносило затихающую песню колес:

Та-та, та-та,
Та-та, та-та.

С лугов и полей левого берега и из леса с правобережья потянуло ароматами трав, цветов, хвои.

Ночку всю пировал
С ненаглядной душой,
Утром рано с зарей
Возвращался домой.

Из лесу доносилось жалобное кукованье. Это настраивало певцов на грустный лад, как и всякого человека, слушающего однообразную песенку бездомной птицы. Да и развязка песни о молодце в шапке с кистью не сулила радости. Но каждый из мужчин рисовал себя тем героем, который после пира с красоткой в тереме на крутом берегу смело пробирается по камням и узким отвесным тропинком к лодке, качающейся на волнах, полозолоченных рассветом.

Муж красавицы был
Воевода лихой.
Молодца повстречал
Он в саду над рекой.

Долго бились они
На крутом берегу.
Не хотел уступить
Воевода врагу.

Но последний удар

Их судьбу порешал,
И конец их вражде
Навсегда положил.

Волга в волны свои
Молодца приняла.
По реке, по волнам,
Шапка с кистью плыла.

Все невольно замолчали. Только слышались всплески под веслами.

— Чудно! — тихо сказал Юрий Трофимович, показывая глазами на окружающее.

— Слышите кукушку? — спросила Аня.

— Да... слышу... слушаю... гляжу и не верю, что это явь, что все это настоящее. Когда действительность уж слишком поэтична, мы перестаем ее воспринимать, как реальность... Это — красивое сновидение.

— Пусть чаще посещают нас такие сновидения, — вздохнула Аня и задумчиво продекламировала:

Все цветет и поет,
Молодые надежды тая...

— Как долго кукует, — сказал Юрий Трофимыч.

— Это она напоследок: скоро Петров день.

— Я люблю кукушку больше соловьев и жаворонков, — призналась одна из девушек.

— Мне делается грустно, когда я ее слушаю, — добавила другая.

— Ах, делается грустно не только вам. Так уж видно устроено человеческое сердце, что никакие певчие птицы не дают ему того, что дает эта печальница. В ее однообразных жалобах звучит безысходность, покорность слепому року, — вздохнул Юрий Трофимыч.

— Зачем такие грустные мысли? — спросил белокурый гребец, которого девушки звали Васей, — смотрите, какая кругом красота!.. Может быть споем что-нибудь еще?

— Нет, нет, — сказала Аня, — петь мы можем и днем и во всякое время, а теперь будем только смотреть... Ведь это бывает не всегда...

Она указала рукой в ту сторону, откуда только что доносилось кукованье. Теперь его не было слышно,

но показалось, будто издалека, со стороны города, кто-то протяжно зовет:

— Э-ей!

— За нами погоня, — решили гребцы, — надо наддать веслами.

— А стоит ли плыть дальше? — спросил Юрий Трофимыч, — здесь так хорошо... Давайте побродим в этих местах: через несколько минут должно взойти солнце.

Все приняли его предложение. Причалили к берегу, поросшему молодой осокой, помогли девушкам выбраться из лодки. Без всякого сговора друг с другом, разбрелись парочками.

— Вы, Аня, устали? — спросил Юрий Трофимыч, — может быть хотите посидеть на траве или на какомнибудь поваленном дереве?

— Лучше походим... Боже, как тут хорошо!

В ЛЕСУ

Трава была почти по пояс. Лиловые, желтые, малиновые и розовые цветы радовали и умиляли. Чтобы не промочить ноги, шли по тропинке. На окраине поляны набрели на сосну, вырванную бурей. Повидимому, она лежала тут уже не один год: ее корни высохли, а ствол покрылся мохом. Юрий Трофимыч вел Аню под руку. Подойдя к сосне, сел.

— Оказывается, не я, а вы устали, — улыбнулась она.

— Нет, просто я хочу, чтобы и вы посидели.

— А восход солнца?

— Мне кажется, мы уже опоздали встретить его... Смотрите: вершины сосен золотятся... Встретим какнибудь в другой раз.

— Вы собираетесь долго гостить у брата?

— Если ничего не случится, хотелось бы побыть здесь еще недельки две.

— Только? — спросила она испуганным тоном.

— Меня ждут домой, в Ленинград.

— Жена и дети?

— Да, жена, дочка и мальчик.

— Пишете им?

— До сегодняшнего дня писал каждый день.

— Передайте им от меня привет.

— Спасибо. Сядьте, Аня, а то неудобно: вы стоите передо мной, как ученица.

— Ну, что ж, я бы хотела многому поучиться у вас. Вы вероятно были за границей, видели иной мир, иных людей...Я же из своего города почти никуда не выезжала.

— Вам суждено увидеть не только Европу, но и столицы всего мира — я глубоко убежден в этом.

Она села поодаль от него .

— Вы боитесь меня?

— Нисколько.

Она подвинулась к нему.

— О чем вы думаете в эту минуту, Аня?

Она вздохнула.

— О чем думаю? Ах, в моей голове столько мыслей, что я даже не знаю, как привести их в порядок. Какое-то тяжелое предчувствие тяготит мою душу... Вот опять закуковала кукушка... Она чувствует, что мое сердце разрывается...

— В такое утро? После такого успеха? В расцвете красоты и молодости?

— Не в этом счастье, Юрий Трофимыч.

— А в чем же?

— Не знаю... Покажите мне карточку вашей жены и детей.

Он достал из бокового кармана бумажник и вынул из него десятка три маленьких карточек. И жена и дети были засняты во всех видах и позах — в комнате, на берегу моря, в лесу, зимой и летом.

— И ваша жена и дети — прекрасны. Как вероятно вы скучаете без них, с какой шумной радостью они встречают вас, когда вы возвращаетесь .

— Да, они любят меня так же, как и я их.

— Представляю, с каким воодушевлением вы работаете над проектами новых зданий. В эти часы и минуты ваше сердце переполнено любовью к близким.

Он пристально посмотрел на нее.

— Пусть не смутит вас мой вопрос, пусть не покажется неуместным: вы кого-нибудь любили?... О том, любили ли вас, я не спрашиваю. Уверен, что любили и чаще всего — безнадежно... Простите меня, Аня, за

нескромный вопрос... Услышав вас, увидев вас впервые, я почувствовал к вам родственную привязанность. Вы мне кажетесь сестрой. У меня никогда не было сестры. А если б была, мы вот так же сидели бы с ней рядом и взаимно исповедывались в самом заветном, что скрывается от многих и приоткрывается только для избранных... Вы не ответили на мой вопрос

— Любила ли я?... Нет.

— Неужели?

В его восклицании было не только удивление, но и что-то, похожее на радость.

— Не верите?

— Трудно поверить... Хотя, нет... можно поверить и я верю. Вы не любили потому, что до сих пор не встретили человека, достойного вас.

— Увы, мне просто было некогда. Нужно было учиться и помогать матери. Уже семь лет, как умер наш отец. У нас огород и сад. Все это былс на моих руках, потому что мать часто болела ревматизмом. Свободные минуты от лекций и домашних хлопот я посвящала пению и музыке... Так что на любовь не оставалось ни секунды.

— Вы успеете наверстать упущенное.

— А может быть и нет, — сказала она со вздохом.

— Стоит только вам захотеть и любой человек, любого общественного положения, забросив все свои привязанности, очутится у ваших ног.

— Таких жертв я никогда не приму. Строить личное счастье на несчастьи других — не моя установка. Я предпочту увянуть в глуши и безвестности, чем разрушать долгими годами проверенное и закрепленное счастье.

— Я все больше проникаюсь уважением к вам. Сущность вашей души составляют исключительно положительные качества.

— Вы не можете этого утверждать, потому что знаете меня всего несколько часов.

— Чтобы судить о достоинстве бриллианта, достаточно взглянуть на него один раз.

— Это обычный комплимент мужчин.

— Комплимент чаще всего противуположен правде. Я противник комплиментов из учтивости. Если я

что-нибудь утверждаю, то значит это мне подсказано сердцем и рассудком.

— Спасибо, если так.

Поблизости послышались шаги. Аня и Юрий Трофимыч оглянулись. Похожий на кота, которого застали на месте преступления, стоял Ефим, облизывая толстые губы.

— Извиняюсь... Я ищу Нину... Вы видели ее?

— Нет, — холодно ответил Юрий Трофимыч. Он чувствовал, как неприязнь охватывает все его существо. И только присутвие Ани удерживало его от резкостей по адресу надоедливого соглядатая, который не удовольствовался тем, что портил всем настроение на вечере, но решил и летнее утро в лесу отравить своим присутствием.

— Еще раз извиняюсь, что помешал воркованию.

— Будьте осторожны в выражениях, — мрачно заметил Юрий Трофимыч.

— Удаляюсь... Продолжайте в том же духе.

Изогнувшись в три погибели, он стал пятиться. Прищуренные глаза, самодовольная скабрезная ухмылка, стоячие черные волосы и эта преднамеренно — подхалимская поза —все в этом субъекте было таким отталкивающим, что хотелось подбежать к нему и ударить пинком, как змею, которая сейчас отползает только для того, чтобы в другой раз исподтишка, врасплох напасть на свою жертву и смертельно ее ужалить.

РАССКАЗ О СВЯЩЕННИКЕ

— В точности такой тип делал обыск в квартире моего тестя, — сказал Юрий Трофимыч.

— В вашем присутствии?.

— Да, мы всей семьей были в гостях по случаю дня рождения тещи. В первом часу ночи нагрянули они. Мой тесть — священник — не от мира сего человек, каких в настоящее время очень мало на земном шаре. Истинно верующий, бесконечно добрый, лишенный жажды стяжательства — в мировую войну он был полковым священником и в 1915 году попал в плен к немцам. В Германии он устроился на работу к одному помещи-

ку, за четыре года прекрасно изучил немецкий язык и постиг все тайны садоводства.

При возвращении на родину, уже при большевиках, патриарх Тихон назначил его священником в небольшое село Петроградской области. Тогда этот город еще не назывался Ленинградом. С первого дня по приезде на место священник с женой и дочкой (которая потом стала моей женой) приступили к разведению фруктового сада и питомника.

Не буду вас утомлять подробностями. Скажу только, что через несколько лет у отца Павла, как звали его, был большой чудесный сад, в котором произрастали и давали обильные плоды все лучшие сорта яблонь, груш, слив, вишен. Ягодам и цветам отец Павел уделял много внимания, как и фруктам. Он был последователем знаменитого американского садовода Лютера Бербанка и продолжателем не менее знаменитого, нашего соотечественника Мичурина.

Но не в этом была главная заслуга отца Павла. Развести сад может всякий, а вот повлиять на своих прихожан и приохотить их к садоводству — куда труднее. В том селе почти все мужчины занимались отходничеством и возвращались домой на какие-нибудь три летних месяца. Священник стал беседовать с ними, доказывать, что если они займутся садоводством, это даст им доход в двадцать раз больший, чем все их заработки на стороне, не будет разлучать их с домом и семьей, укрепит их здоровье, осмыслит их жизнь, наполнив ее красивым содержанием.

Он давал им бесплатно саженцы из своего питомника, читал им лекции по садоводству, показывал им на практике, как нужно ухаживать за садом. Его бескорыстная настойчивость и христианское человеколюбие сотворили чудо: во многих окрестных селах и деревнях крестьяне занялись садоводством и через несколько лет большая округа превратилась в земной рай. Получая доходы от своего сада, ягодника и цветника, священник никогда не брал ни одного гроша со своих прихожан за требы и прослыл за добрейшего человека, каким он и был в действительности.

Но его авторитет пришелся не по нутру партийцам, о которых в народе была дурная слава и человека ре-

шили съесть поедом. Чудовищные налоги, кантрибуции (так назывался денной грабеж), неоднократные аресты, принудительное закрытие церкви, конфискация имущества — вынудили святого человека бросить насиженное гнездо и перебраться в Ленинград. Тогда этот город уже не носил имени Петра Великого. Там он был назначен в одну из маленьких кладбищенских церквей и вскоре завоевал огромную любовь верующих. Из многих церквей столицы в эту маленькую церковку стали стекаться сотни людей. Но разве могли это допустить органы НКВД и партии? Против отца Павла стали собирать материал, а в одну из осенних ночей в его тесную квартирку нагрянули двое вооруженных и один штатский, похожий на Ефима. Обыск длился несколько часов. Я был свидетелем этой гнусности. У тестя забрали все письма, которые он в продолжение нескольких лет получал из Германии от своих друзей — садовников. Этого было достаточно, чтобы обвинить человека в связях с заграницей со шпионской целью. Невинного человека выслали в дальний лагерь без права переписки, но мы то знаем, что это означает. Где-нибудь, вместе с такими же «преступниками» отец Павел брошен в общую яму, как заразная смердящая падаль.

Представляете, что пережили все мы, его близкие родственники? Дочь (моя жена) преждевременно поседела, старушка теща через полгода умерла. А я спасся от репрессий чудом, может быть потому, что был занят в это время ответственным строительством новой военной академии.

Юрий Трофимыч без всякого страха открывал перед Аней тайники своей души, не боясь, что она расскажет кому-нибудь о его политических настроениях. «На нее можно положиться», — думал он. Такое же доверие к своему собеседнику чувствовала и Аня. Они могли не предупреждать друг друга, как это делало большинство, делясь каким-нибудь секретом: «Это только между нами».

Аня оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает под кустом или под деревом.

— Простите, Аня, за то, что нагнал на вас тоску своим длинным рассказом о невинно пострадавшем человеке.

— Нет, нет, пожалуйтся. О чем же в наше время

говорить, если только никто не подслушивает, как не об этом? Ведь почти нет семьи, где бы люди не проливали слез. А если не льют сейчас, то будут лить завтра. Вы думаете, мне не задавали вопросов: «Почему вы поете только народные песни? Почему бы вам не исполнять песен о Сталине, о партии и красной армии?» — «Это не мой жанр, такие вещи у меня не получаются», — отвечала я. — «А вы пробовали?» — «Да, пробовала»... — «Вы пробавали дома, попробуйте на концерте, вот вам ноты»...

— Вероятно пришлось подчиниться?

— Да... и как раз на другой день после ареста отца моей лучшей подруги... Что страшнее всего — подруга должна была присутствовать на концерте. Она сидела в заднем ряду и еле сдерживала рыдания, а я пела о вожде и прекрасной счастливой жизни в Советском Союзе. С вечера мы шли под руку с подругой. Ни у нее, ни у меня не было слов, чтобы выразить душевную боль. Мы пришли к нам, уткнулись лицами в подушки и дали волю слезам.

Аня притихла. Молчал и Юрий Трофимыч.

— Опять кукует кукушка. Смотрите, как сверкают росинки на траве и цветах. Вот теперь чувствую, что немного устала, голова, как пьяная, — призналась Аня.

— Положите ее на мои колени и закройте глаза, а я спою калыбельную. Не все же время петь только вам.

— Нет, нет, стыдно спать в такое утро. Вы же сами сказали, что утро-молодость дня.

— Можете не спать, а только испытывать приятное забытье.

— Лучше испытывать не забытье, а постоянную слиянность с природой. Ваша жена любит природу?

— Очень. Она же — дитя деревни. Мы были с ней в Крыму, в Карелии, на Украине. Прокатились на пароходе от Нижнего до Астрахани и обратно. Это были лучшие дни нашей жизни. Мне не надоедало днем и ночью любоваться волжскими просторами и окружающей Волгу панорамой. Это было в последних числах мая, когда все цвело и благоухало. Пароход не стесняли ни отмели, ни песчаные косы, ни лишние обходы, какие бывают летом и осенью. Часто прямо с палубы мы срывали ветку цветущего дерева. Кукушки и соловьи

приветствовали нас по утрам и вечерам. «Мгновения, остановитесь!» — хотелось кринуть мне. И всегда передо мною было светлое видение матери. Я благодарил ее за любовь к Волге, которую она впитала в меня с молоком в первые дни моей жизни, и которую позже закрепила песнями о великой русской реке.

— Какой вы счастливец: увидеть столько разных мест России... А ведь вы еще совсем молодой.

— Спасибо за комплимент... Не такой уж молодой: недавно стукнуло тридцать пять .

— На вид вам гораздо меньше. Ведь и Александру Трофимычу никто не дает шестьдесят, хотя у него седые волосы. Какая у вас с ним большая разница в летах.

— Он был первым, я последним у матери. Остальные четыре брата живут в разных городах России. Место встреч — квартира старшего. В этом городе умерли отец и мать и похоронены в ограде церкви Гурия, Самона и Авивы. Старожилы хорошо помнят моего отца — старшего врача земской больницы.

— Мы с вами выросли в одном городе и не знали друг друга, — сказала Аня тоном сожаления.

— Да, когда я был уже молодым человеком, вы были еще маленькой девочкой. А после женитьбы я приезжал сюда на день, на два. Нынешним летом меня почему-то неудержимо потянуло к брату. Я видел его во сне почти каждую ночь. Но вот что удивительно: мне снился с различными вариациями один и тот же сон: брат на одном берегу реки, я — на другом. Моста нет, а река и широкая. Мы машем рукой: «Плыви сюда». Но вокруг ни одной лодки. И только чайки с криком кружатся над водой. Я проводил жену с детьми на курорт в Сестрорецк, а сам покатил сюда. И не раскаиваюсь.

Он сделал ударение на последнем слове и посмотрел на нее. Утомление, бессонница и грустные воспоминания придали ее лицу меланхоличность. Синева ее глаз теперь была гуще, но румянец на щеках слегка побледнел. Она поправила прическу, закрепив шпильками заплетенные косы.

— Вам не холодно? Ваша накидка слишком ажурна. Оденьте мой пиджак.

— Спасибо. Не пора ли домой? Мама теперь ужас-

но волнуется: ушли с вечера и пропали до следующего дня. Давайте позовем наших спутников.

— Вы зовите, а я буду рвать цветы.

— Вася, ау!.. Петя, ау!

— Ау! — послышались со всех сторон отклики.

Через несколько минут обе компании были на берегу реки. Нина при встрече с сестрой бросилась целовать ее.

— Аничка, птичка, ты вероятно так устала? У тебя такие большие глаза! Смотри, сколько мне надарили цветов, а у тебя — тощий букетик.

— Этот камушек в мой огород, — смутился Юрий Трофимыч.

Во второй компании было восемь человек. Ефим был кавалером Нины. «Бедная девочка, — подумала о ней Аня, — восемь часов подряд ты находишься в обществе этого настырного партийца».

В голубой лодке расположились на своих прежних местах, хотя Юрий Трофимыч предлагал свои услуги — сесть за весла.

— Нет, нет, вы очень хорошо правите, — зашумели девушки.

Другая лодка, окрашенная в зеленый цвет с розовыми бортами была больше и тяжелее и сразу отстала, хотя Ефим подпрыгивал, нетерпеливо выкрикивая: «Догнать и перегнать!»

Солнце казалось давно взошедшим, но был только шестой час утра. Девушки от утомления совсем притихли. Чистый воздух и тепло клонили их ко сну. Но никто не жалел о прогулке за город.

— Это останется в памяти на всю жизнь, — сказал Юрий Трофимыч.

По возвращении в город он пошел проводить Аню до дома. Теперь она с удовольствием опиралась на его руку. Он чувствовал биение ее сердца.

ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ

На крылечке небольшого домика с зелеными ставнями, в тени душистых тополей, сидела женщина лет пятидесяти пяти в лиловой широкой кофте и тревожно глядела в конец улицы, спускающейся к реке. В руках

у нее было вязанье, но пальцы плохо перебирали спицы.

Соседки, выгоняя на рассвете коров на пастбище, рассказали ей о веселье молодежи в актовом зале института и о прогулке на лодках, в которой приняли участие Аня и Нина.

— Кто вам сказал об этом?

—Слухом земля полнится.

Мать понимала, что окончание института — такое важное событие, ради которого можно пренебречь заведенным порядком в доме и все же ее сердце было неспокойно. То, что дома не ночевала Нина, не волновало: мать привыкла к отлучкам младшей дочери, которая прогуляв допоздна на какой-нибудь вечеринке, шла потом к одной из многочисленных подруг и спала там до обеда. Но Аня еще ни одной ночи не провела вне дома и мать привыкла к этому, как к чему-то обязательному и нерушимому. И вот впервые утренний рассвет, проникнув в спальню, увидел ее пустой.

Мать нисколько не осуждала дочь. «Слава Богу, Аня не такая, чтоб натворить глупостей»... Но сердце подсказывало, что с этого дня в их семью входит что-то новое. Может быть это новое будет состоять в том, что дочь по должности врача неизбежно должна будет отлучаться не только на одну ночь, а даже на длительное время. У матери была заветная мечта: не расставаться с Аней до конца своих дней и все, что грозило этой мечте, вызывало ревность, в которой не хотелось признаться даже самой себе.

Варвара Михайловна была простая бесхитростная женщина. Когда был жив муж, дом держался беспокойством, разговорами, воспоминаниями о нем: по должности моряка торгового флота он часто находился в отлучках и поддерживал связь с семьей короткими телеграммами, которые слал из Индии, Австралии, Норвегии, Франции, Бразилии, с острова Цейлона и с многих других островов, которые даже не были обозначены на картах, украшавших стены дома Костровых. Между картами красовались бесчисленные снимки и литографии, рисующие разные страны, города и обычаи народов земного шара.

Над письменным столом в изящной рамке висела грамота, полученная мужем за костюм на маскараде,

состоявшийся под новый год неподалеку от берегов Японии. Весь костюм состоял из одного фигового листка: муж изображал Адама в раю. Мать, рассказывая об этом, всегда смущалась: «Любил покойник поозоровать. Нина вся в него, а вот Аничка в меня смиренница».

— Идет... идет, слава Тебе Господи!

Радость матери была так велика, что она не усидела на крылечке и заторопилась навстречу, как будто Аня отсутствовала очень долгое время.

— Аничка!

Мать обняла дочь и расплакалась.

— Поздравляю, доченька, с окончанием.

— Спасибо, мамочка, а зачем же плакать?

— От счастья... Бог знает что передумала...

Во время разговора дочери с матерью Юрий Трофимыч стоял поодаль. В эти минуты он вспоминал свою мать, ее нежность к детям и сладкая грусть щемила сердце. «Какие мы с братом чувствительные... ничто не может превратить нас в каменные глыбы», — думал он.

— Познакомься, мамочка: Юрий Трофимыч, брат профессора Александра Трофимыча.

— Давно вас знаю, вот с таких лет помню.

Варвара Петровна показала рукой небольшое расстояние от земли.

— Бывало в собор вы все со своей мамашей ходили. Уж старенькая она была. Станет на колени и вы рядом с ней. Я еще завидовала: какое счастье иметь таких детей.

— Я у нее был последний, поэтому она до студенческих лет не разлучалась со мной.

— А вот моя дочка врачом стала, а я все с ней.

— Это очень хорошо, Варвара Михайловна. Когда дети вырастают на глазах любящих родителей, они на всю жизнь впитывают в свои души благородство.

— Заходите, Юрий Трофимыч, сейчас самоварчик поставлю. Наверно скоро и Нина вернется... Посидим... поговорим...

— А по моему, Варвара Михайловна, давайте нашу задушевную беседу за чашкой чая отложим до вечера. Анна Романовна очень устала и ей нужно отдохнуть.

Ах, если бы вы знали, Варвара Михайловна, какой совершенно исключительный успех она имела на концерте!

— Насчет этого она у меня умница.

— Насчет всего она у вас — бесценный клад, Варвара Михайловна.

Он ушел, сказав на прощанье: «До скорого свиданья».

— Какой душевный — сказала мать входя вместе с дочерью в дом, — такие почтительные люди были только в старину.

— И теперь они, мама, не перевелись. Юрий Трофимыч сердечный человек. В его обществе приятно быть всякому. Он для каждого найдет свои слова душевной теплоты.

— Ты давно знакома с ним?

— Со вчерашнего вечера, а кажется, будто знала его всю жизнь.

— Уж не влюбилась ли ты в него, Аничка?

— Он женат, мама, у него двое детей. Он очень любит свою семью.

Она сказала это с благоговением и в то же время с грустью, которую нельзя было скрыть. Да, она полюбила его. И любовь эта томила ее, как жажда томит путника в пустыне. Кто может при мучительной жажде убедить себя в том, что вода — прихоть, что без нее можно обойтись, стоит только запастись терпением? Терзания жажды могут повлечь за собой мучительную смерть.

Неужели эта первая серьезная любовь погубит ее, опустошит ее душу? Она никогда не признается ему в своем чувстве. Она уже сейчас считает себя преступницей и великой грешницей. Как смеет она любить человека такого счастливого, такого необыкновенного по своим душевным качествам? Если бы он был один, если бы он был свободен, тогда она не задумываясь, поступила бы, как Татьяна Ларина из романа «Евгений Онегин»... Она уверена: он не отверг бы ее, как отверг Онегин Татьяну... Он в высшей степени благороден, чтобы оттолкнуть мятущуюся девичью душу... Он даже и в теперешнем положении не стал бы ей читать холодную высокомерную мораль, если бы она сказала ему

о своей любви... Но он никогда не услышит даже намека из ее уст на то, чем переполнено ее сердце.

«Господи, погаси это пламя в моем сердце, избавь меня от душевных терзаний», — молилась она, глядя на иконы с постели. Долго не могла заснуть. Нина, вернувшаяся на полчаса позже, уже спала, как убитая. «Счастливица, — думала о ней сестра, — в ее душе нет никакой борьбы, никаких конфликтов. Она называет меня растяпой за щепетильность, потому что сама все вопросы решает упрощенно: «Не нравится, так пусть убирается подальше, а нравится, так пусть ухаживает, авось и выйдет какой-нибудь толк».

Аня поднялась с постели и занавесила окна темными плотными шторами. В полумраке стала на колени перед иконами и долго молилась. «Не погуби, Господи», — вот из каких слов состояла ее молитва. Когда она все-таки, в конце-концов, заснула, ей приснился скалистый берег извилистой бурной реки. Она идет вдоль берега и видит: на обрыве, куда не проникает солнечный свет, три необыкновенно красивых цветка. Они похожи на тюльпаны — два лиловых и один золотистый. Как их достать? Она ложится на землю и протягивает руку к цветам. Ей хочется не сорвать их, а извлечь из грунта вместе с корнями, чтобы пересадить на клумбу в своем палисаднике. С большим трудом, каждое мгновение рискуя жизнью, она выкапывает из земли три луковицы. Ее счастье неописуемо: ведь других таких цветов вероятно нет нигде на земном шаре. Их лепестки как будто из тонкого атласа, их аромат окрыляет душу и превращает ее в Ангела. Но вот луковицы начинают увеличиваться в объеме и, наконец, лопаются. Три прелестных девочки стоят перед нею.

— Кто вы? — спрашивает она.

— Твои мечты.

Но очень быстро цветы начинают блекнуть, как закатные краски. То, что было ярким и ароматным, превращается в пепел. Непроницаемый туман окутывает трех девочек. Она зовет:

— Дорогие мои крошки, где вы?

Но в наступившем сумраке ей не слышно даже собственного голоса. Она мечется в поисках дороги. Внезапно начинает свистеть ветер, какое-то страшное ши-

пение доносится до ее слуха. Она чувствует, что на нее со всех сторон наступают чудовища. Их пока не видно, но ими заполнены воздух, вода, земля. От них нет спасения: они ползут, летят, бегут, издавая душу леденящие звуки. — Господи, спаси меня, — вскрикивает она и просыпается.

— Какой удивительный сон мне приснился, — сказала Аня, когда проснулась. Нина, выслушав описание сновидения, так растолковала его: — Три человека — дороги для тебя. Ты мечтаешь всегда видеть их возле себя. Но судьба погубит их. Всякая нечисть отравит воздух твоей жизни... Но, конечно, все это случится только в том случае, если ты поверишь сну. А так как ты доктор, то мне кажется, не придашь никакого значения своему бреду. Если верить всякой чепухе, то нужно заранее поставить крест над своей жизнью.

— Оказывается, ты серьезная девочка, — сказала Аня, стараясь не обнаружить душевной боли, навеянной сновидением.

— А ты что ж думала? Что я способна только красить волосы и выдавать чужие сочинения за свои собственные? Ах, Аня, если б ты только знала, как я отчитывала Ефима, как я над ним издевалась.

— Не бахвалься, все это может окончиться печально для тебя. Неужели ты думаешь, что секретарь партийной организации не отомстит тебе рано или поздно? Берегись его.

— Он не дает мне проходу.

— Это очень плохо.

— Ну, а каков твой кавалер?

— Очень симпатичный.

— Признайся, сестренка, ты влюбилась в него?

— Какая ты глупенькая: ты значит не знаешь меня, если задаешь такой вопрос.

— Но ведь нельзя же, моя дорогая девочка, прожить всю жизнь монашкой. Господи, если б я была такой красивой и талантливой, как ты, чтобы я натворила! Небу стало бы жарко!.. Почему в тебе нет ни крупинки честолюбия? Ты в этом отношении прямо какой-то уродец... Тебе бы только побольше баб, сопливых ребятишек да в придачу три грядки с овощами и два фруктовых дерева.

— Ошибаешься... Я очень завидовала нашему отцу, завидую и Юрию Трофимычу, которые имели возможность увидеть так много интересного... С какой бы радостью вместе с мамой я отправилась в кругосветное путешествие... Но в качестве кого могла бы я пуститься в такое турне?

— Как это в качестве кого? Ну, разумеется, в качестве певицы!

— Для того, чтобы стать певицей, нужно учиться и учиться.

— С тобой не сговоришься. Лучше скажи: ты пригласила его на субботу?

— Да. Надеюсь, ты своего Ефима не пригласила?

— За кого ты меня принимаешь? Но он от кого то узнал, что в субботу у нас вечеринка и очень интересовался, кто на ней будет? Я сказала: «Какое вам дело?»

— Юрий Трофимыч придет и сегодня вечером: мама пригласила его на чашку чаю. Он ей очень понравился.

— Великолепно! Не зевай, Анька! Хотя что тебе говорить об этом? Ты в этом смысле безнадежная... Разреши мне поухаживать за ним.

— Ничего не выйдет: он верен своей жене и будет ей верным до могилы.

ПЕРЕЖИВАНИЯ ЮРИЯ ТРОФИМЫЧА

Так думала Аня. А что на самом деле переживал Юрий Трофимыч? Он полюбил Кострову раньше, чем она полюбила его. Ее выступление на концерте, прогулка в саду перед ужином, поездка на лодке в лес, разговор на поваленном дереве, обратная дорога... Каждый момент он открывал в ней все новые совершенства. Уже там, в лесу, ему хотелось крепко обнять ее, но его остановила застенчивость перед талантом, облеченным в удивительную скромность. Благородство девушки подсказывало: «Будь таким и ты». А образ жены и детей? Помеха ли это? Он помнил о достоинствах жены, о любви к ней и к детям, но как лирик по душе, как художник, человек тонкого эстетического вкуса, он не мог не полюбить Аню, как бы ни была добра его жена. Да,

она прекрасна, как человек, необыкновенна, как мать, обаятельна, как женщина... Она заслуживает к себе внимания и как жертва проклятого режима, похитившего у нее родного отца. Но вот теперь ее образ заволакивается какой-то тончайшей кисеей, похожей на туман, а на первом плане стоит скромная волшебница, заставляющая своим талантом трепетать людские души.

— Может быть меня влечет к ней честолюбие? Ведь каждому мужчине так приятно быть другом талантливой женщины? — думал он и тут же опровергал себя:

— Нет,.. нет! Цветы тянутся к солнцу по закону природы. Мое сердце тянется к солнцу ее души. А жена и дети? Пока я не знаю, как все устроится в дальнейшем, но ясно одно: без Ани я не представляю своего существования, своей работы, каждого своего вздоха... Но уже сейчас мне больно, как только я подумаю о жене. Как она воспримет все это? Перенесет ли она этот удар? Что делать? Посоветоваться с братом? Советуются ли о таких вещах?

ПРОФЕССОР РАЗГОВОРОВ

Профессор Разговоров был бездетным вдовцом. Жена его умерла пять лет тому назад, в знаменитом 1933 году, когда почти вся Советская страна корчилась в муках голода. Весной в том году она поехала на Украину, откуда была родом, чтобы отдохнуть в кругу родных и близких. Но ее встретили ужасы, каких до этого она не могла себе даже представить. По украинским селам и деревням свирепствовала смерть. В каждой хате лежали умирающие.

По пустым дворам бродили одичавшие кошки. Опухшие от голода, но еще державшиеся на ногах, тянулись вереницами к станциям железных дорог в надежде — добраться до Москвы, которая всем казалась земным раем: там можно было продать за бесценок самодельные ковры и купить хлеба. Но на пассажирские поезда не давали билетов, а от товарных отгоняли. Люди ждали неделями счастья и, не дождавшись, умирали. Младенцы, похожие на бледные былинки, тщетно пытались

извлечь бескровными губами хотя бы каплю молока из материнских грудей. Обезумевшие от мучений голода стали охотиться друг за другом. На базарах продавались пирожки и котлеты из человечины. А в газетах не было ни звука о страшном бедствии и попрежнему на все лады воспевались достижения сталинских пятилеток.

Жена профессора, с трудом добрашись до сестры, поняла, какую сделала ошибку. Не ей нужно было ехать на Украину, а сестре бежать с Украины. Вопли голодных, опустошение когда-то богатейшего края, подействовали парализующе на впечатлительную женщину. Вместо того, чтобы действоват, она заболела нервным расстройством. В письмах она писала мужу, что попала в ловушку и просила его прислать продовольственную посылку. Муж в это время был в экскурсии в Архангельской области и больше двух недель письма жены оставались невскрытыми на квартире.

Профессор писал жене ежедневно. Но его письма по нескольку дней оставались в почтовых ящиках глухих деревень севера. Почти ни одно из них не дошло по назначению.

К мукам голода присоединилась смертельная тревога за мужа. Потом произошло событие, которое добило морально гостью: пятидесятилетняя соседка отрубила топором голову своему единственному сыну, когда он спал и теперь по ночам варила и жарила мясо того, кто еще так недавно был ее единственным утешением. Об этом узнали местные власти. Остатки трупа были похоронены на кладбище, а сумасшедшая старуха расстреляна публично сытыми и краснощекими энкаведистами.

Жена профессора уже не могла писать Она лежала пластом с одним желанием — что-нибудь поесть. Сестра отправила профессору телеграмму молнию, умоляя немедленно приехать.

Курьер, принесший телеграмму, знал, что профессор в Архангельской области: сын курьера был студентом института и сейчас находился в экскурсии вместе с Александром Трофимычем. Телеграмма благодаря заботам курьера была переслана в Архангельск. Профессор бросил дела и, запасшись необходимыми докумен-

тами, покатил за женой. В его чемоданах было много продуктов.

Прибыв на вымирающую Украину, он с большой опасностью пошел по обезлюдевшим селениям и пустынным полям: кто-то мог выскочить из-за угла или из-под куста и ограбить его или даже убить для съедения.

Приезд мужа не вернул душевного равновесия жене. «Хочу есть», — твердила она. Нужно было срочно увозить ее из этого царства смерти. Но как доставить больную до станции, как попасть в поезд? И он пошел за пятнадцать километров в районное отделение НКВД. Показав самовлюбленным начальникам все документы, пустив в ход свое красноречие, он пробил брешь в неприступной крепости: ему дали машину и сопровождающего в военной форме. С помощью этого человека он получил три места в поезде: вместе с женой он увозил и ее сестру. Нужно было строго следить за тем, чтобы изголодавшаяся не набросилась на пищу и тем не погубила себя.

Однажды в отсутствие мужа и сестры больная пожаловалась домашней работнице, сердобольной деревенской старушке Игнатьевне: «Заморили меня голодом». Игнатьевна из жалости накормила хозяйку досыта. Через несколько минут насытившаяся умерла. Ее похоронили в ограде церкви Гурия, Самона и Авивы.

Чтобы заглушить душевную боль, профессор погрузился в научную работу, а через некоторое время поехал в Ленинград к младшему брату, которого любил, как родного сына. Радушие чуткой обаятельной невестки, звонкий лепет малышей племянников, задушевные беседы с братом исцелили его от меланхолии.

— Надо поискать для вас спутницу жизни, — шутила невестка.

— Нет уж, Машенька, не стоит... Как-нибудь один добреду остаток пути, чтобы там, за гробом, она не встретила меня укором: «Эх, ты: не утерпел, тридцать лет шли вместе, а на тридцать первом решил опереться на руку другой»...

— Да ведь если бы вы изменили живой, тогда бы она могла вас упрекнуть... А при таком положении она даже благословит вас.

— Думаю, что нет. Одним словом, Машенька, не хлопочите. Буду приезжать к вам, вы ко мне, глядишь — жизнь как-нибудь и будет прожита.

И вот теперь, когда любимый брат разделял его одиночество, он чувствовал себя так хорошо, что даже мрачная действительность не выводила его из душевного равновесия. Он советывался с братом насчет всех своих замыслов, критиковал жестокую и неумную политику Кремля, пророчил большие потрясения нашей стране, без конца рассказывал о своих студентах, которые несмотря на все язвы официального воспитания, остаются прекрасными людьми, на которых можно вполне положиться.

Комплименты по адресу молодежи заканчивались искренним отеческим дифирамбом Ане Костровой:

— Это необыкновенная девушка. Но я уверен, что таких, как она, тысячи в нашей стране.

«Брат познакомил меня с ней, он же должен быть судьей моего сердца», — думал Юрий Трофимыч, анализируя свои чувства к жене и к Ане .

В ГОСТЯХ У КОСТРОВЫХ

Юрий Трофимыч стал одеваться, чтобы идти в гости к Костровым. Теплую воду для бритья подала Игнатьевна.

— Что ж супругу то свою не привезли? Уж вот как она пришлась мне по душе, когда вы были у нас мимоездом три года назад.

— На куророт отправил, Игнатьевна.

— Скучно, небось, одному-то?

— Конечно, Игнатьевна. Ведь моя Машенька — золото.

— Да уж что там говорить, редкостная женщина.

Эти похвалы внесли еще больше беспокойства в душу Юрия Трофимыча. Стоя перед зеркалом, он думал о той, в обществе которой провел сегодняшнее утро. Перепробовал несколько галстуков: клетчатый, полосатый, горошком, гладкий и в конце-концов остановился на синем с косыми серебристыми полосами: этот галстук больше всего гармонировал с темно синим костюмом.

Оглядев себя в зеркале Юрий Трофимыч остался

доволен: высокий рост, карие, слегка улыбающиеся глаза, темные шелковистые волосы, широкий лоб, небольшой рот и маленькие уши — все свидетельствовало об аристократизме в этом облике.

Юрий Трофимыч знал себе цену. Он верил жене и друзьям, которые утверждали, что у него удивительно приятный тембр голоса. Правда, эти же друзья называли его на редкость влюбчивым человеком. «Но, к счастью для вашей жены всякая ваша очередная влюбленность проходит не позже, чем через две недели», — добавляли они.

В гостях Юрий Трофимыч всегда завладевал вниманием всех присутствующих, рассказывая о тех городах и странах, где ему удалось побывать. На спортивных площадках он неоднократно получал призы, как теннисист и конькобежец. Он прекрасно плавал и знал все крестьянские работы. Косить, пахать, вязать снопы, молотить цепом он научился еще в отроческие годы, когда семья на лето выезжала в деревню. Он умел разговаривать с простым народом и шутить с деревенской молодежью.

У женщин он пользовался успехом, которым не злоупотреблял, помня о жене. При всяком удобном случае он ставил ее в пример знакомым, как образец ангельской кротости, которая способна уврачевать любую рану мужа.

Он был начитанным, интересовался всеми искусствами, но больше всего любил архитектуру, к которой его влекло с детских лет. Как архитектор, он пользовался известностью. Зарабатывая много денег, он сорил ими направо и налево. У него была страсть делать подарки знакомым. Если он шел в дом, где были дети, то для каждого нес такую игрушку, которая соответствовала наклонностям ребенка.

Женщинам он дарил духи и цветы, мужчинам — портсигары, галстуки, красивые запонки. Идя в театр, он брал с собой живую розу, чтобы бросить ее на сцену талантливой актрисе. Как и брат, он был некурящим, но любил сладкое.

Днем он сходил в универсальный магазин и купил для Варвары Михайловны косыночку, а для сестер по флакону духов — Ане «Фреску», Нине — «Камелию».

Он пришел к Костровым в шесть часов. Это было рановато, но у него был умысел — не только посидеть в гостях, но и погулять за городом со старшей сестрой.

Его встретили радостными восклицаниями и повели в сад. Он сделал свои подношения. Мать дружески пожурила его за мотовство, но втайне была очарована такими знаками внимания.

Садик у Костровых был небольшой, но ни один вершок земли не пропадал в нем даром. Все породы фруктовых деревьев, всевозможные ягодные кусты, несколько сортов клубники, цветочные клумбы и грядки — были гордостью и радостью Варвары Михайловны. Все, что видел и слышал Юрий Трофимыч, вызывало в нем массу воспоминаний. Вот и теперь, когда его водили по саду, от куста к кусту, он рисовал в своем воображении сад и цветник тестя, в котором с любовью работала его Машенька. Чувствует ли она сердцем его очередное увлечение? Знает ли она, что все его невинные флирты до этого — только кратковременные шалости, что в настоящее время его захватило такое чувство, какого он и сам не мог предполагать в себе после девяти лет счастливого супружества?

Чай пили в липовой беседке. Между липами цвели кусты жасмина. К чаю были поданы ватрушки, сладкие пирожки, деревенские здобнушки. Сестры и гость делились впечатлениями о выпускном вечере и прогулке на лодках. Опять заговорили об успехе Ани.

— Вы более совершенны, чем многие из прославленных, но уже немолодых певиц. «Во время уйти», — вот о чем должны помнить люди искусства, и в особенности певцы и танцоры, Если драматический артист может даже умереть на сцене, то вокалисты не имеют права демонстрировать свой охрипший, поблекший голос, танцоры не имеют права показывать свое дряблое морщинистое тело, если не хотят быть освистанными.

— А вы уговариваете меня стать певицей... Хотите, чтобы и меня когда-нибудь освистали, — сказала с улыбкой Аня.

— С вами этого никогда не произойдет: у вас достаточно чуткости, чтобы догадаться, когда уступить место другим. И потом... это будет так нескоро. К тому времени наука изобретет что-нибудь чудодейственное

для омоложения голосового аппарата певцов. Вы слышали, что Шаляпину делали рискованную операцию голосовых связок?

— Нет.

— В результате операции он мог или совсем потерять голос или вернуть прежнюю гибкость, силу, молодость. Врачи предупредили его, что не ручаются за безоговорочно положительный результат. И все-таки он согласился. Совершилось чудо: операция прошла благополучно. Голос зазвучал так, как звучал только в годы творческого расцвета. Вскоре после этого он приехал на гастроли в Латвию. В Рижском театре он пел Бориса Горунова, пел так, что зрители рыдали... От сведущих людей я слышал, что в это время его терзала особенная тоска по родине. А ведь Рига — это бывший русский город. Он расположен на реке. которая берет начало в России, в той самой России, которая наделила его сверхгениальностью. Он был слишком русским, чтобы найти полное удовлетворение в Америке и на Западе. Он, конечно, не молился на все русское, как на святыню, потому что слишком хорошо знал все изъяны русской натуры и русского быта. Но кроме изъянов, кроме черных пятен, он видел много светлого, благородного, такого, чего никогда днем с огнем не отыщете в любом иностранце.

— Я как раз часто думала о том, что в душе русского человека свет и тени дополняют друг друга. В продолжение суток бывает утро, день, вечер и ночь. Все это повторяется и в душе русского человека: он бывает то светел, как майское утро, то горяч, как июльский полдень, то хмур, как октябрьский дождливый вечер, то жесток, как январская вьюжная ночь, — сказала Аня.

— С вашим образным сравнениеем я согласен целиком. Я не терплю ни тех, которые самовлюбленно вопят: «Мы русские — лучше всех», ни тех, которые мрачно вещают: «Русские — навоз, годный для удобрения полей европейской культуры».

Недавно я прочитал сборник рассказов Пантелеймона Романова, изданный в 1925 году. Книга написана талантливо, правдиво, из нее не выбросишь ни одного слова, читая ее, поражаешься наблюдательностью ав-

тора, его уменьем — двумя-тремя штрихами набрасывать запоминающийся портрет, но книга производит гнетущее впечатление. Ни одного светлого образа, ни одного луча в этом царстве тьмы. Жестокость, косность, тупость,жадность, идиотизм, глядят с каждой страницы, независимо от того, что описывается в рассказах — городская или деревенская жизнь. Я сжимал кулаки, хватался за голову, читая эту книгу. Писатель показал только черный ход здания, где навалена всякая мерзость. Но ведь у зданий есть и парадный вход. Если бы я был писателем, я написал бы книгу о двух началах в русском человеке, я бы показал ангела и демона русской души. Правда, этому посвящено все творчество гениального Достоевского, но у него преобладает все-таки мрачный колорит и после прочтения каждой его книги в душе царит смятение. Цель моей книги была бы иная: успокоить читателя. После ее прочтения человек бы сказал: «А все-таки на небе есть солнце, луна и звезды, а в душах людей не всегда мрак, холод и смерть. Свет, тепло и жизнь дают смысл нашему бытию, наполняют целеустремленностью каждое наше деяние».

— Юрий Трофимыч, пишите скорей такую книгу, — стали упрашивать гостя мать и обе дочери, — вы так прекрасно рассказываете.

— Не каждый хороший рассказчик может стать писателем и не каждый талантливый писатель обладает способностью привлекать внимание слушателей устным рассказом или речью. Максим Горький, как оратор, совершенно косноязычен.

— Вы бы могли написать, если бы захотели или принудили себя сесть за письменный стол, — сказала Аня, — самое главное: уметь себя заставить. Раз это нужно, то делай. Пообещал что-нибудь людям, выполняй обещание. Вот, наша Ниночка (Аня с любовью взглянула на сестру) совсем не обладает талантом дисциплины, а я каждый день и каждый час тренирую в себе эту черту.

— Ой, как это скучно, — всплеснула руками Нина.

— А тебе бы только веселиться, — заметила мать.

— Сейчас заклюют, защитите, Юрий Трофимыч, — улыбнулась Нина.

— Судя по тому, как вы разговаривали с Ефимом

в саду после вчерашнего концерта, вы не только не нуждаетесь в защите, но можете сами разгромить целый батальон нападающих на вас.

— Вы подслушали, как я отчитывала писклявую бабу под именем секретаря студенческой партийной организации?

— Вы делали это так громко, что в подслушивании не было никакой нужды.

— Что верно, то верно: люблю постоять за себя. Пальца мне в рот не клади: откушу.

— Больше рисуешься кровожадной, а на самом деле я что-то не видела ни одной твоей жерты, — сказала Аня...

— Не трогали меня, значит и я оставляла людей в покое. А коль затронут, не спущу.

— Молодец, Нина, так и надо поступать, чтобы чувствовать уважение к самой себе, — похвалил гость младшую сестру. Она вся расцвела от комплимента и даже привскочила, тряхнув копной обесцвеченных волос с темным отливом у самой кожи. В маленьких темных глазах засверкали огоньки радости, загоревшее круглое лицо покрылось румянцем. Было что-то трогательно-комическое во всем ее облике. Если Аню Юрий Трофимыч воспринимал, как образец гармонии душевных качеств с внешностью, то Нина была воплощением контрастов.

Мальчишеский задор, наигранность, стремление к оригинальничанью, протест против всех рамок, ограничивающих свободу — вот что бросалось в глаза собеседникам Нины. Но в основе своей она была девушкой не с плохими задатками. Положительное в ней все-таки преобладало.

— Кажется вы первый похвалили меня. Я привыкла только к замечаниям, укорам, поучениям.

— Юрий Трофимыч может подумать, что мы с Аней не даем тебе житья, — с обидой сказала мать.

— Они любят вас, Нина, так же, как и вы их, — успокоил всех трех Юрий Трофимыч.

— А это, пожалуй верно, — вскрикнула Нина и, вскочив со скамейки, обняла и расцеловала сначала мать, потом сестру.

ГОСТЬ УХОДИТ

Пионы, левкои и белый табак на клумбах распространяли густое благовоние. Этот аромат обезволивал и погружал в сладкие грезы.

— Вы посидите, а я полью их, — сказала Варвара Михайловна, указывая на цветы.

— Нет, лучше вы посидите, а мы займемся поливкой, — сказал Юрий Трофимыч. Выбежав из-за стола, он спросил:

— Девочки, где ведра и лейки?

— Под верандой.

Водопроводная колонка была в углу сада, под березкой. Аня принесла две лейки и два ведра. Юрий Трофимыч подносил воду к цветочным грядкам, сестры поливали.

— Даже Нина работает, надо сделать зарубку на чем-нибудь, — пошутила мать.

— Если Юрий Трофимыч будет приходить почаще, я, чего доброго, стану такой же труженицей, как Аничка.

Политые цветы заблагоухали еще сильнее.

— Смотри, мамочка, даже ни капельки не забрызгались, — хвалилась Нина, — можно идти гулять, не переодеваясь. Сегодня на пруды в парке будут спущены новые лодки. Не хотите, Юрий Трофимыч, покататься?

— Я не люблю парковой толчеи и шума. Мне хочется навестить своих родителей.

Нина удивленно раскрыла рот.

— Покойных, конечно. Они похоронены рядом. Там же и несчастная жена старшего брата. Вы, Аня, не хотите составить мне компанию?

— Если разрешите, я приду немного позже.

— Буду просить вас.

— Меня, например, покойники не интересуют, — заявила Нина, но взглянув на Юрия Трофимыча, поняла, что сказала бестактность: ведь речь шла не о каких-то чужих покойниках, а о самых дорогих для их гостя.

— Я не то хотела сказать, — замялась девушка, — ну, словом, вы меня понимаете.

— Да, да, желаю вам повеселиться как следует.

Юрий Трофимыч поблагорадил Варвару Михайловну за внимание и пожелал ей здоровья. Мать вышла проводить гостя и тут спохватилась:

— Мы вас даже в комнаты не провели, хороши хозяйки.

— Юрий Трофимыч будет у нас в субботу.

— А еще-то о чем не догадалась... Господи, да как же это? Из ума вон... Погодите минутку, — беспокойно засуетилась мать.

— Чего ты, мама?

— И ты тоже хороша, — с укором заметила старушка, — Юрий Трофимыч идет на кладбище, а тебе невдомек цветов для него нарвать, на могилки отцу с матерью.

И она проворно, как девочка, побежала к клумбам.

На прощанье Юрий Трофимыч крепко пожал руку радушной хозяйке.

Он не стал спрашивать, почему Аня не хочет пойти с ним вместе?

— Что это такое, — удивилась мать, когда ушел гость, — ночью и утром не боялась оставаться вдвоем, а теперь оставила скучать одного... Испугалась что-ли чего-нибудь?

— Дело не в испуге, мамочка. Юрий Трофимыч пошел к могилам самых дорогих для него людей. Судя по тому, что я успела узнать о нем, он очень религиозный. Может быть ему захочется помолиться. Мое присутствие будет его стеснять. Ты видела, что он не упрашивал меня пойти непременно вместе с ним, а как будто даже обрадовался, когда я сказала, что приду попозже?

— Будешь на кладбище, помяни отца... Господи, Господи, где плавают его белые косточки?

Мать поднесла платок к глазам. Дочь крепко обняла ее.

— Не надо, мама, плакать, душа отца теперь радуется за дочь. Не будем омрачать ее слезами.

— Ты тоже захвати цветов. Там ведь и жена Александра Трофимыча похоронена. Положи ей венок в изголовье. Помолись. Если стесняешься при других, про себя помолись. Молчаливая молитва еще лучше, а то еще неровен час, нехристи-безбожники надсмеются.

Во сколько тебя ждать, Аня? — спросила мать, когда дочь собралась уходить.

— Не позже...

Она хотела сказать: «двенадцати», но, на всякий случай, прибавила еще час и сказала:

— Не позже часа.

— Если буду спать, постучишь в среднее окно.

В ЦЕРКОВНОЙ ОГРАДЕ

Юрий Трофимыч спустился вниз к Днепру, повернул направо к мосту и там сел на трамвай, чтобы выгодать время. Через четыре остановки сошел и стал подниматься вверх, мимо поселка, который назывался «Садки».

Церковь Гурия, Самона и Авивы была на горе. За высокой каменной оградой было когда-то кладбище для избранных. Теперь здесь никому не разрешали хоронить покойников. Жена профессора Разговорова была последней из нашедших здесь вечный приют. Помещение церкви отвели под архив, штат которого состоял из 6 человек. Это спасло кладбищенские насаждения от расхищений, поломок и запустения. Сторож архива, человек стариного закала и любитель порядка, не впускал за ограду церкви никого из посторонних, объясняя свою строгость тем, что в церкви хранятся «самые главные документы, о которых знают даже в Москве». Подойдя к церковной ограде, Юрий Трофимыч увидел на решетчатой калитке тяжелый замок.

— Сторож вон в том домике, — сказала проходившая мимо женщина.

Когда старику объяснили, что пришел брат профессора Разговорова, он, звеня ключами, охотно вышел из домика. Эта был приземистый широкоплечий крепыш, похожий на лесного пана: густые заросли — рыжие в перемешку с седыми — были у него на голове и на лице.

— Я беспорядка не люблю и шляющих не допускаю. Видели, что творится в других местах? Проходные дворы, а не кладбища... Там и чай и водка и закуска... А где зелье, там и песни... Мужчины женщин облапят — одна срамота. Кусты ломают, траву мнут. У меня

этого — не моги! Здесь покойники — надо понять это. И незачем их всяким галдежом беспокоить. Я, как в архиве занятия кончаются, на ограду замок вешаю. На это дело просил денег у заведующего, а он мне в ответ: «На это каких-то лимитов не отпущено». Ну, раз не отцущено, повешу свой.

— Это очень хорошо, дедушка, — поощрил старика Юрий Трофимыч, — вы мне откройте и можете пойти домой. Когда буду уходить, скажу вам. А пока вот вам за хлопоты.

Старик, увидев в руке десятку, совсем растаял:

— Могилы Разговоровых у меня всегда в аккуратности. Траву подрезаю, многолетники поливаю. Сейчас пионы цветут. Запах — ангельский... Может покараулить в сторонке, чтоб никто не нагрянул?

— Но кто-нибудь может придти — навестить своих покойников.

— Коль хотите посидеть, у меня тут и скамеечка есть.

— Может быть посижу. Но вы не беспокойтесь.

— Мне какое беспокойство? Вот вас бы кто не побеспокоил.

«Какой говорун, — подумал Юрий Трофимыч, — получив деньги, он вероятно решил, что я пришел сюда провести ночь».

— Ваши родители в том конце.

— Да, да, я знаю.

— Прощайте покуда.

Сторож нехотя побрел домой. Ему, как видно, хотелось о многом поговорить и многое рассказать. Когда Юрий Трофимыч вошел в церковную ограду, на него сразу повеяло холодом от каменной церкви и от старых плит у паперти, между которыми пробивалась трава.

— А здесь действительно мало посетителей, если даже траву не успевают вытоптать, — подумал он.

На облупленной колокольне — без колоколов — жили галки. Однажды какой-то архивный работник из центра, посетивший местный архив, заметил, что вероятно галки своим теньканьем мешают работать. Нет, нет, — поспешили его заверить служащие, — наоборот, это теньканье помогает нам воскрешать старину во всей ее прелести.

— А что ж в ней особенно прелестного, в этой вашей старине, — пожал плечами человек из центра, но галочьи гнезда все-таки разрешил оставить.

Юрий Трофимыч подошел к трем могилам под липами. На всех трех цвели пионы. Положил принесенные цветы и сразу настроился на молитвенный лад. Невольно вспоминались детали из жизни отца и матери. Какие они были необыкновенные, истинно русские, человечные. Служить высшим идеалам добра и правды — было целью их жизни. И детей своих они стремились воспитать в духе любви к ближнему. Но особенные их заботы сосредоточились на нем, последнем из детей. Он всегда это чувствовал, и когда они были живы и особенно чувствует это теперь. Не было дня, чтобы он не вспоминал о своих стариках. Он благодарил отца и мать за то, что они воспитали в нем любовь к труду и уменье — отличать черное от белого. Ему хотелось и впредь на всех жизненных путях не спотыкаться, не падать в канавы и пропасти ошибок, заблуждений и минутных увлечений. Но в то же время он чувствовал, что его душа переполнена любовью к той, которая скоро должна придти сюда.

Имеет ли он право любить ее, как мужчина? Нет, не имеет. Но как приказать сердцу: «Не люби». Как часто в ясный летний день, когда все кажется застывшим в безмятежной тишине, вдруг налетает смерч. Закручивая в свою, быстробегущую спираль все, что встречается на его пути, он мчится, вздымая пыль, срывая солому с деревенских крыш.

Юрий Трофимыч видел, как однажды в такой воздушный круговорог залетел белый голубь. О, как он бедный кувыркался, пытаясь вырваться из налетевшей стихии. Его кружило, вертело, как пушинку... Сейчас Юрий Трофимыч во власти любовного смерча. «Господи, пронеси, не поломай крыльев моей души, помоги мне вырваться из этого вихря. Пусть разум и воля восторжествуют над чувством, которое может завести меня в дебри несчастья».

Он стоял на коленях, когда к церковной ограде подошла Аня. Она приподняла щеколду железной калитки, чтобы не делать никакого шума и тихо, едва дыша, направилась к могилам Разговоровых.

Юрий Трофимыч поднялся с колен и стоял молча, опустив голову. Аня не стала его окликать. «Я поторопилась, — подумала она, — а может быть мне совсем не нужно было приходить сегодня сюда».

По совету матери она молилась про себя. С какими мольбами обращалась к Богу эта девушка? Она просила за тех, чей прах предан земле: пусть их души обретут вечный покой. Она вспоминала своего жизнерадостного отца, который почти всю жизнь провел в путешествиях и умер на чужбине, где-то в экваториальных водах. Завернутый в брезент, с тяжестью, привязанной к ногам, он выброшен в море «без церковного пенья, без ладана, без всего, чем могила крепка». Если б он умер дома, то может быть был бы похоронен вот здесь, рядом с отцом и матерью Юрия Трофимыча.

Ей трудно представить его не существующим. Он кажется ей только отсутствующим, но официальный документ о его кончине принуждает верить, что смерть отца — непреложный факт. И она молилась теперь за его веселую русскую душу, которая никогда не кривила и детям своим внушала честность и прямоту. Вот сейчас она, его дочь, на распутьи. По какой дороге ей идти, чтобы сохранить уважение к самой себе и не причинить страданий другим людям? «Прости меня, дорогой отец, за такой вопрос. Я всегда знала, по какой мне идти дороге... Господи, освободи меня от минутной слабости».

РАЗГОВОР НА КЛАДБИЩЕ

Он оглянулся.

— Вы давно здесь? И не сказали, что пришли.

— Я только что вошла, — сказала она, приближаясь к могилам и укладывая венок на крайней, на кресте которой была надпись: «Здесь покоится прах рабы Божией Антонины Разговоровой. Родилась 14 ноября 1883 года. Скончалась 22 июля 1933 года. Мир праху твоему».

Юрий Трофимыч взял Аню под руку и сразу почувствовал, как душевный вихрь захватывает его, а все доводы рассудка беспомощно кружатся, как тот, застигнутый смерчем белый голубь, которого он видел однажды. Он посмотрел в ее синие глаза, потемневшие в этих

сумерках. Они показались ему испуганными.

Она молчала. У нее кружилось голова. Они не могли в эти мгновения думать о прошлом и будущем. А настоящее окутало их покрывалом неудержимого взаимного чувства. Молча они глядели друг на друга. Он крепко сжал ее руку в своей, прикоснулся к этой теплой

руке горячими губами и долго был в таком положении.

— Юрий Трофимыч... мы должны расстаться...

— Для меня это равносильно самоубийству...

— Но если мы не расстанемся, то, кроме нас, могут погибнуть невинные люди.

— Почему они должны погибнуть?

— Иначе не может быть.

Они вышли из ограды и пошли дальше мимо домика сторожа.

— Можно закрыть калитку? — крикнул старик в раскрытое окно.

— Да, — сказал Юрий Трофимыч. Старик вышел с синей лейкой наполненной водой и направился к могилам, возле которых только что молились два человека. Тонкие прозрачные струйки зашуршали по атластным лепесткам и большим фигурным листьям пионов.

— Пейте, пейте водичку, цветики, набирайтесь сил, цветите во славу Божию и на умиление нам грешным.

Старик поставил лейку и перекрестился.

— Слава Тебе, Создатель, за благолепие.

Он вспомнил, как бывало, до закрытия церкви нынешней властью, пел на левом клиросе вместе с дьячком, стариками и старухами. Стало грустно. Прошлое в эти минуты казалось сновидением, которое никогда не повторится. Его захватило молитвенное настрение и он запел тихим голосом: «Свете тихий, святыя славы, Бессмертного, Отца небесного, Святого блаженного, Иисусе Христе».

Вечерняя заря окрасила ленту Днепра в розовые тона. Солнца не было видно, но оно еще сверкало искрящимися точками на окнах зданий по ту сторону реки. Город на холмах, древний собор, красные крепостные стены и угловые башни, сады и скверы — все было залито мягким вечерним светом. Каждый камень казался живым. Каждый предмет в эти минуты излучал умиротворение. Проселочные дороги разбегались от города во всех направлениях и манили в неведомую даль.

«Есть ли на свете уголок, где бы можно было найти забвение от терзаний раздвоенности? — думал Юрий Трофимыч, — человеческая душа, как ты беспомощна в те моменты, когда требуется единственно правильное решение сложной жизненной задачи! А может быть

она кажется сложной только тем, кто не может честно сказать «да или нет» и всячески извивается перед своей совестью, отыскивая компромиссные решения».

— Нам нужно расстаться, — повторила Аня.

— Это невозможно.

— Пока это еще возможно. Возвращайтесь к своей милой Машеньке, к своим очаровательным детям. Вы должны жить для них... Вне семьи вы не найдете счастья.

— Даже с вами?

— С кем бы то ни было. Скажите, что сделала вам жена плохого?

— Ничего.

— Были ли у вас с нею хоть какие-нибудь размолвки?

— Никогда.

— Сможете ли вы, глядя в ее лучистые глаза, сказать: «Машенька, я оставляю тебя и детей и ухожу к другой»?

— Так не смогу... Но скажу как-нибудь иначе...

— Как бы вы ни сказали, сущность будет одна и та же: девять лет жили душа в душу, а на десятом потянуло к другой.

— Я скажу ей, кто эта «другая»... Она поймет меня.

— Верю, что она пожертвует своим счастьем, чтобы только были счастливы вы. Но неужели вы легко примете такой подарок? Я бы перестала вас уважать, если бы вы, не задумываясь, вычеркнули из своей жизни прошлое.

— Аня, вы не любите меня?

— Зачем вам моя любовь? Вы умный чуткий человек. Я очень вам благодарна за все, что вы рассказали о своей необыкновенной Машеньке. Если вы будете добиваться моей любви, я скажу, что вы ничем не отличаетесь от многих тысяч безответственных субъектов, которые слишком быстро ставят крест на прошлом. Когда я вас увидела, а еще более, когда вы посвятили меня во взаимоотношения со своей семьей, я поняла, что имею дело с образцом благородства. Не разрушайте моего первого впечатления о вас.

— Скажите, кто вы: тонко чувствующая девушка или умудренный опытом резонер?

— Сейчас вы начнете оскорблять меня.

— Я? Вас? Простите меня, чистая душа. Я не стою вашего мизинца. Вы — божество, посетившее нашу несчастную землю... Я люблю вас... Я умру ради вас!

— Овладейте собой. Не я вам, а вы мне должны давать советы... Когда-нибудь вы будете благодарить меня.

— За что?

— За то, что я вас во-время остановила.

— Вы? Меня?... О Господи, не ввергай Твоих рабов в бездны страданий... Значит все? Конец?

— Да.

Он опустил руки, отошел от Ани, печально поглядел на нее. Молчание было длительным.

— Я провожу вас, — сказал он со вздохом, — Варвара Михайловна будет счастлива, что дочь вернулнсь очень скоро.

— В вашем тоне ирония.

— Аня!.. Незакатное солнышко!...

— В другой раз, когда вы будете в состоянии говорить спокойно, мы все обсудим... Сейчас вы похожи на больного .

— Да, я серьезно, неизлечимо болен. Ваша холодная непреклонность убьет меня.

— Если бы вы могли заглянуть в мою душу, вы бы не сказали этого... Никто не знает и никогда не узнает, что я переживаю.

— Может быть поделитесь?

— Зачем?

— С друзьями всегда делятся. Или вы не хотите иметь меня в списке друзей?

— Хочу, но открыть вам свою душу сейчас не смогу... Отложим это до другого раза.

— Вы говорите, что нам нужно как можно скорее расстаться?

— Да, да... Но в субботу пожалуйста придите. Не хочется огорчать маму и Александра Трофимыча. Они готовятся к этому дню.

— Вы представляете, как я буду чувствовать себя на вашей вечеринке? Это будут похороны моей любви.

— Не говорите таких страшных слов. Вы давно не получали писем от жены?

— Уже три дня и очень беспокоюсь: раньше она пи-

сала каждый день. Уж не случилось ли чего-нибудь?..

РАЗГОВОР С МАТЕРЬЮ

Она почувствовала одновременно боль и душевное удовлетворение: если он страдает, не получая в течение трех дней вестей от жены, то не так уж захвачен новой любовью, как только что говорил об этом. Значит, ей не нужно будет затрачивать особенно много душевной энергии для его успокоения. Его «болезнь» — просто очередное увлечение.

Они шли по направлению к трамвайной остановке. Розовые краски на западе сменились более светлыми. От запада до востока все было затянуто пеленой цвета яблони и казалось, что на горизонте цветут сады. С Днепра доносились пароходные гудки и это напоминало Юрию Трофимычу Волгу.

— Как было бы хорошо прокатиться вместе с вами мимо Жигулей, Самары, Сызрани, Хвалынска, Вольска, Саратова.

— Чтобы воскресить в памяти путешествие с Машенькой?

— Вы ревнуете?

— Нет, радуюсь за вас.

Подошли к трамвайной остановке, где толпилось много ожидающих. Парочки продолжали шепотом разговоры, начатые еще где-то на прогулке, далеко отсюда. «Счастливы ли все эти люди? И что нужно им, чтоб быть счастливыми?» — подумал Юрий Трофимыч. Проникать домыслами в судьбу чужих людей вошло у него в привычку. Он всегда вглядывался в лица прохожих. В чужих глазах он читал целые повести, испытывая порою страх или чувство неловкости, похожее на то, какое бывает, когда застанешь людей не в обычном для них положении.

Трамвай пришел переполненным. Началась обычная суматоха, сопровождаемая криками и взаимными обидами. Аня и Юрий Трофимыч решили идти пешком и попробовать сесть на следующей остановке. Они шли молча по пыльному тротуару, выложенному неровными каменными глыбами. Сесть смогли только пройдя два пролета. Проезжая по мосту, увидели катающих-

ся на лодках, услышали баян и хоровую песню. Вспомнили прогулку в лес. Это было только сегодня утром, а кажется, что прошла целая вечность.

Он проводил ее до крылечка. Варвара Михайловна сидела с соседками. «Простые люди могут находить темы для бесконечных разговоров и это совершенно не утомляет их», — подумал Юрий Трофимыч. Его пригласили в дом. Он сослался на позднее время.

— А Ниночки еще нет.

— Погода хорошая — вот ее и не тянет домой.

— Ее и в плохую не заманишь в родной дом.

— Повидимому унаследовала от отца страсть к непоседливости, — улыбнулся Юрий Трофимыя.

Пожелав покойной ночи хозяевам, он медленно направился домй.

Варвара Михайловна вместе с дочерью вошла в комнату.

— Аничка, что случилось? — тревожно спросила мать, — почему так расстроен твой кавалер? Почему у тебя такое грустное лицо? Вы поссорились?

— Ничего, мамочка, мы поспорили по принципиальным вопросам.

— Я и слова-то такого вовек не выговорю. А по простому это нельзя разъяснить?

— Только не знаю, мамочка, поймешь ли ты

— А ты попроще растолкуй.

— Он видит счастье не в том, в чем вижу я.

— А зачем же из-за этого спорить?

— Да мы и не спорили, а только разговаривали. На кладбище очень хорошо, — сказала дочь, чтобы перевести разговор на другое, — я не ошиблась, что Юрий Трофимыч очень религиозен. Вот уж не думала. Был за границей, в высшей степени образованный.

— А разве заграница и образование делают людей безбожниками?

— Наши партийцы считают, что чем культурнее человек, тем он дальше от религии.

— Вдруг они — наши партийцы: прежнее образование не к теперешнему применить. Князья, графы, бароны, дворяне на каждом шагу. А поглядела бы ты, как все к Богу стремились. А сколько монастырей было. Сама сподобилась в Троице-Сергиевской лавре помо-

литься. Благолепия-то сколько было. Сходит человек в лавру, помолится, оброк даст — глядишь и сердцем просветлел. А в теперешнее время где искать опору? Хорошо, как дети родителей почитают — так хоть от них уму-разуму наберутся. А если отрошники? Ну, и не миновать гибели.

— Мамочка, а ты не помнишь вот чего: когда ты была молодой, твои родители хвалили старое время?

— Не без этого.

— А молодежь ругали?

— Бывало и это.

— И так, мамочка, всегда было, есть и будет. Отцы и дети всегда тянутся к разным полюсам — отцы назад, дети — вперед. Я понимаю: впереди не обязательно лучшее, а позади — худшее. Очень многое в современности мне совершенно чуждо. Наша Нина, например, более современная, чем я. Но я нисколько ей не завидую.

— Есть чему завидовать. Да если б она на тебя была похожа, я бы денно и нощно благодарила Бога.

Мать и дочь пожелали друг другу покойной ночи и расцеловались. Аня с удовольствием легла в постель. Несмотря на все пережитое за этот длинный день, она чувствовала, как погружалась в теплое небытие. Сон затягивал пленкой все душевные раны. Правда, глухая боль еще чувствовалась, но вот и она утонула в сладком забвении.

СТАРШИЙ УСПОКАИВАЕТ МЛАДШЕГО

Иное состояние было у Юрия Трофимыча. Вернувшись домой, он застал старшего брата за письменным столом.

— Ты совсем отбился от дома, — заметил, улыбаясь, профессор.

— Ну, брат, на грех ты привел меня вчера на выпускной вечер.

— В чем дело?

— Зачем ты познакомил меня с Аней Костровой?

— Что? Влюбился? Батенька мой, это так похоже на тебе.

— Не смейся: на этот раз совершенно серьезно.

— А кто тебе позволит? Прежде всего, на правах старшего, заменяющего тебе отца, я выдеру тебя за уши и поставлю в угол.

— Не поможет.

— Я вызову срочно Машеньку и она увезет тебя под конвоем.

— Это, конечно, более радикальная мера, но думаю, что ты свою угрозу не приведешь в исполнение.

— Я вел тебя в институт, чтобы доставить эстетическое наслаждение, а не для того, чтобы разлучать с женой. Слов нет, Аня — совершенство, но и Машенька твоя прелесть. Представь, что на вчерашнем концерте таких, как Аня, выступило бы три или четыре. Значит, ты влюбился бы сразу во всех? Ты скажешь, что девушки, подобные Ане, встречаются по одной на миллион. Значит, их в нашей стране уже 170. Если бы всех этих одаренных красавиц собрали вместе и показали тебе, ты, чего доброго, решил бы превратиться в султана и открыть гарем.

— С тобой, Саша, трудно говорить серьезно, ты все превращаешь в шутку.

— Да как же не шутить? Вчера человек увидел, сегодня врезался по уши. Ну точь-в-точь шестнадцатилетний подросток, а не тридцатипятилетний отец семейства. Нет, нет, дружок, выкинь это из головы! Я пойду на все, чтобы расстроить твой роман.

— Я очень жалею, что поделился с тобой.

— Жалеешь? А ну-ка посмотри мне в глаза. Так. Подвинься ближе. Дай ухо. Вот-вот-вот. В другой раз не будешь говорить таких вещей. С кем же тебе делиться, как не со мной? После науки, которой я отдал всю жизнь, ты занимаешь первое место в душе. Неужели ты до сих пор не убедился в этом?

Лицо профессора было таким же отечески вдохновенным, как и в тот момент, когда он говорил напутственную речь на выпускном банкете. Его седая шевелюра красиво ниспадала на широкий лоб. Глаза сверкали готовностью — отдать жизнь за любимого брата. Он сел рядом с ним.

— Мой славный мальчик, если б я благословил тебя на любовь к Ане, я был бы не брат и не человек а только старый сводник. Да, я верю: ты заболел лю-

бовью, но эта болезнь так же неизбежна, как невинная корь в детском возрасте.

— Это слишком грубое сравнение.

— Ты хочешь поэтических образов? Ну, хорошо. Неподалеку от Феодосии, в курортном местечке Коктебель, возле потухшего вулкана Карадаг — один из лучших пляжей всех мировых курортов. Особенность этого пляжа в том, что он усыпан не однообразной серой галькой, а красиво отточенными камушками всех цветов и оттенков. Среди них попадаются и драгоценные — сердолики, хризоправы, халцедоны, аметисты, топазы. Правда, их нужно искать, терпеливо перебирая тонны обыкновенных «собачек».

И вот, прибыв на курорт, люди бросаются на пляж и начинают копаться. Каждый найденный, хорошо отшлифованный морем халцедон удесятеряет энергию труженика, забывающего даже о пище. Эти поиски камней называются в шутку «каменной болезнью». Но ею болеют самое большее две недели. Выздоровление наступает как-то сразу: люди начинают понимать, что смысл пребывания на курорте не только в этих камнях, что кроме них есть манящее море, причудливые скалы вдоль побережья от Коктебеля до татарской деревни Отузы, горы, покрытые лесом, каньены в лёссовых породах, тихие бухты к западу от поселка.

Уезжая с курорта, каждый с умилением вспоминает о «болезни», которую он перенес, разыскивая «драгоценности». Он возвращается домой загорелым, посвежевшим. Поры его тела дышат здоровьем, душа полна оптимизма.

Почему я вспомнил о Коктебеле? Мне хочется, чтобы твоя любовь была только невинным увлечением, о котором ты когда-нибудь вспомишь с теплым умилением, как о чем-то светлом, что не исковеркало твоей души, а еще более возвысило ее. Нашей Аней увлекается каждый, кто встречается с нею, но это не значит, что тысячи мужчин должны бросать из-за нее свои семьи. Хочешь, я что-нибудь сыграю для тебя?

— Если можно, то «Лунную сонату».

— Хорошо.

Профессор погасил верхний свет, на крышку рояля поставил лампу с темно-зеленым шелковым абажуром

в виде тюльпана. В комнате было тихо. Тополь у раскрытого окна шелестел листьями. Пискнула птичка.

Александр Трофимыч с минуту сидел, склонившись над клавиатурой. Потом полились проникновенные звуки. Казалось, что лунный свет проникает в жилье. Прошлое будущее и настоящее сплетаются в одно целое и в этом целом поет душа, тихо рассказывая о том, что никогда не осуществится. Но это удел человеческой судьбы... Надо все принять, как неизбежность, не сетуя и не протестуя.

— Спасибо, — тихо сказал Юрий Трофимыч, глядя грустными глазами в лицо брата.

— Отдохни, ни о чем не думая.

— Постараюсь.

Он ушел в свою комнату, бросился на диван вниз лицом, потом встал, походил несколько минут из угла в угол и сел за письменный стол. В это время раздался осторожный стук в дверь.

— Юрочка, прости, мой мальчик: я забыл предложить поужинать.

— Спасибо, Саша, не хочется.

— Ну, если не хочется, так спи.

Но влюбленному хотелось излить душу на бумаге. В разговоре, при встречах, никогда не выразишь того, чем переполнено сердце. Только в одиночестве приходят нужные слова, выражающие всю гамму смятенной души.

ПИСЬМО

«Аня, дорогая!..

Заранее прошу простить меня за нескладные, корявые строки этого письма. За окном светлая июньская ночь и шелест тополей. В душе еще звучат аккорды «Лунной сонаты», исполненной братом. Вся жизнь, как длинный свиток, развертывается передо мной. Поймите меня, посочувствуйте мне, простите меня за все боли, причиненные вашему сердцу.

Я сказал брату о своем чувстве к Вам. Он любит Вас, как дочь, а я для него — сын и друг. У него ясная душа, я верю ему. И все-таки я спрашиваю: «Почему он не хочет, чтобы Вы всегда были со мною?»

Как и Вы, он рисует последствия необдуманного шага, если бы этот шаг был сделан мною. Как и Вы, он больше всего боится за судьбу Машеньки. Но ни он, ни Вы не знаете ее. А если бы знали,то согласились со мною, что возможно создать счастье, не погубив ее. Она пойдет на все ради меня, как идут на все родители ради любимых детей. И разве они не испытывают счастья, видя, как счастливы дети?

Вы будете обвинять меня в эгоизме. Но разве можно обвинять в этом грехе пробивающиеся из земли навстречу весенним лучам — злаки, травы и цветы? Вы для меня — весеннее солнце. Как же я могу не тянуться к Вам?

Мы увидимся в субботу, за ужином, на который Вы пригласили меня и брата. Если у Вас на груди будет приколот цветок, я это приму как знак, что Вы согласны со мною. Если же цветка не будет, Вы отвергаете меня.

«Зачем судьба столкнула нас на жизненном пути?» — спрашиваю я и все-таки благодарю ее. Спите, моя дорогая, запасайтесь силами. Вашей светлой душе ничто не грозит в жизни. За Ваше благородство и человечность Бог вознаградит Вас спокойной совестью и творческими успехами.

Еще раз прошу не посетовать на меня, если это письмо наполнит Вашу душу противоречивыми чувствами. Остаюсь в ожидании мудрого приговора, который вынесете Вы для меня — Ваш искренний друг — Юрий Разговоров».

За окнами светало. Заколыхалась тюлевая занавеска на окне. Юрий Трофимыч погасил лампу. В комнате было светло. Город просыпался шумами, звонами, гудками.

ЗАБОТЫ ВАРВАРЫ МИХАЙЛОВНЫ

В субботу Варвара Михайлова проснулась в четыре часа утра, хотя накануне легла только в первом часу ночи. Когда нужно было принять гостей, она не жалела своих сил. Не честолюбие руководило ею, не желание, чтобы о ее гостеприимстве и радушии передавали из уст в уста. Она была гостеприимной по своей

природе, как большинство русских женщин.

Спекуляция в советское время спасала многих людей от бедственного положения. Но Варвара Михайловна не прибегала к этому унизительному способу обогащения. Средства на жизнь она доставала шитьем и продажей ягод и фруктов из своего сада. А если всего этого нехватало, то приходилось «загонять», как она выражалась одну из вещиц, запасенных в доброе старое время и подаренных ей мужем. Заморские диковинки, стоили больших денег.

У Варвары Михайловны был особый нюх — узнавать, где, что «дают». В таких случаях она занимала очередь у магазина одной из первых и никогда не возвращалась домой с пустыми руками.

Не брезгала она и стиркой чужого белья, хотя дочери журили ее за это.

— Ты не хочешь поберечь себя, — говорили они.

— Я люблю стирку, — оправдывалась она и действительно стирала прекрасно.

Превратить грязное, застиранное белье в белоснежное, накрахмаленное, тщательно и артистически разутюженное — было для нее делом чести.

Все приводить в надлежащий вид — было одной из задач ее жизни. У нее был порядок в доме, на огороде, в чулане. Ни минуты времени не терять на пустяки — было жизненной установкой трудолюбивой женщины.

У нее было обширное знакомство. Переезжая на жительство в Москву или в Ленинград, приятельницы не забывали о Варваре Михайловне и посылали по почте то, что было редкостью в магазинах провинции. Принимая гостей, хозяйка могла поставить на стол маринады, закуски, пироги, горячие кушанья, приготовленные с таким искусством, которому могли бы позавидовать известные повара.

Для субботнего вечера Варвара Михайловна решила, кроме разных закусок, приготовить жареных кур и пять пирогов: с рисом и рыбой, с зеленым луком и яйцами, с мясом, с солеными огруцами и сладкий. Дочери отговаривали ее от пирога с огурцами:

— Как-то неудобно, мамочка, раскусит человек, а там, внутри — соленые огурцы...

Мать даже обиделась:

— Неужели я не знаю, что нравится людям? Сколько раз за свою жизнь я делала такие пироги и всегда их съедали скорее и охотнее, чем мясные пирожки или пончики с вареньем. А сами зачем набрасываетесь на эти пироги?

— Да мы то знаем, что они очень вкусные.

— Пусть и гости узнают.

Тесто нужно было затевать разных сортов: для одних пирогов с большим количеством сахара, для других слегка подсахаренное, а для третьих совсем без сахара. Искусство — печь в духовке пироги постигается только опытом. Надо знать, сколько и каких дров подкладывать в плиту во время печенья, надо заглядывать то и дело в духовку, чтобы не получилось так, что один конец пирога уже сгорел, а другой еще совсем сырой. Не легкая задача — сохранить пироги теплыми к приходу гостей. Для этого приходится завертывать их в бумагу, в одеяла, накрывать зимними шубами. При этом все это надо делать так, чтобы не помять их, не поломать, не смахнуть с них толченые, подрумянившиеся в духовке сухари. Пироги с огурцами и сладкие были удобны в том отношении, что подавались на стол холодными.

Долгое бодрствование матери накануне вечеринок и раннее вставание в такие дни всегда удивляло дочерей.

— Мамочка, ты свалишься с ног! Неужели для тебя короток летний день? Мы же будем помогать тебе.

— Всю жизнь не сижу без дела и пока, слава Богу, не свалилась. С души меня воротит, когда приходят гости, а хозяйка только начинает раскачиваться, только тесто из квашни вынимает.

Фарш для пирогов Варварой Михайловной заготовлялся накануне, чтобы утром, когда еще спят дочери, не стучать тяпкой и не тревожить их сон.

Аня проснулась, как только в спальню проник из кухни специфический запах раскаленной плиты.

— Мамочка, тебе помочь?

— Не нужно никакой помощи, иди и спи. Ты сегодня — виновница торжества и должна отдыхать.

— Я не привыкла к этому и привыкать не стоит.

— Поедешь, мамочка, со мной?

— А дом то на кого бросим? Сад? Огород?

— Да, жалко оставлять все это.

— Ведь ты говорила, что тебя при институте ассистентом оставят.

— Мне хочется, мамочка, живого дела.

— Тебе виднее. Другие за счастье бы почли — остаться при институте, а ты...

Мать смахнула слезинку с глаз:

— Правду говорит Юрий Трофимыч: ты какая-то неземная.

— Ты согласна с ним?

— Да как же? От добра добра не ищут.

— Милая мамочка, если только немножко поступиться совестью, то можно захватить в свои руки столько добра, что на всю бы жизнь хватило.

Она сказала это особенным тоном. Мать не поняла ее, но сердцем почувствовала, что намеки дочери касаются Юрия Трофимыча.

— Он кажется письмо тебе прислал? Что пишет?

— Предлагает свою любовь.

— Да ну?.. Ой, Аничка, а человек-то какой приятный да ласковый... Мне с первого взгляда понравился.

— Мамочка, тебе же известно, что он женат, у него двое детей.

— Это-то верно... А кабы не женатый был, лучше бы и человека не найти. А сейчас не разводиться же ему... А уж как глядит-то он на тебя: без слов все понятно: «Выходи за меня да и только»...

— Счастье на чужой беде это — дом на песке.

— Что верно, то верно... Но уж больно человек-то он хороший.

— Вот и не надо его портить. Ведь он был хорошим и для жены. А если уйдет от нее, то уже не может остаться таким же замечательным: на его совести будет пятно... Ты, мамочка, вечером не заводи никаких разговоров об этом, как будто ничего не знаешь.

— Что я — глупенькая что ли? Могу сообразить, какой разговор с человеком вести.

Ароматы из кухни Варвары Михайловны заполнили сад и всю улицу. Прохожие останавливались на мгно-

вение возле домика, где готовилось обильное угощение и думали: «Вероятно, свадьба или крестины»

Проснувшаяся Нина помогла сбивать клюквенный мусс. Аня делала бисквитный торт. Главной заботой Варвары Михайловны были пироги. Разрумянившаяся, помолодевшая — она была похожа на старшую дочь и белым высоким лбом и большими синим глазами и темными, положенными вокруг головы косами, в которых в отличие от дочери, блестело серебро седины.

В белом переднике, с засученными рукавами бледно-голубой кофточки, она все делала проворно, аккуратно, с каким-то артистическим изяществом.

Гостей было приглашено немного: братья Разговоровы, те две пары, с которыми прокатились вместе на лодке после выпускного вечера, сестра покойного мужа, одна из подруг Нины и старый врач Киснемский, когда-то плававший на торговом пароходе вместе с Романом Костровым.

— Всего с нами будет двенадцать человек. Слава Богу, что не чертова дюжина, — сказала Нина и тут же добавила:

— Хотя, по правде говоря, я не боюсь этого числа.

Помолчав, она добавила:

— А вдруг кто-нибудь припрется?

— Это будет плохая примета.

— А еще врач! Стыдись.

— Знаю, что нехорошо быть суеверной, но никак не могу избавиться от этого.

— Все это чепуха! Я бы нарочно хотела, чтобы пришел кто-нибудь тринадцатый.

— Неужели ты такая злая?

— Наоборот, очень добрая. Я хочу отучить тебя накануне врачебной практики от глупого суеверия.

ОЖИДАНИЕ ГОСТЕЙ

Где принять гостей — в комнате, на веранде или в беседке? Этот вопрос возник, когда все приготовления к вечеру в кухне были закончены. В беседке было лучше всего: там чище воздух и цветет жасмин. Но гостям после выпивки захочется что-нибудь спеть, а это привлечет к заборам соседей и прохожих. На засте-

кленной веранде хотя уютно, но тесновато. Остается только столовая, примыкающая к веранде. Здесь просторно, есть пианино и можно открыть дверь на веранду.

Как одеться — тоже вопрос большой важности. Отмечается радостный день жизни: окончание института. Много ли таких дней в жизни? Свадьба, рождение, вселение в новый собственный дом, у архитектора — окончание большого строительства, у писателя — выход новой книги, у артиста — успех в новой роли, у эмигранта и путешественника — возвращение на родину.

Трудовых будней не упомнишь да и нужно ли их запоминать? А к знаменательным датам не один раз на жизненном пути будет возвращаться память. И все она тогда нарисует: и какие гости были, и что подавалось на стол и в каком наряде были виновник или виновница торжества и как это платье было сшито.

Нина советовала Ане надеть то самое белое, шелковое, в каком она выступала на концерте в институте. Но у Ани была слабость: она любила одеться, любила менять платья и никогда не носила неделями одно и то же. Года два тому назад мать подарила ей ко дню рождения отрез на платье — креп жоржет бледно сиреневого цвета. Два года он лежал не шитым. Месяц тому назад его отдали портнихе. Хотя Варвара Михайловна и сама шила не плохо, но такой материал боялась «испортить». Портниха, как и все особы ее профессии, не сдержала обещания: к выпускному вечеру платье было неготово. Аня умоляла ее — не подвести второй раз и сшить к семейной вечеринке. Она каждый день бегала к мастерице с повторными просьбами, а после обеда в субботу принесла платье. Сестра и мать попросили Аню примерить обновку.

— Чудно, — сказали они, — в таком платье ты могла бы танцевать на большом балу и все бы тебя признали царицей бала. Хорошо, что платье без оборочек на груди, хотя они и очень модны сейчас. Оборочки слишком бы солиднили твою фигуру, — говорила Нина.

Платье было с корсажем, на кофточке спереди было по две складки с обеих сторон, воротник задрапи-

рован белым газом, пышная юбка полуклеш — спадала легкими красивыми складками.

— Как просто, но как красиво, — восторгалась мать, — мне бы так вовеки не сшить.

Аня была довольна и платьем и тем, что оно понравилось матери и сестре.

— А я надену пестрое крепдешиновое, в котором похожа на японку.

— Японку с белыми волосами? это уже сверхоригинальность, — улыбнулась Аня.

— Девочки, давайте приготовим стол, — забеспокоилась мать, — а то не успеем оглянуться, как начнут собираться гости. Аничка, пока переоденься, а то, неровен час, испортишь свою обновку во время сервировки стола.

Складной стол был расставлен и накрыт белой накрахмаленной скатертью. Приборы и бокалы были разложены на двенадцать персон. Два букета цветов украшали стол. Водку, вино и шампанское до прихода гостей держали в погребе, на льду.

Когда все было готово, Аня снова надела платье, попудрилась, побрызгала духами «Фреска» волосы и вышла в сад. Цветы на клумбах благоухали. «Он просил к груди приколоть цветок — в знак согласия... Нет, никакого цветка на приколю... Пусть это причинит ему боль, но когда-нибудь он поблагодарит меня за эту боль».

— Аничка, где будем встречать гостей — на крылечке или в саду? — выбежав из дому, спросила Нина.

— По моему лучше всего в доме.

Нина приколола пион к своему пестрому яркому платью. «Он пожалеет, что с цветком сестра, а не я». — подумала Аня. Принарядившаяся Варвара Михайловна вышла к дочерям.

— Мамочка, тебе очень идет это синее маркизетовое платье. Белый воротничок делает тебя моложе лет на десять, — обняв мать, заулыбалась Нина, — издали тебя даже можно спутать с Аней.

— Ах, ты лиса-негодница, — ласково пригрозила пальцем мать, — и скажет тоже: старый гриб с цветком сравнила.

— Не прибедняйся, мамочка. Ой, кажется, кто-то идет.

Все трое побежали на крылечко. Пришли братья Разговоровы. Профессор был в чесучевом костюме.

— Мы кажется раньше всех, — засмеялся он, — здравствуйте, Варвара Михайловна, поздравляю вас. Здравствуйте, солнышко. Здравствуйте, белоголовая девочка.

Мать и дочери пожимали руку профессору, как родному близкому человеку. Юрий Трофимыч, увидев Аню без цветка на груди, сразу как-то поблек и не знал, что сказать.

Сестры повели гостей в сад. Мать, извинившись, осталась в комнате — встретить остальных гостей.

Профессор восхищался садиком Костровых.

— Вам нельзя никуда уезжать из этой сказки, сделаю все от меня зависящее, чтобы оставить вас при институте.

— Вы ли это говорите, Александр Трофимыч? — воскликнула Аня, — работать и жить дома — это, конечно, идеал, о котором в наше время мечтают очень многие, но я... По правде говоря, моя совесть будет неспокойна.

— Она у нас неисправимая идеалистка, — безнадежно махнула рукою Нина, — разве можно теперь быть идеалистом?

— Должно, — сказал профессор, — не бытие определяет сознание, как утверждает ваш кавалер, а сознание должно определять бытие. Если восторжествует материализм Ефима и подобных ему, на земле воцарится зверь и все человечское будет задушено.

— Но ведь об этом нельзя говорить при всех, — испугалась Нина.

— Я говорю это не при всех.

— За забором могут услышать.

— А мы отойдем от забора и будем говорить потише. У вас сегодня будет много гостей? — обратился он к Ане.

— Человек девять.

— Ну, слава Богу, это не так много. Вы сегодня, Аня, интереснее, чем всегда.

— Не смущайте ее, Александр Трофимыч: когда

ее хвалят, она опускает крылышки, — пошутила сестра. Почему вы такой грустный? — обратилась она к Юрию Трофимычу.

— Я? Нет, это вам показалось, — встрепенулся он.

— Сегодня все должны быть веселыми, жизнерадостными, остроумными. Скука и меланхолия сегодня запрещаются, а все скучающие строго наказываются. Кажется, кто-то пришел, — вскрикнула она и побежала в дом.

— Пойду Варвару Михайловну проведать, — сказал профессор, чтобы дать возможность брату объясниться с Аней.

Оставшись вдвоем, они молча прошлись по дорожкам, посыпанным песком.

— Вы без цветка...

Эти слова были произнесены с тихой грустью.

— Так надо, Юрий Трофимыч. Без конца я читала и перечитывала Ваше письмо. Я обливала его слезами, но... «Ничто не изменит моего решения», — сказала я себе. Вам тяжело, я это знаю. Но также тяжело и больно бывает человеку, когда ему делают операцию без наркоза. А потом, спустя некоторое время, когда раны заживут, человек благодарит врачей и судьбу, а если верующий, то Бога за то, что все обошлось благополучно. Когда-нибудь и вы будете благодарить меня.

— Но мы можем остаться друзьями. Неужели и в этом вы откажете мне?

— Друзьями? Да, конечно.

— Спасибо, я боялся, что откажете.

— Вы не сделали мне ничего плохого. Я буду вспоминать вас, куда бы ни забросила меня судьба.

— Боже мой... Ведь все бы могло быть иначе...

Нина прибежала за ними. Все гости уже собрались. Когда Аня вошла в комнату, все окружили ее, поздравляя и восхищаясь ее цветущим видом. Старенькая тетя Феня даже всплакнула:

— Как бы счастлив был брат Роман... Не дожил, бедняжка, до такой радости... Брошен морским рыбам на съедение...

Врач Апполинарий Владиславович припомнил последние слова умирающего.

Все о дочках вспоминал: «Сумеет ли Варя до-

вести их до дела? Трудно будет ей, бедняжке». А они вон какие красавицы да умницы выросли, — сказал он, показывая на Аню и Нину. — Теперь только остается женихов красивых найти и делу конец.

— Насчет этого, Апполинарий Владиславович, не беспокойтесь, маху не дадим, — рассмеялась Нина.

— Славная эта девочка, — подумал профессор, — хотя и не без странностей, но все они как-то органически вытекают из ее существа. Честная, прямолинейная натура.

Стали рассаживаться.

— Батюшки мои, а про вино-то и забыли! — вскрикнула Варвара Михайловна.

Мужчины на мгновение замерли, подумав, что за ужином не будет выпивки.

— Отнесли на лед в погреб, — пояснила хозяйка и тогда врач Киснемский сказал:

— Уф... слава Богу.

Нина побежала в погреб. Однокурсники Ани — Вася и Петя решили помочь ей, боясь, что она может что-то уронить и разбить. Когда они внесли в столовую корзину со всевозможными напитками, профессор, улыбаясь, сказал:

— Варвара Михайловна, вы хотите, чтобы мы полегли трупами!

На всех банкетах мира бывают вина и закуски. Но не всегда на этих многолюдных сборищах искрится веселье и струится душевное тепло. Иногда водки выпивается море и все-таки гости сидят, как истуканы или валятся полуживыми под стулья и столы. Не количеством выпитого измеряется жизнерадостность. Радушие, очаровательность хозяев и обаяние хотя бы одного из гостей спасают положение. На больших банкетах всегда скучно, потому что слишком разны люди и чем их больше, тем меньше точек для соприкосновения. Когда собирается слишком много гостей, тогда они напоминают бушующее море, а каждая парочка — заброшенный островок в этой стихии. Чем меньше людей, тем больше возможностей для сближения.

На вечере у Костровых все тянулись взорами и сердцами к профессору Александру Трофимычу. И когда бокалы были наполнены вином, он понял, что от

него ждут слова. Он встал, оперся ладонями о стол, подался грудью вперед, взглянул направо и налево и негромко, но раздельно сказал:

— Дорогие друзья!

После этого он сделал короткую паузу, словно стараясь припомнить что-то очень важное и продолжал:

— У французского поэта Шарля Бодлера есть стихотворение в прозе под названием: «Опьяняйтесь». Я очень жалею, что не помню этого шедевра наизусть, но его идея заключается в том, что нужно быть всегда опьяненным — любовью, искусством, наукой, природой, трудом, добрыми делами, молитвой. Всюду на жизненном пути нас подстерегает коварный случай. От рождения до могилы проза жизни расставляет липкие сети для уловления и задушения наших кратковременных радостей. Чтобы не замечать всего этого, нужно быть всегда опьяненным.

Жизнь нужно сделать интересной, осмысленной, а это возможно только в том случае, если все, к чему будут прикасаться наши руки, над чем будет задумываться наша голова, будет согрето огнем нашего сердца. Не быть машиной, автоматом, манекеном — не быть холодным, равнодушным исполнителем чужих заданий — вот какую заповедь я даю молодежи. Трудясь, творите ищите, горите. Не бойтесь сгореть. Творчество — неопалимая купина. Объятая пламенем творчества душа. горит, не сгорая. Не бойтесь исчерпать себя добрыми делами. Чем больше берут воду из колодца, тем чище и прозрачнее в нем вода. Чем больше добра исходит из недр души, тем она божественнее и лучезарнее.

Выпьем за постоянное опьянение творчеством, за лучезарность молодежи и за солнышко нашего сегодняшнего пира — Анну Романовну или просто Аню.

Все долго аплодировали. Потом зазвенели бокалы Непьющих не было. И сразу радостью забились сердца Каждому хотелось обнимать своих соседей и говорить им: «Вы хорошие люди, мне приятно находиться в вашем обществе». Слышались непринужденные шутки. закусывая, говорили комплименты Варваре Михайловне за ее чудеса в кулинарии и необыкновенный пирог с солеными огурцами. Она посмотрела на дочерей, взглядом спросила:

— Слышите? А вы отговаривали меня, боялись, что я осрамлюсь.

— Друзья, это что же такое? Выпили по бокалу и на том успокоились? — спросил с укором врач Кисемский — старый человек высокого роста, с постоянной иронической улыбкой на губах и с серыми жесткими волосами, подстриженными ежиком.

— Да, да, не умеют пить, — согласился профессор.

— Не умеем? А ну-ка, товарищи, не ударим в грязь лицом! — крикнул однокурсник Ани — Вася, румяный парень, с белой, как лен, шевелюрой.

— А за что будем пить? — спросила Нина.

— За то, чтобы все девушки вышли как можно скорее замуж, а парни поженились, — ответил другой однокурсник Ани — жизнерадостный брюнет Петя.

—Не плохое пожелание, только не так-то легко вас оженить, — заметила Нина.

— Побольше настойчивости со стороны девушек — и все будет так, как они захотят, — засмеялся Вася.

Выпили еще по бокалу. Варвара Михайловна следила за тем, чтобы не пустовали тарелки. Юрий Трофимыч ел и пил молча, не спуская глаз с Ани. Ему хотелось поскорее залить тоску вином и он предложил выпить за чуткость и внимание к человеку, ко всякому человеку, и, в особенности, к тому, кто отдает нам частицу своей души.

— Как-то я был по делам в Твери, — сказал он. — Вечером пошел в кино. В фойе играл оркестр. Играл не плохо. Публика, ожидавшая сеанса, грызла семечки, не обращая никакого внимания на музыкантов. Они исполняли Чайковского, Бетховена, Листа, Римского-Корсакова. Ни одним хлопком не вознаграждала их публика. «Зачем аплодировать, если это их обязанность?» — вероятно думала толпа мещан. Тогда я демонстративно после «Музыкального момента» Шуберта зааплодировал — громко, вызывающе. На меня посмотрели, как на человека с иной планеты. Весь оркестр поднялся и раскланялся передо мной. Потом был исполнен вальс Штрауса: «Голубой Дунай». И чтобы вы думали? Вместе со мной теперь уже аплодировали все, которые до этого казались черствыми, тугоухими, невоспитанными.

Дирижер оркестра спустился с помоста и пожал мне руку.

— Спасибо за внимание и за урок, — тихо сказал он. Впервые за много лет в этом фойе звучат аплодисменты. Здесь они были не приняты.

Он сделал ударение на последнем слове. Итак, выпьем за внимание к людям — близким и далеким, к своим и незнакомым.

— Зарубите на носу, молодые люди, — сказали девушки своим кавалерам.

— Мы всегда внимателны к вам.

Потом пили за хозяйку, за профессора и за каждого из гостей. Когда были поданы жареные цыплята, каждый почувствовал себя парящим в эфире. Но это не портило аппетита.

К Юрию Трофимычу обратились с просьбой — рассказать о загранице. Он стал рассказывать о Швейцарии, Италии, Германии. Он дал всем понять, что это — иные миры, несравнимые с нашей страной. На маленьких клочках земли люди умудряются создавать такой уют и комфорт жизни, который русскому человеку, привыкшему к необъятным просторам, даже и не снился.

Путешествуя по загранице, испытываешь мучительную обиду за свою родину — такую огромную и обильную и в то же время такую бедную и неустроенную, за свой народ — такой высоко одаренный и в то же время такой невзыскательно терпеливый.

Архитектура там, в противуположность нашей, не тонет в штукатурке, которую нужно подновлять к 1 мая и 7 ноября. Города там озеленяются, а площади и широкие магистрали не превращаются в асфальтовые пустыни, как делается у нас.

— Подумаешь, нашел чем восторгаться! Фашисты так фашистами и останутся, — раздался впервые за вечер голос тринадцатого, который проходя мимо дома Костровых и услышав веселые возгласы, решил воспользоваться незапертой парадной дверью.

Это был Ефим Шаталов — секретатрь студенческой партийной организации.

— Чувствовало мое сердце, что он припрется, — шепнула Нина сестре.

— Радуйся, твое желание исполнилось: ты ведь хотела отучить меня от суеверия.

— Я шутила. Неужели ты думаешь, что мне приятен этот упрямый, самовлюбленный субъект?

Юрий Трофимыч прекратил рассказ об Италии. Поднявшись со стула, он крикнул незванному гостю, стоявшему у двери:

— Вы знаете о фашизме только из газетных передовиц.

— Да, к фашистской печати я не имею никакого касательства.

— Так же, как и к серьезному желанию — изучить сущность большой политической системы.

—У нас хватает дела для изучения своей системы.

— Да, конечно — давать советы о бдительности — это ведь необходимо и тому, кто советует и тем, кому советуют.

— А как бы вы думали?

— Как я думаю? Нужно не болтать, а работать.

Профессор дергал брата за рукав. Аня уговаривала Нину — увести Ефима в сад и там объясниться с ним, попросив — не доводить до некоторых организаций ссоры партийца с Юрием Трофимычем.

— Я хочу сказать вам несколько слов, — шепнула Нина Ефиму, беря его под руку.

РАЗГОВОР В САДУ

Он знал, что эти «недорезанные буржуи» не хотят иметь с ним никакого дела, что Нина просто благородно выпроваживает его из дому, но то, что она взяла его под руку, что он ощущает тепло этой девушки, утихомирило его злобу и он покорно, как дрессированный пес, шел туда, куда его вели.

— Посидим немножко в беседке, — сказала она.

— Даже в беседке? На чем это зарубить?

— Конечно, на носу.

— Я готов изрубить себя на мелкие куски, чтоб только вы посидели со мной подольше.

— Но я ушла от гостей.

— Там и без нас много народу.

— Приготовьтесь, молодой человек к экзекуции.

— От вас мне не страшна даже казнь.

— Какой благородный рыцарь! — засмеялась Нина.

— Смейтесь... смейтесь!

— Как вы посмели, Ефим Ростиславович, вломиться в дом без приглашения?

— Мы к этим тонкостям не приучены.

— Как вы смеете с таким презрением относиться к высоко-интеллигентным людям?

— Как аукнется, так и откликнется: они меня презирают, за что же я буду их любить?

— Поймите, что вас не любят за вашу навязчивость. Если бы вы получше наблюдали за собой, вы бы убедились, как из всех пор вашего существа прет бестактность, нахрапистость, неотесанность.

— Вы еще слишком молоды, чтобы давать мне такую характеристику.

—Вы, кажется, обиделись?

— А вы думаете, что меня можно третировать до бесконечности? Я прежде всего — член партии и всякое недоброжелательство ко мне воспринимаю, как контрреволюцию.

— Ах, какой сознательный партиец! Было бы гораздо лучше, если б вы не подчеркивали на каждом шагу своей значимости. Неужели вы не чувствуете, что это противно? От вас все шарахаются, как от чумы. У вас нет не только друзей, но даже искренних приятелей.

— Лучший мой друг — партия. Интересы партии — маяки, которые помогают мне направлять корабль своей воли в такие места, где бы он не наскочил на подводные камни.

— Как выскопарно, как напыщенно, какая глупая декламация! Однако же интересы партии не мешают вам заглядываться на девушек, которым вы не даете проходу.

— Одно не мешает другому. Партия не поощряет аскетизма. Но когда внешность не внушает симпатий, очень трудно завоевать доверие девушки. Никто еще до сих пор не был со мной так откровенен, как вы. За это я и полюбил вас.

Нина звонко расхохоталась.

— Что? Что? Ах, вы, шут гороховый!

— Ниночка!

— Не смейте фамильярничать!

Он подвинулся к ней.

— Отодвиньтесь.

Но вместо того, чтобы выполнить ее приказание, он обнял Нину и крепко поцеловал в губы. В тишине раздался звук пощечины.

— Ах, ты мерзкое чудовище! Вон сию же минуту из нашего сада!

— А вот на зло не уйду.

— Я позову всех гостей... тебя свяжут и выбросят за забор.

— Пусть попробуют.

— Думаете — не справятся?

— Уверен в этом.

— Бахвалитесь оружием?

— Его я пущу в ход только в крайнем случае.

Он вздохнул и вышел из беседки.

— Смотрите — всходит луна. Обстановка только для влюбленных. Ну, ничего, рано или поздно ты будешь моей.

— Самоуверенный нахал!

— Твоя брань для меня слаще музыки.

— Нина, где ты запропала? — послышался голос матери, — иди скорее, заждались тебя.

— Сейчас.

— Итак, вы не приглашаете меня в дом?

— Незванный гость хуже татарина.

— Ну, хорошо... Будет когда-нибудь и на нашей улице праздник! До свидания, Нина Романовна.

— Прощайте, Ефим Ростиславович, — насмешливо крикнула Нина.

Он направился к выходу. Она пошла за ним на некотором расстоянии. У калитки он остановился.

— Предлагаю мировую.

— Убирайтесь к черту!

— Помните пословицу: «Худой мир — лучше доброй ссоры».

— Не пугайте, я не робкого десятка.

Он хлопнул калиткой и зашагал тротуаром по направлению к Днепру.

БИОГРАФИЯ ЕФИМА ШАТАЛОВА

Где мое место в эту минуту? Что кроется в основе их неприязни ко мне — моя ли неотесанность и нахрапистость, как говорит Нина, или то, что они и я — два разных полюса? Всеми фибрами души они ненавидят советскую власть. Меня же эта власть вспоила, вскормила, выпестовала. Трагическая смерть отца направила меня в лагерь борцов за великое дело коммунизма. Бедный мой отец — жертва оголтелой реакции!

Привыкший на митингах, собраниях, заседаниях, конференциях и комиссиях к партийной терминологии, к наигранной декламации коммунистического оратора, он не чувствовал фальши и тошнотворности в звонких фразах о социализме, коммунизме и классовой борьбе. Как завзятый оратор, он готовился к своим выступлениям перед зеркалом, он записывал в блок-нот удачные с его точки зрения словечки, образы и аналогии. Актерство низкого пошиба въелось в его плоть и кровь. Он не был самим собой, даже оставаясь в одиночестве, даже в моменты тяжелых душевных переживаний.

— О, если мне когда-нибудь суждено подняться по партийной лестнице до самой верхней ступеньки, я покажу этим отбросам человечества, как может сын мстить за отца!.. Несчастный отец! За что они растерзали тебя на куски? Ты был всем сердцем предан великой идее — создания счастья для трудящихся во всем мире. Твоими учителями были Карл Маркс и Ленин, а деревенская чернь искромсала тебя... Помню этот страшный вечер, когда тебя привезли домой даже не трупом, а бесформенным огромным сгустком крови...

Ефим стоял у той самой лодочной пристани, откуда несколько дней тому назад вместе с окончившими институт и Ниной Костровой он спешил вдогонку за Аней и ее компанией. Неужели прошло всего лишь пять дней? Почему же для него время тянется так мучительно медленно? Муки неудовлетворенности превращают каждую минуту в вечность.

— Разговорову повезло: с налету подстрелил дичь!.. А меня гонят вон...

Он вошел в лодку, прикрепленную железной це-

пью к причалу и сел на корму, обхватив голову руками. Что делать? Каким образом решить трудную задачу? Как завоевать расположение девушки, образ которой лишил его покоя? О, сколько их было у него! Как легко он одерживал победы. А эта жалит, как змея.

— Почему я неотступно думаю о ней? Неужели свет сошелся клином? В нашем городе тысячи девушек — более интересных, чем эта грубиянка... Но есть в ней что-то такое, чего нет у других. Что же это? Чувство собственного достоинства, прямота, искренность, неустрашимость. Она послала меня к черту, она унижает меня. Почему же я прощаю ей все резкости? Потому что люблю ее... Она должна быть моей!..

Свежий ветер с реки освежил его, привел мысли в порядок и он почувствовал угрызение совести.

— Об этом ли я должен думать в эту минуту? Почему ее родные и друзья выставили меня из дому?

Сейчас, когда он, окутанный сумраком ночи, сидел на корме лодки, обхватив голову руками, прошлое предстало перед ним, как страшный кинофильм. Вот первые кадры этого фильма.

Они — отец, мать и он — на Украине, в местечке К. Отец — управляющий в богатом имении — хорошая квартира, полная обеспеченность, доверие помещика, уважение окружающих. Но вот свергнут царский режим. Вскоре на Украине заваривается такая каша, которую удается расхлебать только в 1921 году. Ефиму в это время девять лет. Мать и отец зовут его «Фимочкой». Он прекрасно помнит, как однажды вечером, вернувшись с собрании, отец весело сказал: «Ну, Зина и сыночек, поздравьте меня: я — член партии».

— А не будет ли хуже? — усомнилась жена.

— Будет в тысячу раз лучше! — самоувенно крикнул новоявленный партиец.

На другой день сын поспешил похвастаться всем соседским ребятишкам:

— Мой отец — член партии!

И сразу почувствовал, что сверстники и товарищи по играм как-то настороженно притихли.

— Это очень хорошо, — подумал Ефим, — теперь не будут лезть с кулаками.

Так оно и вышло: сына партийца никто больше не задирал, но и дружбы с ним не искали. Думая задавать всем тон, теперь он остался в одиночестве и не раз жаловался матери:

— Почему они не хотят со мной играть?

— И охота тебе путаться с неумытыми? — утешала сына мать.

За преданность партии отца назначили начальником ЧК большого района. Часто он не возвращался домой по два, по три дня.

Они переехали на новую квартиру — в шесть комнат, с коврами, дорогими картинами, с ванной и телефоном.

Теперь отец часто выезжал в деревни — «выкачивать хлеб у кулаков», — как он объяснял жене и сыну. Каждая поездка была успешной. Ссыпные пункты пополнялись крестьянским зерном, а кладовые Ростислава Тихоновича Шаталова — окороками, салом, гусями, утками.

Одна деревня, километрах в пятнадцати от К., куда для «выкачки» ездил помощник начальника ЧК, не хотела давать большевикам ни фунта зерна. Тогда к строптивым куркулям поехал сам начальник. Он приказал созвать сход. Крестьяне собрались неохотно. Чекист стал всех убеждать, что хлеб нужен для штаба мировой революции — Красной Москвы.

— А это нам ни к чему: деды и прадеды жили без мировой революции, проживем и мы, — отвечали смельчаки.

— Это ваше последнее слово? — спросил Ростислав Тихонович.

— Последнее, — хором ответил народ.

Тогда он побежал в помещение исполкома. Люди за ним. Он взял телефонную трубку, хотел что-то сказать. Но на него навалилось пять или шесть силачей:

— Жаловаться хочешь, сволочь? Войско вызывать?

— Прочь, гады, перестреляю всех, как бешеных собак! — пригрозил он, отбиваясь от насевших.

— Чем? — с насмешкой спросили у него, показав ему его же револьвер.

— Поплатитесь за контрреволюцию, мерзавцы!

Тогда ударами кулаков его сбили на пол и начали топтать.

— Сюда волоките! — шумел народ, толпившийся возле исполкома.

Его вытащили за ноги. Он еще барахтался, хрипел, задыхался. Мужики и бабы, старики и молодые протискивались к партийцу, чтобы ударить его кулаком или пихнуть ногой.

Мимо ехал врач.

— Михаил Петрович, — позвали мужики, — освидетельствуй — совсем мы прикончили волка или притворяется мертвым?

Врач подошел к растерзанному и сказал:

— Я так не могу: надо положить на солому и смыть кровь водой.

— Не заслужил он воды и соломы, — кричали со всех сторон, но все-таки принесли и то и другое. Через некоторое время врач громко сказал:

— Дышит...

— Живучий дьявол, — раздавались голоса. Главные бородачи поволокли чекиста на середину площади. Набатом в пожарный колокол все население местечка было созвано на сход. Прибежали старые и малые. Собравшимся предложили выстроиться в два ряда по обеим сторонам чекиста.

— Вот что, братцы, — сказал громким голосом здоровенный детина, — этот зверюга не давал жизни никому, значит и сгинуть должен ото всех... Подходите поочереди и прикладывайтесь, кто чем хочет...

Для примера он наступил на шею Ростислава Тихоновича и, харкнув, крикнул:

— У, сволочная мерзятина!..

После него подходили старики и старухи, мальчишки и девочки, парни и девки. Кто плевал, кто совал ногой, кто стукал палкой. Это была круговая порука: если приедет начальство и будет дознаваться: «Кто бил?» можно будет ответить: «Все били». А всех не расстреляют.

На всю жизнь запал в душу сына рассказ очевидца о гибели отца. Тогда он поклялся девятилетним сердцем

— Вырасту большой, вступлю в партию и перестреляю всех без разбора.

За самосуд над чекистом было расстреляно двенадцать человек и больше тридцати брошено в тюрьмы и дальние ссылки. Семье пострадавшего была назначена пожизненная пенсия. После этого сверстники Ефима сторонились его больше прежнего. Но теперь он не жалел об этом.

— Пусть не подходят, все равно расстреляю, когда вырасту.

Время шло. Душевная рана затягивалась, но ненависть к крестьянам не угасала. Жажда мести была такой же неутоленной, как в тот вечер, когда услышал рассказ о самосуде.

Летом 1929 года началось раскулачивание. Комсомолец Ефим Шаталов изъявил желание поехать на эту работу туда, где был убит отец. По его настоянию в кулацкий список была включена чуть не половина жителей поселка. Кто-то узнал, что безусый мальчишка — сын того самого чекиста, из-за которого пострадало так много людей. Ненависть охватила крестьян:

— Да когда же мы избавимся от этой пакости? Прикончили змею, но остался змееныш... Этот жалит еще больнее... Надо вытрясти из него душу!

Вооруженная чем попало толпа окружила исполком.

— Запереть все двери! — истерически закричал Ефим. Он так же, как отец, бросился к телефону, чтобы вызвать немедленное подкрепление. Сыну повезло больше, чем отцу. В мятежный поселок прискакал конный отряд. Начались аресты и расправы с рукоприкладством. Кулацкий список был утвержден высшей инстанцией. Ефим избежал самосуда. Но кто-то ему сказал, что рано или поздно его все же убьют. Он посоветовался с горкомом партии, как обезопасить себя.

— Удирай отсюда куда-нибудь подальше.

В Смоленск его надоумила поехать мать: здесь живет ее двоюродная сестра, муж которой вот уже несколько лет занимает пост директора универмага. У богатой тетки и обосновался племянник. По окончании десятилетки он решил поступить в медицинской институт. Приемная комиссия отдавала предпочтение партийным, а Ефим Шаталов был членом партии с 1931 года.

Уже на втором курсе он был назначен секретарем студенческой партийной организации. Это мешало академической успеваемости. Товарищи, поступившие с ним вместе, вот уже окончили его, а он только перешел на четвертый курс.

— Что же я сижу, как балда, в этой лодке?—вдруг спохватился он. — Надо на что-то решиться. Когда это сделать — теперь или позже? Но сделать это нужно во что бы ни стало.

Он вышел из лодки и побрел к парку культуры и отдыха, откуда доносилась музыка.

ТЕЛЕГРАММА

Когда Нина, выпроводив Ефима, возвращалась в дом, оттуда послышались звуки фортепиано, а потом голос Ани. Она пела:

Не брани меня родная,
Что я так люблю его,
Скучно, грустно, дорогая,
Жить одной мне без него.

Нина осторожно вошла в комнату. Профессор аккомпанировал. Юрий Трофимыч сидел рядом с фортепиано, закрыв глаза левой рукой.

— Он влюблен в нее, — перешептывались подруги Ани.

Я не знаю, что такое
Вдуг случилося со мной?
Что так бъется ретивое?...
Потеряла я покой...

Кто-то настойчиво постучал в калитку. Все вздрогнули. Аня перестала петь.

— Возмутительно... уверена, что он! Сейчас пойду и набью ему морду! — закричала Нина.

— Ниночка, что за выражение? — смутилась мать.

Одну Нину побоялись отпустить. Вместе с нею в сени вышли Вася и Петя.

— Юрий Трофимыч здесь? — спрашивал женский старческий голос, — с полчаса стучу.

Нина открыла дверь.

— Зачем вам нужен Юрий Трофимыч?

— Телеграмма ему... молния...

Аня провела женщину в столовую.

— Игнатьевна, что случилось? — испуганно спросил профессор.

Она подала телеграмму.

— Стучала, стучала... сначала тихонько — никто не слышит, — оправдывалась Игнатьевна, — уж простите, коль помешала веселью. Хотела подождать, когда Юрий Трофимыч вернется из гостей, а курьер говорит: «Ищи, со дна моря доставай — телеграмма не простая, а молния».

Старушку усадили за стол, ей предложили выпить и закусить. Юрий Трофимыч стоял у края стола и держал раскрытую телеграмму, словно не понимая ее содержания. Все выжидательно смотрели на него. Аня подошла к нему и взглядом спросила:

— Что случилось?

— У сына дифтерит... Нужно немедленно возвращаться домой.

— Кто знает расписание поездов? — спросила Аня и взглянула на стенные часы.

— Скорый на Ленинград уже ушел. В семь утра будет почтовый, — сказал доктор Киснемский.

Юрий Трофимыч тяжело вздохнул.

— Пойти уложить вещи.

— Какая я несчастливая, — заплакала Аня, — в такой вечер и такие неприятности: сначала вломился Ефим, потом эта телеграмма... Даже не удалось до конца допеть песню...

— Мое отсутствие не помешает вам продолжать веселье... Пойте, танцуйте, рассказывайте анекдоты...

— В то время, когда ваш сын может быть умирает, — с укором сказала Аня.

— А сколько людей умирает на земном шаре ежеминутно и ежесекундно... И даже вот теперь, в нашем городе, кто-нибудь томится в предсмертных муках. Но это не мешает другим людям — петь, любить, смеяться.

— Ваши потрясения не безразличны для нас, — сказала Аня.

Он стал прощаться, профессор тоже. Глядя на них, поднялись со своих мест и все остальные.

— Куда же вы-то? Ну, Юрию Трофимычу нужно ехать, а вам-то куда спешить? — спрашивала Варвара

Михайловна, подавая руку гостям. Но все чувствовали, что остаться в доме после ухода самых дорогих гостей — было бы большой бестактностью.

— Когда выздоровеет его сын, мы наверстаем то, что не удалось довести до конца сегодня, — сказал уходя профессор.

Нина и Аня пошли проводить гостей до угла квартала.

— Даже и потанцевать не пришлось, — чуть не плача, горевала Нина.

Когда дошли до аптеки, Юрия Трофимыча осенила мысль — позвонить по автомату на аэродром. Игнатьевна, обе сестры и профессор дожидались поодаль, когда он разговаривал по телефону в автоматной будке.

— В шесть утра самолет на Ленинград. В девять уже буду дома.

Ане хотелось проводить Юрия Трофимыча на аэродром, но она стеснялась сказать об этом при профессоре.

— Желаю вам избежать потрясений, — сказала она, крепко пожимая руку опечаленному другу.

— Ваше искреннее пожелание сотворит чудо: мой мальчик будет жить.

Профессор, прощаясь, попросил передать поклон и глубокую благодарность Варваре Михайловне.

— А вы, деточка, не расстраивайтесь, что вечер закончился немного раньше и вам не удалось потанцевать. Время провели чудно, поговорили по душам, закусили, выпили на славу и если б не телеграмма, совсем было бы хорошо, — сказал он, поглаживая по-отечески обесцвеченные, завитые волосы Нины.

— Как вы завтра поедете на аэродром — машиной или на трамвае? — спросила Аня.

— Постараюсь сегодня же заказать по телефону такси.

— Дорога на аэродром мимо нашего дома. Когда будете проезжать, махните рукой.

— Вы будете еще спать.

— Летом я просыпаюсь с зарей.

Они расстались.

— Ты все-таки был не таким, каким бы я хотел тебя видеть, — сказал профессор. — Твоя раздражи-

тельность против Ефима так не шла тебе. Она снижала тебя до его уровня .

Сестры, возвращаясь домой, подводили итоги вечеру.

— Ты не могла скрыть своей любви к нему. И песню, как нарочно, выбрала такую, что все сразу догадались о твоем чувстве... Но вмешалась судьба и не дала тебе допеть ее. Она не позволит и долюбить тебе до конца Юрия Трофимовича, — говорила Нина.

— Что ж делать? Так надо. Бог не советуется с нами, устраивая наши судьбы.

— А ты попроси Бога — сжалиться над тобой. Ты ведь глубоко верующая, а от таких Бог не отрекается. Вот мне Он не поможет. Я не умею верить в Него. Заходила несколько раз в церковь и ничего не испытывала, кроме скуки. И долго стоять на одном месте не могу. А есть такие, что по пяти часов простаивают, не шелохнувшись. Они могут просить у Бога что угодно — им ни в чем не будет отказа... Да, знаешь новость?

Аня от неожиданности остановилась и с тревогой посмотрела в лицо Нины, освещенное луной.

— Не пугай. Какую?

— Ефим врезался в меня по уши. Поклялся, что рано или поздно я буду принадлежать ему.

— Страшно мне за тебя, Ниночка: ты ходишь по острию ножа.

— Не беспокойся, живой в руки не дамся.

Когда они вернулись, мать выносила посуду из столовой в кухню. Она очень жалела, что телеграмма помешала чаепитию после ужина.

— Бисквит и печенье остались нетронутыми.

— Сами съедим, есть о чем горевать, — утешила старушку младшая дочь.

После того, как посуда была перемыта и комнаты подметены, все трое вышли на веранду — посидеть при лунном свете. Ночь была теплая. Из сада в раскрытые окна вливался аромат цветов и освежал комнаты, пропитавшиеся папиросным дымом. Мать пожурила дочерей за то, что они не предложили Ефиму остаться и не угостили его. Всякого зашедшего в такое время надо попотчевать.

— Даже врага? — воскликнула Нина.

— Угощенье сразу сделает любого супостата мяг-

ким, как воск. В другой раз, девочки, не делайте так. И я то, глупая, обмишурилась: мне бы надо махнуть на вас рукой, а я загляделась на Юрия Трофимыча, когда он всерьез разговаривал с Ефимом и про все забыла. Дай Бог, чтобы все обошлось по хорошему... Вот когда, девочки, я чувствую, что устала.

— Ну, и ложись.

— И то лягу, да и вам не советую глазеть на луну.

МУЗЫКА ДВУХ СЕРДЕЦ

Мать ушла, а дочери остались. Обе, не сговариваясь, думали об одном и том же: как извилиста тропинка человеческого счастья. И хоть люди говорят и в книгах пишут о том, что нужно жить и трудиться для блага ближних, но как приглушить голос сердца? А этот голос властно заявляет: «Хочу счастья не только другим, но и себе... хоть немножечко, чтобы почувствовать его вкус, аромат, тепло и свет».

— Аничка, ты такая хорошая, такая необыкновенная, что заслуживаешь большого-пребольшого счастья. И оно будет у тебя. Я верю в это и хочу этого.

Аня сидела в кресле. Нина села на ручку кресла и обняла сестру.

— Веришь мне, Аничка?

— Верю.

— Так вот: если бы у меня спросили: «Хочешь ли ты отдать свое счастье сестре?» — я бы ответила: «Для сестры я отдам не только счастье, но и жизнь, потому что... моя... сестра...

Она не могла говорить и разрыдалась. Заплакала и Аня.

— Нинуся, девочка, спасибо тебе ласточка... Не надо делиться счастьем... Разве тебе самой оно не пригодится?

— Нет!.. У меня ничего хорошего впереди... Я так ясно вижу свое будущее... За что мне ухватиться? К чему прилепиться сердцем? У меня тысячи знакомых мужчин, но все они для меня чужие... Талантов у меня никаких... Желания учиться — тоже нет. Что же остается? Выйти замуж за какого-нибудь мещански настроенного субъекта и вместе с ним ходить на службу

в советское учреждение?.. Какая потрясающая перспектива!..

— Ты еще совсем не знаешь жизни.

— В том то мое горе, что для своих лет я узнала ее слишком хорошо... Не будем говорить обо мне... Не стою я этого, а вот о тебе я готова говорить всю ночь... Почему ты сказала, что дорога на аэродром мимо нашего дома?

— Я хочу проводить его: проехаться с ним в машине до аэропорта. Ведь это будет в последний раз.

— Это хорошо, но почему в последний? Он будет приезжать к брату. У тебя с ним много возможностей для встреч.

— Нет, нет, все будет по другому... И может быть это даже лучше.

Нина снова обняла сестру. В этом объятии было все: надежда, сочувствие и сожаление. Лунный свет, проникая сквозь цветные стекла веранды, освещал сестер, превращая их в существа из мира красивых фантазий. В эти мгновения не доставало только музыки. Но ее заменяла музыка двух сердец, которые чувствовали трепет друг друга.

ПРОВОДЫ

Аня перед сном открыла ставни. Проснулась едва забрезжил рассвет. Посмотрела на часы. Было ровно три. Решила немного полежать. Смежала несколько раз ресницы, засыпала на минутку и опять просыпалась в тревоге.

Когда совсем рассветало, встала, оделась и вышла на крылечко. Сидела долго. Казалось, что время остановилось. За это время мимо прошло двое — молодой человек с помятым осунувшимся лицом, как видно, возвращавшийся с вечеринки и пожилой рабочий. Последний спросил, как вызвать такси, чтобы отвезти жену в родильный дом. Аня посоветовала дойти до угла и там остановить любую машину.

— Неужели он, проезжая мимо, не заметит меня? — с тревогой думала она. Вот снизу, от Днепра, стремительно приближается такси. Замедляет ход. Кто-то

машет рукой из окошечка кабины. Машина останавливается.

— С добрым утром, Аня.

— С добрым утром, Юрий Трофимыч. Разрешите проводить вас до аэропорта?

— Буду очень рад, только разрешите мне пересесть из кабины в кузов. Брат хотел проводить меня, но я уговорил его не беспокоиться.

Они сели рядом.

— Не опоздаем? — спросила она.

Ему приятно, что она спрашивает: «Не опоздаем». Ведь она могла спросить: «Не опоздаете?» Но она сливает себя и его в одно неразрывное: «мы».

— Я выехал раньше.

Как бы ей хотелось ехать как можно дольше, чувствуя тепло его руки.

— Полетим вместе, — предложил он, — у меня тяжело болен сын, вы — врач. Познакомитесь с моей женой.

— Соблазнительное предложение. Но я — плохой врач. У меня нет ничего с собою... Дома перепугаются.

Она отказывалась, а сердце сладко замирало: «Пусть решит судьба».

— Я все-таки постараюсь достать другой билет. Для себя я забронировал с вечера.

— Не стоит, пожалуй...

Она глянула в его глаза. «Просите», — говорили эти глаза — синие, бездонные.

Приехали. Вышли из машины. Он расплатился с молодым шофером, дал щедро на чай. На аэродроме стояли три новых пассажирских моноплана. Белые крылья сверкали под утренним солнцем. Пассажиры, прибывшие раньше, ждали посадки. Он побежал в диспетчерскую, усиленно упрашивал продать еще один билет на шестичасовый.

— Не можем, — ответили ему. И в этих словах она услышала голос неумолимой судьбы. «Ну, что ж, значит так надо».

— Не дали... Как я не додумался заказать вчера два билета?..

В его голосе Аня чувствовала боль и досаду.

Пассажиров стали пропускать на посадку. Вместе с

ними выходили и провожающие. Вдоль вокзала тянулась белая оградка с дверцами в разных местах. В эти дверцы пропускали только пассажиров.

— До свиданья, — сказал он и с минуту смотрел в ее глаза. Его лицо склонилось к ней. Она смутилась, почувствовала, как вспыхнули щеки. «Он хочет поцеловать меня на прощанье»...

— До свиданья, — тихо ответила она после того, как он поцеловал ее.

Он ушел, а она осталась. Видно было, как он по лесенке поднимается в кузов самолета. Человек в синей пилотке махнул флажком. Заработали моторы. Машина тронулась с места. Сначала она двигалась медленно, потом все быстрее и быстрее. Вот она оторвалась от земли и стала набирать высоту. Провожавшие все еще стояли у оградки, хотя никого не могли разглядеть отсюда. Никто не махал платками, как это бывает на станциях железных дорог.

Самолет сделал круг и в лучах солнца взял курс на север.

— Улетел, — сказала она, направляясь к остановке автобуса.

ПИСЬМО МАШЕНЬКИ

Аню оставили аспирантом при институте. Нина решила поступить в драматическую студию при областном театре и усиленно разучивала басни Крылова и стихи Твардовского.

— Как ты думаешь — провалюсь я на испытании или нет? И если не провалюсь, будет ли из меня толк? — спрашивала она вечерами у сестры.

— Уверена, что будешь принята в студию и завоюешь там одно из первых мест, — успокаивала Аня сестру. — У тебя звонкий голос и приятный тембр разговорной речи. Ты живая, запоминающаяся, хорошо танцуешь.

— Если я поступлю в театр, то не для того, чтобы быть статисткой в массовых сценах или исполнять роли бессловесных горничных.

— Не обижайся на режиссеров, если вначале они будут давать тебе как раз такие роли. А то по своей

невоздержанности ты можешь наговорить кучу дерзостей и погубить свою артистическую карьеру в самом начале.

После субботней вечеринки Нина привязалась к своей сестре и теперь часто оставалась дома, а не убивала время на танцевальной площадке и в парке.

Мать и дочери проводили вместе вечера в беседке или на уютной веранде и делились своими мечтами. У Варвары Михайловны было заветное желание, чтобы Аня и Нина никогда не расставались с нею и закрыли ей глаза, когда она будет умирать.

Нина в мечтах видела себя артисткой, героиней. Аня хотела бы жить так, чтобы каждую ночь, перед сном, ее не терзали угрызения совести за бесполезно прожитый день. Не возлагая всех надежд только на будущее, она хотела жить настоящим. А жить — значит ощущать значительность каждого мгновения. Она благодарила Бога за то, что Он дал ей тонкий слух, острое зрение и чуткую душу.

Где бы она ни находилась — на улице, в лаборатории, дома, в саду, в театре, за городом или на берегу реки — всюду она видела краски жизни, слышала ее звучание. «Так надо, это — жизнь», — говорила она, переживая тоску разлуки с человеком, которого полюбила «на печаль свою».

По прибытии в Ленинград Юрий Трофимыч дал телеграмму брату: «Ждем кризиса, надеемся». С того времени прошло больше недели. Неужели кризис еще не миновал?

— Какие вести из Ленинграда? — спрашивала Аня при встречах с профессором.

— Странное молчание, но думаю, что все обошлось благополучно, иначе сообщил бы.

Прошла еще неделя томительных ожиданий. «Костя жив» — гласила новая телеграмма. Словно тяжелый камень свалился с сердца профессора. Рады были все Костровы. «Слава Богу, слава Богу», — повторяли они. В ответной телеграмме Александра Трофимыча было два слова: «Счастливы. Поздравляем».

— Поймут, кто счастлив и кто их поздравляет, — сказал он своей любимице.

Через два дня Аня получила на свое имя письмо из

Ленинграда. Адрес на конверте был написан незнакомой рукой. Вскрывая письмо, волновалась:

— От кого?

Конверт продолговатый, голубой, с серебристой подкладкой. Бумага такого же цвета. От письма пахнет тонкими духами. Оно начинается словами: «Светлая душа!»

— Господи, да кто же это?

Не утерпела, посмотрела на подпись в конце четвертой страницы: «Мария Разговорова».

— Его Машенька!

Сердце замирало от волнения. Что может ей написать эта незнакомая женщина, ради которой пришлось отречься от личного счастья?

«Светлая Душа!» Мне нужно видеть Вас, говорить с Вами лично, пожать Вашу благородную руку и отблагодарить искренними слезами матери и жены.

Я знаю все. Муж не утаил от меня ни одной мелочи. Ваш образ перед моими глазами. Пишу Вам это письмо, а сама плачу и молюсь... Простите, если на этих страницах будет только бессвязный лепет. Я не имею дара слова, чтобы выразить Вам признательность. Много страшных потрясений выпало на мою долю. Гибель отца и преждевременная смерть матери побелили мои волосы. Но за все скорби Бог вознаградил меня мужем и детьми. Детей моих — мальчика и девочку — Вы знаете по фотографиям. Мужа Вы имели возможность узнать лично. Новое испытание готово было обрушиться на меня: я могла потерять этого человека навсегда. Он полюбил Вас глубоко, искренне. Это было не мимолетное увлечение, а готовность пожертвовать чем угодно, чтобы только не разлучаться с Вами.

Если б он признался в любви какой-нибудь другой женщине, она, не задумываясь, поставила бы крест на всем, что было дорого для него до встречи с нею. Ведь так лестно быть любимой красивым, богатым, известным человеком. Но Вы руководствуетесь в жизни не эгоизмом, а человечностью. И эта человечность одержала верх над чувством, потому что я не могу допустить, чтобы муж не понравился Вам. Вы все время напоминали ему о жене и детях, уговаривали его — не оставлять их. Какое благородство, какая самоотверженность! Вас зовут Аней. А мне хотелось бы Ваше короткое имя украсить

тысячами сравнений, которые хоть в какой-то степени могли бы выразить сущность Вашей лучезарной души.

По возвращении в Ленинград муж рассказал о своей любви к Вам не сразу. Он щадил меня, когда нашему ребенку грозила смертельная опасность.

Господи, что я пережила за это время! Ребенок был в больнице. Меня не допускали к нему. Только из коридора, через стекло я и муж смотрели на него. Я молилась каждой частицей своей души, чтобы Господь сохранил мне сына. Молился и муж. Ночами я засыпала у него на руках — заплаканная, исстрадавшаяся. Мои молитвы услышаны: ребенок вырван из когтей смерти. Бог сохранил для меня сына. Вы сохранили для меня мужа. Когда миновал кризис, муж поведал мне свою тайну. И тогда мне стало радостно за русских женщин и девушек. Во все времена они отличались готовностью — пожертвовать своим счастьем во имя человечности. Не утратили они этого божественного дара и в настоящее тяжелое время.

Бог вознаградит Вас, мой светлый друг. Вы достойны большого личного счастья. Оно будет у Вас. Я верю в это. Беспредельное Вам спасибо. Но это слово слишком бледно, чтобы выразить все то, чем переполнена моя душа.

Обращаюсь к Вам с большой просьбой: пришлите мне свою фотографическую карточку, а когда будет возможность, приезжайте к нам. Мой дом — Ваш дом. Сердечный привет Вашей мамаше и сестре.

Бесконечно уважающая Вас — Мария Разговорова».

Варвара Михайловна и Нина сидели в беседке. Аня подошла к ним, держа в руке письмо. Она плакала, когда читала этот крик души. Не могла успокоиться и теперь.

— Неужели несчастье? — испугались мать и сестра.

— Наоборот, большое счастье... Прочитайте.

Она протянула Нине письмо. Та стала читать вслух. Варвара Михайловна поднесла к глазам какую-то тряпочку — утереть слезы.

— Бедная... страдалица, — повторяла мать, слушая письмо. Нина тоже была растрогана. Обе они смотрели с благоговением на Аню. Какую внутреннюю борьбу

пришлось ей пережить. Она одержала победу и вот это письмо — лучшая награда для нее.

ПРОФЕССОР АРЕСТОВАН

— Вы не будете отрицать, что своим «вдохновенным словом» хотели сказать с предельной откровенностью: СССР — это одно, а Россия — это совсем другое.

— Я старый человек и привык ту страну, в которой родился и прожил 60 лет, называть только Россией.

— Вы что же — принципиально отрицаете новые названия, новую терминологию и новые понятия?

— Я ничего не отрицаю, но привычка — вторая натура.

— Если не можете освободиться из-под власти привычки, то, повидимому, называете Лениград-Петербургом, Сталинград-Царицыном и актовый зал мединститута — залом дворянского собрания?

— Есть такой грех.

— А не задумывались ли вы над тем, что это не привычка, а преднамеренное игнорирование советской специфики?

— Если бы я был повинен в этом, то не признавал бы накаких достоинств молодежи, которая выросла и воспитывается в советское время. Ведь это не та молодежь, которая заполняла стены высших учебных заведений до революции. Современная молодежь — сугубо советская. Она воспитывается комсомолом, поет современные песни, работает в советских учреждениях, участвует в советских демонстрациях, с пафосом выкрикивая лозунги вождя: «Жить стало лучше, жить стало веселей» или «Чужой земли не хотим, но и своей ни одного вершка не отдадим». Она мыслит и действует по-советски. Если бы я игнорировал все советское, я не уделял бы так много внимания современной молодежи. Я читал бы холодно свои лекции, давал задания, с официальной строгостью принимал зачеты. Но мне чуждо это величие ученого. Я люблю нашу советскую молодежь так, как дай Бог отцу любить своих детей.

— О ваших взаимоотношениях с молодежью нам хорошо известно: вы любите молодежь и она с лихвой

платит вам за вашу любовь влюбленностью в вас. Но в этом-то и кроется большая опасность.

— Для кого?

— Для советского строя.

— Первый раз слышу, чтобы любовь расшатывала советские устои. Значит, по вашему ненависть, отчужденность, враждебность между профессорами и студентами вы считаете более созидающей силой, чем взаимную симпатию?

— Разрешите договорить до конца. Когда молодежь привязывается к человеку, безраздельно преданному идеям коммунизма, мы это приветствуем и благословляем, но когда она тянется к тому, кто забывает, что живет не в России, а в СССР, мы вправе опасаться за идеалы молодежи, на которую возлагаем все наши надежды.

— Значит, вы считаете, что я могу в один прекрасный день, собрав вокруг себя молодежь, сказать ей: «СССР — не ваша родина, Сталин — не ваш вождь, все, что вы видите вокруг — не ваше, а чужое. Вы не родные дети своей страны, а только ее пасынки. Сделайте из этого соответствующие выводы и отвоюйте себе то, на что вы имеете полное право».

— Так вы, конечно, не скажете: для этого вы достаточно умны.

— Благодарю за комплимент.

— Но всяким своим словом, шуткой, пожеланием, анекдотом вы подчеркиваете, что живете вне времени и пространства. Со стен и простенков института на вас смотрят портреты Маркса, Ленина, Сталина и всех членов политбюро, вы же никогда ни одним словом — ни на лекциях, ни на выпускном вечере не обмолвились хотя бы случайно о людях, которые ведут страну в царство коммунистической справедливости.

— Я читаю курс не диамата, а биологии.

— И что же из этого? Неужели вам не ясно, что наука вне политики — не наука, а чистоплюйство?

— Да, для меня это не ясно.

— Отсюда вытекает и все остальное...

Следователь посмотрел на лист бумаги, лежащий перед ним на столе.

— Все эти «крутые склоны, рассыпанные на тро-

пинках камни, холодные ветры и туманы»... Что вы этим хотели подчеркнуть?

— Неизбежные трудности, которые во все времена, при любом социальном строе стоят на пути студента.

— Упомянутые вами трудности были, есть и будут при любом строе, кроме одного...

— Вы хотите сказать: «социалистического».

— Да.

— Практика показывает, что студенты, зачастую, плохо одеты, что многим всегда хочется есть. Общественные нагрузки отнимают у них дорогое время, которое они могли бы с пользой употребить на саморазвитие, на поднятие культурного уровня...

— Так... так...

Следователь саркастически улыбнулся, постукивая по столу концами пальцев левой руки.

— А вы бы хотели, чтобы студенты занимались только наукой и были обеспечены...

Профессор прервал его;

— Хотя бы так, как красноармейцы, не говоря уже о войсках НКВД.

— Да, вы — цельная натура. И вполне понятно, что в своем напутственном слове (снова взгляд на лист бумаги) вы советуете «отдать все силы народу», игнорируя партию и вождя. Вы внушаете любовь к отечеству и по привычке забываете дабавить: «социалистическому», вы жонглируете словами «любимая родина», тогда как даже младенец знает, что нет у нас никакой родины, кроме «советской», но вы упорно избегаете этого слова. С удивительной уверенностью вы утверждаете, что на местах «много темноты, косности, невежества, жестокости и самодурства»...

Тон следователя повышался, выпуклые черные глаза все чаще забывали об официальной учтивости и метали молнии неприязни к собеседнику.

— Кто дал вам право дискредитировать советскую власть, которая якобы не сумела ликвидировать всех этих язв? И кто же это «местные самодуры и невежды, все эти темные, косные и жестокие люди?» Не колхозники, конечно, и не рядовые советские служащие. На них бы вы не обрушили своего гнева. Но вы имеете в виду руководящую верхушку, а так как она состоит

исключительно из партийных людей, то своим выступлением вы хотели внушить молодым врачам: «Не забывайте, что на местах вам придется столкнуться с таким количеством партийных олухов, что вы ужаснетесь».

— Зачем вы позвали меня в свой комфортабельный кабинет, если у вас заранее приготовлены своеобразные комментарии каждого моего слова, жеста, интонации?

— Зачем я вас позвал, вы узнаете немного позже. «Наша страна, — сказали вы — должна быть образцом во всех отношениях. Пока этот образец только в мечтах». Как это в мечтах, господин профессор?

Он иронически подчеркнул слово «господин».

— Разве у нас нет достижений, которыми мы вправе гордиться перед гнилым западом и механизированной Америкой? А наши колхозы, которые дают восемь миллиардов пудов хлеба в год? А наши совхозы? А Беломорско—Балтийский канал и еще более поражающий воображение канал «Москва-Волга»? А гиганты индустрии, а подготовка к строительству Куйбышевского гидроузла? А мосты через Волгу? Я мог бы вам без конца перечислять все то, что создано нашим народом под мудрым водительством Сталина, но это отняло бы слишком много времени. Неужели вы не видите всего этого? Или только упорно не желаете видеть?

— Если бы я имел возможность побывать в Европе и в Америке и увидеть все то, что создано там за последние годы, я бы ответил вам, можно ли считать достижением все, перечисленное вами. А если это все же достижения, то какой ценой они осуществлены?

— Понимаю, куда вы гнете, да и как вы можете думать по другому, если без всякого стеснения на многолюдном собрании предлагаете выпить не за многонациональный Советский Союз, а за Россию и русских? Правда, после короткой паузы вы добавили: «За всех, кто населяет ее степи, леса и горы»... Но это было сделано лишь после того, как на вас посмотрели с укоризной присутствовавшие за ужином партийцы.

— Разрешите вам заметить, гражданин следователь, что еще ни разу в своей жизни я не сказал ни слова из боязни или с подхалимской целью. Я говорю то, что мне подсказывает рассудок и сердце, совершенно забывая при этом, присутствуют или отсутствуют на собрании

партийцы, а так же особый сорт людей, которые специальными аппаратами или при помощи стенографии умудряются записать от слова до слова каждую речь, каждый тост, каждое пожелание.

— Это свидетельствует о вашей гордости.

— О честности, — поправил профессор.

— Почему вы не закончили своего слова здравицей в честь вождя?

— Потому что это сделали другие раньше меня. Я враг попугайничества в любой сфере.

— Теперь разрешите вам сказать, зачем я позвал вас в этот кабинет. Ваш тост на выпускном вечере в мединституте — стопроцентная контрреволюция под маской самого оголтелого национализма, а вы — враг не попугайничества, а советской власти.

— Для которой я честно работаю больше двадцати лет, — перебил следователя профессор.

— Это ничего не значит. Признаете ли вы себя виновным в том, что всегда, на каждом шагу и, в особенности, на банкете, старались бросить тень на все советское, а тем самым на кормчего советского корабля?

— Нет.

— И протокола подписать не хотите?

— Да, не хочу.

— Тем хуже для вас.

— Не грозите. Ничего страшнее смерти вы не придумаете.

— Вы слишком самоуверенны.

— Ах, простите, я забыл о пытках. Да, они страшнее смерти, но Бог поможет перенести и эти страдания.

— Посмотрим.

— Не бахвальтесь, гражданин следователь. Что значит ваше циничное «посмотрим»? Неужели вам доставит удовольствие созерцать, как специальными машинами будут сдавливать грудную клетку, вывертывать руки, прижигать раскаленным железом тело шестидесятилетнего человека, который почти сорок лет жизни отдал России и русскому народу.

— Вы еще ничего не испытали на своей шкуре.

— Вот она ваша утонченная вежливость. Когда с вами не соглашаются, вы пускаете в ход такие изысканные словечки, как «шкура».

— Не забывайте, гражданин профессор, где вы находитесь и отложите преподавание правил хорошего тона до более удобного случая.

— Я знаю, что нахожусь в НКВД. Попадающие сюда не могут рассчитывать на минимальную справедливость. В отношениях к людям здесь только предвзятость. Все человеческое здесь отсутствует. Этот дом — резиденция сатанизма.

Следователь вскочил, как ужаленный.

— Замолчите!

Профессор поднялся со стула.

— Нет, не замолчу!

— Я прикажу заткнуть вам глотку!

— Вы исполните только то, для чего вас послал сюда «мудрый вождь».

Похудевший, с болезненным румянцем на впалых щеках, с прядями седых волос, прилипших ко лбу, профессор в эти минуты был похож на пророка обличителя, которому чужд страх за свою жизнь.

Следователь решил успокоить себя. Его пальцы дрожали, когда он, раскрыв серебряный портсигар, брал папиросу. Две спички чиркнули по коробке не дав зажигания.

— Ах, черт, — выругался он и, доставая третью спичку, рассыпал по столу всю коробку. Когда папироса, наконец, закурилась, он вышел из-за стола и зашагал из угла в угол по кабинету, застеленному пушистым ковром зеленого цвета.

Профессор заметил, что у следователя кривые ноги и слишком большой, выпячивающийся зад. Его массивность подчеркивалась коротким модным пиджаком в клетку из дорогого заграничного материала.

— Может быть все-таки одумаетесь? — спросил он, задерживаясь у стены под портретом Сталина.

— Не понимаю вашего вопроса, — сухо ответил профессор.

— Может быть все-таки признаете себя виновным?

— Нет, — почти крикнул арестованный, смело глядя в глаза узколобого вождя, намалеванного на холсте и в черные выпуклые глаза того, кто стоял у портрета, как у своей незыблемой, надежной твердыни.

Следователь быстрыми шагами направился к столу.

«Сейчас ударит», — подумал профессор. Толстозадый человек нажал кнопку. Вошли двое военных в фуражках с малиновыми околышами. Следователь, ничего не сказав, небрежно махнул рукой. «Пришли за мной», — решил профессор и направился к двери. Один из военных занял место впереди, другой позади убеленного сединами человека. Когда вышли за дверь, передний конвоир тихо сказал:

— Пошли, отец.

— Пошли, сынок, — ответил арестованный.

Красноармеец знал профессора по лекциям, которые тот читал в доме красной армии.

«МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОДЯТ?»

Каждую ночь в больших и малых городах НКВД арестовывало сотни людей. Временно не арестованные ждали своей очереди. Почти каждый, если не вслух, то про себя за несколько лет существования советской власти выразил недовольство ею. Этого было достаточно, чтобы при наступлении сумерк его охватывал трепет. Возле постелей люди клали узелки с необходимыми вещами, которые разрешалось брать арестованному с собой. Сон был чутким. Каждый шорох за несколько кварталов от дома будил спящего:

— Вероятно за мной.

Холодный пот выступал на всем теле. Сердце замирало так, как оно не замирает ни при каких других страхах. И хоть люди привыкли к пиратским налетам черного ворона, арест некоторых людей повергал жителей города в неописуемое смятение.

Когда был арестован профессор Разговоров, весь Смоленск затаил дыхание: уж слишком хорошо знали этого жизнерадостного, честного, остроумного человека. «Если арестовывают таких людей, то нам и подавно нечего ждать пощады».

Аня узнала об аресте Александра Трофимыча утром в институте. У нее подкосились ноги и она чуть не упала. Ей предложили воды. Она отказалась. Обхватив голову руками, она застонала, стараясь подавить свое отчаяние.

— Не оставят в покое и другого брата: он так резко

разговаривал с Ефимом, когда тот пришел незванным на вечеринку, — думала она.

Аня двигалась, что-то спрашивала, что-то отвечала на вопросы, но все это в каком-то оцепенении, в полузабытьи. Тяжесть на сердце была такой гнетущей, что мешала дышать, думать, анализировать действительность и людские поступки. Несправедливость, допущенная по отношению к профессору, обезволивала, парализовала желание работать. Ане не страшно было даже умереть. Ей стало понятно острое желание некоторых больных — поскорее отмучиться. Однажды, еще в бытность студенткой, когда она дежурила в больнице, к ней обратилась с просьбой изможденная женщина со слезами на глазах умоляя дать ей яду, чтобы раз и навсегда избавиться от непереносимых головных болей.

Тогда это было непонятно Ане. А вот теперь она знает, что иногда физические и душевные терзания бывают так чудовищны, что смерть была бы воспринята, как величайшее благо. Потом ей вдруг стало стыдно за такое молодушие. А кто будет носить ему передачи? Нет, нет, ей нельзя умирать. Не написать ли в Ленинград? В каких выражениях сообщить Юрию Трофимычу об аресте брата? А может быть профессора после первого допроса отпустят? Должны же в НКВД понять, что таких чистых сердцем людей, как Разговоров, нельзя арестовывать. Удалять их из общества — все равно, что небо оставлять без солнца.

— Я погубила его, я упросила его сказать тост на выпускном вечере. Только это могли поставить ему в вину. Честный до щепетильности он не будет себя обелять. Он с юношеской запальчивостью может наговорить слишком много горькой правды энкаведистам и тем погубить себя. Что я наделала? Как я посмела забыть, что живу в такой стране, где нужно обдумывать каждое слово, каждый шаг, где даже вздыхать нужно с оглядкой, чтобы тебя не заподозрили в сочувствии неблагонадежным людям.

После работы она пошла к Игнатьевне. Старушка встретила ее слезами и рассказала о ночном обыске, который продолжался до четырех часов утра. Выходя из дому, Александр Трофимыч расцеловался с Игнатьевной и сказал:

— Не унывай, подруга дней моих суровых... Скоро увидимся.

— Подождать надо, может и взаправду отпустят дня через два... Коль до среды не вернется, ну тогда не миновать — писать брату. А сейчас погодим пугать.

— Дали вы ему, Игнатьевна, что-нибудь из съестного?

— Давала, а он замахал руками: «Не будут же меня морить голодом»... Он думает, там для него разносолы приготовлены.

— В воскресенье понесу передачу, — сказала Аня.

— Я приготовлю, а вы отнесите.

— Не беспокойтесь Игнатьевна, дайте только кое-что из белья. Остальное соберем мы.

ГОВОРЯТ О ШАТАЛОВЕ

В этот вечер мать и дочери ужинали не в беседке, а на веранде. Но даже здесь они говорили шепотом, боясь, что их могут подслушать.

— Надо и нам ждать ночных гостей, — вздыхала Варвара Михайловна.

— К нам не придут, — сказала уверенно Нина.

— Почему ты так думаешь? — спросила Аня.

— Значит есть основания так думать.

— Слышала что-нибудь? — насторожилась мать.

— Ничего не слышала... никого не видела, но пока...

— Что «пока»? Не мучай, скажи, — упрашивала Варвара Михайловна.

— Пока Ефим надеется на взаимность с моей стороны, нам не грозит никакая опасность.

— Но ведь он этой взаимности никогда не дождется, — сказала Аня.

— Только тогда, когда он убедиться, что его надежды разлетелись в пух и прах, он может и нам подложить свинью.

Аня встала с кресла и подошла к сестре.

— Неужели профессора утопил он?

— Не думаю. Мне кажется, что он все-таки не такой жестокий.

— Когда-то професор, принимая от него зачет по биологии, сделал ему выговор: «Вы поступили в инсти-

тут не для политики, а для подготовки к врачебной деятельности. Я поставлю вам удовлетворительно, но поверьте, что вы недостойны даже двойки. Вы — лентяй и болтун»... За такие слова он мог затаить обиду на професора.

— По моему он должен благодарить Александра Трофимыча за доброту: ведь поставил-то он ему не единицу, а тройку. А что поругал немного, так за дело, — рассудила Варвара Михайловна.

— Он мстительный и не забывает обид.

— От меня он, кроме обид, ничего не слышит, — сказала Нина.

— На тебя он имеет какие-то виды... В институте с ним никто не хотел ссориться.

— Чтобы с ним крепко дружить, надо выйти за него замуж, — сказала Нина.

— Как будто уж нельзя умаслить без замужества?

— Нельзя, мама, в этом ты скоро убедишься.

— О чем ты говоришь? Опомнись.

— Не будет же он без конца сносить от меня оскорбления, ничего не получая за это взамен.

— Какая ты нехорошая девченка! — вспылила Варвара Михайловна, — если он тебе не по нутру, не встречайся с ним. А коль встретилась, держи язычок за зубами, о сестре и матери подумай, если не хочешь думать о себе.

— Одним словом, мамочка, я чувствую, что ты была бы с ним в большой дружбе, если бы он вдруг стал твоим зятем.

— Не говори, чего не надо... Да, я не как ты: никогда не лезла на рожон и не поднимала людей на смех.

— Когда вы перестанете разговаривать об этом человеке? Неужели только и свету в окошке — Ефим Шаталов? Господи, как хочется уйти куда-нибудь, где нет ни людей, никаких признаков человеческого прогресса, где только голубое небо, зеленая трава, шум леса и пение птиц... Зачем и кому нужны все эти обыски, аресты, тюрьмы, лагеря, расстрелы? Неужели на земле не хватило бы места для всех людей?

— Хватило бы, Аничка, ведь в прежнее время хватало. Всю жизнь люди проживали в тишине и спокойствии. Только и боялись жуликов да разбойников, но от

жуликов можно было запереться, от разбойников откупиться деньгами. А от нынешних тиранщиков ничем не спасешься — из земли выкопают, со дна моря достанут. Видано ли это, слыхано ли, чтобы люди только шепотом разговаривали, да и то с оглядкой... В прежнее-то время, когда человек тонул и кричал «спасите», все на помощь бросались. А теперь о другом смекают: несчастный захлебывается в волнах, а его веслами по башке лупят, с берега камнями шендарахают, чтоб с глаз поскорее скрылся, а то, неровен час, как бы какой беды из-за него не получилось.

— Страшно, мама, жить в такое время... Зачем ты нас на свет породила? — застонала Аня, уронив голову на стол.

МЕСТО СКОРБИ

В воскресенье с утра Аня понесла передачу профессору. Нина в этот день собиралась на пикник с теми подружками, с которыми вместе готовилась к поступлению в театральную студию.

Знакомые предупредили Аню, что если она хочет освободиться пораньше, то должна занять очередь часов в пять утра. Тяжелые раздумья одолевали ее.

— Нет, нет, это не реальность, это страшный сон, — повторяла она, — это не укладывается в сознании, в это не хочется верить, так все страшно и нелепо... Но, к сожалению, это факт и многие из советских граждан уже давно испытывают это на себе. Вероятно, им не кажутся эти ужасы сновидениями, они давно свыклись с ними, нет, не свыклись, с этим нельзя свыкнуться, они покорились этому, как покоряются грубой силе.

Давно ли к этому человеку, которому она несла передачу, были прикованы взоры молодежи, давно ли его пожелания воспринимались каждым сердцем, как дорогие заветы? Давно ли этот вечно юный мудрец призывал к постоянному опьянению любовью, трудом, искусством, наукой, добрыми делами? Чем он опьяняется теперь, находясь в тесной общей камере с сотнями таких же невинных, как он сам, из разных слоев советского общества? Вероятно он старается влить бодрость в от-

чаявшихся, уверить их, что русский народ нельзя истребить, какие бы незаслуженные кары ни обрушивались на его душу и тело.

Вот она эта улица ужаса и печали, где возле огромного, серого, пятиэтажного здания собрались тысячи людей с узелками в руках — мужчины и женщины, старые и молодые, подростки и дети, интеллигентные и простонародье, горожане и колхозники.

У всех скорбь на лицах. Все напряженно прислушиваются к каждому слову, к каждому слуху. Каждый хочет услышать что-то обнадеживающее, но на на кладбищах не рождаются надежды. А разве это не кладбище? Здесь до поры, до времени принимают передачи, но настает неизбежный момент, когда и в этой «радости» отказывают. Отказы сопровождаются краткими бессердечными пояснениями:

— В передаче больше не нуждается (то есть, расстрелян), или «выбыл» (то есть, отправлен в лагерь на пять, десять, пятнадцать, двадцать пять лет).

Вот и сегодня многие услышат эти, леденящие душу, слова отказа. И каждый думает:

— Только бы не я... Только бы не нести назад эти скромные гостинцы, приготовленные для дорогого человека.

Здесь не толкают друг друга, как в остальных сборищах — в очередях у магазинов, в комнатах для прописки в милиции. У всех одинаковая судьба. Все пришли обремененные скорбью. Каждый хочет поделиться горем, хочет, чтобы его выслушали стоящие поблизости.

Вот хрупкая девочка лет десяти с русой косичкой, в голубом платьице, с пионерским галстуком, рассказывает об отце и матери. В прошлом году, перед выборами в верховный совет СССР арестовали отца. Он был командиром, но его родная сестра жила в Америке и когда-то присылала письма брату. Мать арестовали месяца два тому назад, перед первым маем. Передачи носила бабушка, но сейчас она лежит больная.

— Я сказала ей: «Бабушка, я сама отнесу, я все найду».

Она рассказывает обо всем, как умудренная печальным опытом пожилая женщина.

— Милая ты моя, — вздыхают слушательницы,

утирая слезы. У девочки спрашивают, что она несет матери.

— Сухариков насушили, — отвечает она с нежностью.

У каждого свое горе и все же оно заслоняется трагедией этой десятилетней крошки. Неужели и она в школе и у пионерского костра выкрикивает вместе со всеми: «Спасибо любимому Сталину за счастливое детство»!

Начался впуск в комендатуру. Людская масса пришла в движение. Раскрытая дверь, скрипя блоком, как пасть людоеда, глотала все новые и новые жертвы. Аня очутилась в этом тесном и душном чреве одной из последних. Большие зарешеченные окна с матовыми стеклами были закрыты. Грудные клетки сдавливались со всех сторон.

Передачи принимал одутловатый человек в военной форме. Посетители называли имя, отчество, фамилию арестованного, день и место ареста. Равнодушный к судьбам людей флегматик, сидевший по ту сторону зарешеченного окна, перелистывал списки, лежавшие перед ним. И тогда у всех в очереди замирало сердце:

— Возьмет или откажет? Уже не счесть тех, кому он сказал:

— Выбыл... Переведен... неизвестно где находится...

— Да как же так? Неделю тому назад был здесь... Тогда приняли, а теперь не принимаете, — растерянно недоумевали несчастные, пытаясь получить разъясняющую справку у других окошек. Нигде не добившись толку, они протискивались к выходу — опустошенные, раздавленные, еле держащиеся на ногах.

Вот уже отказано дряхлой старухе. Сначала она носила передачи сыну и снохе, потом восемнадцатилетнему внуку. Но теперь исчез и он.

Отказано подростку мальчику, который принес передачу для отца, отказано женщине крестьянке, у которой арестован муж, отказано молодой девушке: у нее отняли жениха накануне свадьбы.

— Где девочка в голубеньком платьице? — спрашивают многие.

— Здесь! — выкрикивает она, стоя у рокового окошечка. Оно высоко и ей приходится тянуться на носках,

чтобы дать необходимые сведения толстолицому человеку.

— Выбыла, — слышит девочка в ответ. Общий стон сочувствия раздается в душном помещении. Девочка не выдерживает пытки и падает: как много надежд возлагала она на нынешний день. Мама получит сухарики и догадается, что их нарезала и высушила дочка. Она будет их есть и думать о том, что дочка жива, что она дождется свидания со своей мамочкой... А вот теперь этот человек говорит: «Выбыла»... Может быть он не хочет сказать правду? Может быть она уже расстреляна?

Девочку подняли.

— Воды, воды! — кричат люди, позабывшие, что в этом пекле, куда загнала их судьба, не дадут капли воды даже в том случае, если бы от этой капли зависела человеческая жизнь.

Девочку передают друг другу поверх голов.

— Развяжите ей галстук, он задушит ее!

И вот красная перекрученная тряпка, как змея, напившаяся детской крови, извивается на груди у десятилетней. Аня, стоящая у входа выносит девочку на чистый воздух.

— Ее расстреляли? — спрашивает крошка, приходя в себя .

— Нет, зачем же? Ее послали в какой-нибудь лагерь, где гораздо лучше, чем здесь. Там и кормить будут не так, как тут. Она пришлет тебе письмо и ты будешь писать о себе, о бабушке. А потом в НКВД увидят, что она не виновата и вернут домой.

— Папу не вернули... он тоже не виноват...

— Когда-нибудь вернут и папу, — говорит в утешение Аня, хотя не верит в это. Сердце разрывается от горя, а надо улыбаться, чтобы ободрить крошку.

— Знаешь, как дойти до дому?

— Знаю, — говорит она и чрез минуту добавляет:

— Я все знаю...

И в этом «все знаю», сказанном утомленным голосом отчаявшейся бледной девочки столько скорби и безысходности, что Аня еле удерживается от рыданий.

— Надо повязать галстук, а то исключат из пионерского отряда, — говорит малышка и, положив сверток на тротуар, водворяет галстук на то место, откуда

его сорвали несколько минут назад возмущенные люди.

Она тихо бредет домой, к больной бабушке. Аня возвращается в комендантскую. Сейчас там еще душнее, хотя ожидающие уже не давят друг друга. Только в третьем часу дня принимают от нее передачу для профессора Разговорова. И она (как мало надо советскому человеку) испытывает радость: значит, он здесь, значит еще никуда не успели выслать. Может быть и... Нет, нет, в это трудно поверить... Кого из НКВД отпускали через четыре дня после ареста?

КОНЕЦ ПУТИ

Нина была в шумной компании. За город, в сторону Александровки, поехали на велосипедах. Был сезон малины и все запаслись корзинками.

Александровка — бышая помещичья усадьба — в четырех километрах на юго-запад от города — была расположена на холмах.

По склонам холмов росли могучие сосны с величественными кронами. Стволы сосен в минуты заката отливали пурпуром и были видны даже из города.

Помещичий дом с колоннами крестьяне разграбили и сожгли еще в дни февральской революции. Но деревенька и службы не пострадали от огня. Теперь здесь был размещен цыганский колхоз. Цыгане предпочитали промышлять обменом коней, цыганки — гаданьем в соседних деревнях. Колхоз был на черной доске, несмотря на все старания партийцев из обкома. Но по воскресеньям сюда собиралось множество народа из города — покутить, погадать, поволочиться за молодыми цыганками, послушать хор, принять участие в играх и плясках.

Корзинку для ягод захватывал почти каждый, но по прибытии в Александровку о ягодах забывали, а кому хотелось полакомиться, тот подзывал деревенских мальчишек и девченок и, опрокинув ягоды из консервной банки или берестяного лукошка в свой головной убор или в газетный кулек, давал за это детям рубль или трешку, смотря по щедрости и по тому в каком находился градусе.

Нину тянуло в Александровку — желание погадать о своей судьбе.

— Узнаем всю правду, — соблазняла она подружек. Девушек сопровождали молодые люди. Когда прибыли в Александровку, там было уже много народа. Из каждой избы слышались песни подвыпивших гостей. Оставив велосипеды в квартире председателя колхоза девушки вышли на улицу. Молодые и старые цыганки гадали у завалинок. Нине хотелось, чтобы ей погадала старуха.

— Молодые болтают, что в голову взбредет, а старые все насквозь видят.

Возле седой красивой цыганки с массивными серебряными серьгами в виде колец собралась большая толпа. Нина терпеливо ждала своей очереди. И когда, наконец, протянула левую руку, старуха пристально посмотрела на ладонь, потом на девушку, снова на ладонь и, вздохнув, таинственным голосом сказала:

— Берегись черного человека: от него тебе будет большая досада. Он подстерегает тебя. У него нехорошее сердце. Линия твоей жизни может оборваться очень скоро... Мне тебя жалко, красавица.

— А можно от него спастись?

— Можно. Если линия жизни не оборвется, впереди тебя ждет удача.

Цыганка посмотрела поверх толпы, собравшейся возле нее и шепнула:

— Он идет сюда... Он тебя выслеживает.

— Спасибо за предупреждение, — сказала Нина, доставая из сумочки бумажный рубль.

— А, вон вы где! Своей судьбой интересуетесь? — услышала она знакомый голос. Разве и мне погадать?

Ефим протискался сквозь толпу. Он был в неизменном коверкотовом костюме цвета беж.

— Сказани, бабушка, — ухмыльнулся секретарь, делая вид, что не верит гаданью и если протягивает руку, то лишь для того, чтобы позабавиться над старухой—болтуньей.

— Не буду я тебе гадать, ты опасный человек, — громко сказала цыганка.

— Не будешь? Ну, и черт с тобой! Нина, куда вы?

— За малиной, — откликнулась она издали.

Напуганная предупреждением цыганки, она поспешила удалиться, как только увидела Ефима.

— Разрешите вам помочь в сборе ягод. Бывало в деревне я был первым ягодником.

Он настигал ее быстрыми шагами.

— Обойдусь и без вашей помощи.

— Но зачем от нее отказываться, если она предлагается от чистого сердца?

— Мне приятнее ягоды, собранные своими руками.

— Тогда разрешите просто побыть возле вас.

Она спустилась под гору в кусты. Всюду виднелись женщины, мальчики и девочки, собиравшие ягоды.

— Здесь ничего не соберешь, — сказала Нина.

Ефим не отставал от нее.

— Пойдемте лучше погуляем в поле, послушаем жаворонков. Люблю этих птиц: они напоминают мне родину.

— Оказывается вы не лишены сентиментальности.

— А как бы вы думали?

— Я думала, вам это чуждо.

— Вообще нет такой гадости, которую вы не приписали бы мне.

— Не будем возращаться к стилю наших обычных разговоров. Давайте лучше помолчим. Слышите, как звенят? Видите, как переливаются волны по ржаному полю?

Они миновали кусты, прошли по мостику и очутились в поле, шелестящем колосьями. Он взял ее под руку.

— Жарко, Ефим, уберите свою руку.

— Здесь дует ветерок.

Он повел ее тропинкой по косогору. Они потонули в высокой ржи.

— Куда вы меня ведете?

— Никуда... Идем, куда ведет тропинка.

Помня наказ матери — не сердить Ефима и предупреждение цыганки — остерегаться черного человека, Нина решила сбавить вызывающий тон и даже слегка улыбнулась.

— Так мы можем забрести в дебри, откуда не унесешь ног.

— В поле дебрей не бывает. Здесь всюду слышно жаворонков.

Тропинку пересекала межа. Ефим остановился, как будто что-то соображая. Нижняя губа у него дрожала. Взгляд был блуждающим.

— Посмотрите, Нина, какое красивое облако над нашими головами.

Она подняла глаза к небу.

— Вот уж не думала, Ефим, что вы — поэт в душе.

И еще улыбнулась — теплее, чем в первый раз. Эта улыбка подлила масла в огонь. В Ефиме проснулся зверь. Он подхватил ее, как ребенка и побежал в рожь.

— Как ты смеешь, негодяй?

Она царапала ему лицо, сбросила пенсне, рвала черные волосы, била ногами в живот. Он зажал ей ладонью рот. Нина знала, чего он хотел. «Живой в руки не дамся», — подсказывало ей сознание. Он споткнулся, уронив ее на землю. Она попыталась вырваться. Он придавил ей грудь. Она видела его лицо, искаженное гримасой животной страсти, его безумные без пенсне близорукие глаза. «Погибаю», — говорило предчувствие. И как тонущая или возводимая на эшафот — она припомнила всю свою короткую жизнь, начиная с детства. Она увидела перед собой весельчка отца, добрую мать, святую красавицу сестру, седую старую цыганку с массивными серьгами. Все моменты жизни, как яркие заманчивые картины предстали перед нею. Все манило ее, звало властным голосом: «Борись, не давай себя погубить, жизнь, не смотря ни на что, все-таки прокрасна».

Она слышала его учащенное дыхание. — Мама! — невольно кринула она, как кричала совсем маленькой, когда оставалась одна в темной комнате. Сейчас тьма обступает ее и она уже не видит голубой лазури с трепещушими крылышками жаворонков. Инстинкт самосохранения заставляет ее вцепиться зубами в его нос. Он отстраняется от нее, как раненный зверь. Она вскакивает и бежит с криком: «Спасите!» в сторону Александровки. Но он слишком далеко завел ее в поле.

— Стой, — кричит он, — застрелю!

Она оборачивается и грозит:

— Все расскажу про тебя, мерзкая гадина в обкоме и в НКВД!

— Не успеешь, — рычит он и стреляет без прице-

ла, потому что видит не человека, спасающегося от него бегством, перед ним только белое пятно, перехваченное голубым широким поясом. И вот уже перед глазами нет никакого пятна. Только стон доносится до его слуха.

Есть ли поблизости люди? Без пенсне он, как слепой. Что ему делать?

— Нина, Ниночка, — зовет он и бредет по ее следам, по примятым колосьям ржи. Она лежит навзничь. Струйка крови течет по белому платью над сердцем. Она лежит, как живая, с открытыми глазами и смотрит на голубое небо, не видя его. Жаворонки поют попрежнему — словно убаюкивают девушку в белом платье. Убийца прикладывает руку к сердцу своей жертвы.

— Не дышит.

Его охватывает животный страх. Вероятно многие слышали выстрел. Многие могут увидеть укушенного человека без песне и тогда припомнят, что это тот самый, который некоторое время тому назад, после отказа цыганки — погадать — догнал девушку в белом платье и пошел с нею собирать ягоды. Многие вероятно видели, как они потом направились в поле, откуда и донесся выстрел. Надо бежать, но не через Александровку, а полями, глухими проселками. Может быть вообще скрыться из города на несколько дней? Нет, это будет явной уликой. Прежде всего надо вернуться домой, где имеется запасное пенсне — без него он не может думать, действовать, соображать. Заявить ли ему в НКВД, что он убил девушку в разгар ее глумления над советской властью? Что, уничтожая ее, он очистил советскую родину от одной из контрреволюционных змей, которые рано или поздно ужалили бы ее в самое сердце? К счастью, профессор Разговоров арестован, а ведь он, его брат и семья Костровых — одна шайка-лейка.

Поверят ли в НКВД такой версии? Оправдают ли его? Можно будет сказать, что когда он, Ефим Шаталов, высказался отрицательно о профессоре, эта девченка с пеной у рта стала поносить партию, Сталина, советскую власть. Тогда его сердце преданного партийца не стерпело и он решил немедленно доставить ее в соответс-

твующие органы. Она стала сопротивляться и даже укусила его. Он не стерпел такого оскорбления и пристрелил эту паршивую собаку.

Наивной или убедителной будет такая выдумка? Может быть с точки зрения завзятых криминалистов его повесть, которую он думает поведать в высоком учреждении, скреплена белыми нитками? Но ведь там, как никак, свои люди, а не покровители друзей профессора.

Он быстро зашагал полями, чтобы кружным путем попасть домой, а убитая девушка осталась под голубым небом под бисерными трелями жаворонков, в окружении колосистой ржи, склонившейся со всех сторон над ее трупом.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

— Тебе письмо, — сказала Варвара Михайловна, когда Аня вернулась домой после передачи.

Мать подала дочери голубой продолговатый конверт, какой однажды уже был получен из Ленинграда.

— От Юрия Трофимыча, — вскрикнула девушка с радостью и в то же время с испугом.

— Может быть опять какое-нибудь несчастье? Господи, спаси и сохрани!

С трепетом вскрывала она письмо, как и первое, пропитанное тонкими духами.

«Здравствуйте, мое солнышко, — писал Юрий Трофимыч.

Как-то вы сказали мне, что мы можем остаться друзьям. И вот сейчас я пишу Вам это письмо, как друг, глубоко уважающий Вас.

В нашей семье царят мир и счастье. Мальчик уже взят из больницы и поправляется. Я не утаил от жены ни одного момента наших с Вами взаимоотношений. Машенька преклоняется перед «Светлой душой», как она прозвала Вас и живет мечтой — когда-нибудь встретиться с Вами. Когда мы бываем вместе, Машенька непременнно начинает говорить о Вас, о Вашей семье, о Саше. Какое это будет счастье, когда все мы соберемся вместе.

Только теперь, по пришествии нескольких недель, я вижу, как Вы были бесконечно мудры, отвергая мое предложение. Ваше согласие повлекло бы за собой катастрофу. Даже и возле Вас, дыша одним воздухом с Вами, я не мог бы вычеркнуть из памяти и сердца Машеньки и детей. В последнее время я пришел к выводу, что для меня самое дорогое в жизни — дети, их рост и развите на моих глазах, их лепет и объятия, когда я возвращаюсь домой, их многогранные интересы, маленькие и большие радости.

Не переставая любить Вас, я страдал бы от разлуки с детьми, а это бросало бы тень на мое счастье, терзало бы ежечасно и ежеминутно мою совесть.

Спасибо Вам, дорогой друг, за стойкость, дальновидность, а больше всего за человечность, которая для Вас превыше всего.

Вспоминаю наши встречи, беседы. Мысленно переношусь на холмы возле церкви Гурия, Самона и Авивы... Что я тогда пережил...

Пишите нам, Солнышко, о всех своих планах, переживаниях, семейных радостях и огорчениях. Как и Машенька, живу надеждой — поскорее встретиться с Вами. Привет заботливой Варваре Михайловне, славной Нине, брату Саше. Почему он не пишет? В последнее время я почему-то очень беспокоюсь о нем. По возможности, скрашивайте его одиночество, навещая его в тихой обители. Он интересный собеседник и не плохой музыкант. Каждая минута, подаренная ему, будет вознаграждена с избытком.

Остаюсь в надежде на все хорошее, преданный Вам Ю. Разговоров.

— Он бедный ничего не знает, — вздохнула Аня по прочтении письма. Глядя на заплаканные глаза дочери, заплакала и мать. Потом вдруг встрепенулась и побежала на крылечко.

— Куда ты?

— Ниночка зовет.

Через минуту она вернулась недоумевающе перепуганной.

— Да что это? Ведь совсем явственно слыхала, как она закричала пронзительным голосом: «Мама!»... А на крыльце никого. Ой, не к добру это.

Аня стала успокаивать мать и посоветовала ей сходить в цирк.

— Помнишь, как ты любила ходить с нами, когда мы были маленькими? Ведь ты всегда говорила, что любишь цирк больше всего на свете. Ну, вот и сходи. Сегодня новая программа. Выступают артисты Московского цирка.

— А кто ж останется дома? Ты наверно тоже уйдешь куда-нибудь.

— Да, мне хотелось бы пройтись за Днепр. Оставим ключ, как всегда, под лесенкой. Если Нина вернется, сумеет пробраться в дом.

И мать с дочерью ушли, оставив калитку на замке. Душа Ани стремилась к тому месту возле церкви Гурия, Самона и Авивы, где не так давно ей признался в любви Юрий Трофимыч.

ОНА НЕ ПОВЕРИТ

День солнечный. Прозрачные облака, меняя формы, медленно плывут с юга на север. Аня стоит на том самом месте, где она убеждала Юрия Трофимыча быть стойким, мужественным, честным и глядит в сторону аэродрома, с которого он улетел к своей семье. Ее сердце переполнено жертвенной любовью к нему, к его жене и детям и все-таки она не может удержаться от слез, вновь и вновь читая и перечитывая письмо.

Что ждет его семью после ареста брата? Не разлетится ли их «мир и счастье» так, как разлетаются вот сейчас пушинки одуванчиков на склонах зеленых холмов?

Боится она и за свое будущее, боится за мать и сестру. Уж слишком много непредвиденностей расставляет судьба на жизненных путях в наше время.

— Господи, обереги от бед и напастей все людские души. Как к животворящему солнцу, тянутся они к миру, счастью и покою.

Она смотрит на город, в котором родилась и выросла. Какой он живописный. Зелень, лента, реки, стены и башни — все здесь еще недавно было дорого для нее. Она еще не знала, какие страшные улицы, дома,

учреждения существуют в этом живописном уголке СССР.

Уже в средней школе ученикам внушали, что НКВД «карающий меч» против врагов родины и народа. Теперь она знает, что это — ложь, выгодная для немногих. Пусть ее четвертуют, пусть ей выкалывают глаза, отрезают язык, — она не поверит, как бы убедительно ей ни доказывали, что друг молодежи Александр Трофимыч — враг народа и родины, а навязчивый, болтливый, самоуверенный и подхалимствующий Ефим — друг трудящихся и строитель социализма на одной шестой земного шара. В это не верит не только она, а все ее товарищи и подруги по институту, все друзья и знакомые и тысячи жителей, населяющих этот город. Больше того: в это не верят даже многие партийцы и комсомольцы. Не верят и молчат. Пожимая плечами, недоумевают, негодуют, а возмутиться вслух боятся, сказать о накипевшем в душе не решаются.

Сколько читала она книг о прошлом, когда за одного обиженного, обойденного поднимали голос сотни товарищей по работе. Теперь, от всех, на кого пала тень, торопятся отвернуться. Их публично пригвождают к позорному столбу. Вбивая гвозди, знают, что жертва не виновна ни в чем. Знают и все-таки стучат молотком по гвоздям, вонзаемым в самое больное: в душу. Стучат и всех друзей оклеветанного заставляют делать то же самое. И вчерашние друзья, из малодушия, цепляясь за свою бедную радостями жизнь, распинают того, кому еще недавно клялись в верности до гроба.

Распинают и плачут слезами трусов, слезами шкурников:

— Прости, друг, сам понимаешь: мы люди маленькие, подневольные... Отказаться от твоей казни — значит самому войти на эшафот, а ведь у каждого из нас — жена, дети, ведь нельзя же бросить их на произвол судьбы...

— Нет, нет и нет! Меня никто не заставит поднять руку на того, перед кем я преклонялась, как перед совершенством! — кричит Аня в пространство.

— Пусть слышат этот вопль в тех страшных зданиях, где человеческая жизнь ничего не стоит!.. Лучше самой умереть, чем предать! Лучше подставить шею

под топор, чем брать топор в руки и отсекать невинную голову!

Снова она читает письмо, хотя уже запомнила его наизусть. Вот ограда церкви Гурия, Самона и Авивы. Как тогда горячо молись они оба о даровании им силы для победы над собой. Бог дал ей эту силу. Пусть были у нее колебания, но лишь минутные.

Да, она любит его и теперь и может быть будет любить всю жизнь, любить, как человека, как друга, как верного мужа многострадальной Машеньки.

В ЦИРКЕ

Варвара Михайловна смотрела на клоунов, жонглеров, наездниц, дрессированных медведей, катающихся на велосипедах, на гимнастов, перелетающих с одной трапеции на другую под куполом цирка, а сердце было неспокойно и все то, что когда-то доставляло большое удовольствие, теперь казалось неинтересным и чуждым. И сейчас она удивлялась, как могло это нравиться ей в молодости?

Вот на круг выбежали два клоуна. Один высокий, худой, другой низкорослый, толстенький. Из-за какой-то побрякушки они поссорились. Один другого вызывает на дуэль. Секунданты отмеривают шаги от барьера, считают: «Раз, два, три». И тогда испугавшийся толстячок кричит: «Мама!»

Публика хохочет. А Варваре Михайловне снова кажется, что она слышит вопль Нины. Не дождавшись антракта, она бежит к выходу, охваченная паническим ужасом.

— Девочка моя славная, что с тобою? Где ты? Беги скорее ко мне!.. Мама не даст тебя в обиду!...

Солнце склоняется к закату. Из парка культуры доносится музыка. По улицам снуют машины, звенят трамваи. Но ничто не может заглушить материнской тревоги:

— Зачем я пошла в цирк? Зачем отпустила Аню? Нужно вместе с нею идти разыскивать бедненькую девочку!

Телега стучит железными шинами по булыжнику мостовой где-то в соседнем переулке. Ее не видно, но

стук такой резкий и лязгающий, что сердце сжимается от холода. Куда она едет? Что везет?

— Аня, Господи, какое счастье — и тебя потянуло домой? Не досидела я до конца... Ну его к Богу этот цирк... За Ниночку сердце истрепыхалось...

Рука старшей дочери — надежная опора. Аня ведет поблекшую, осунувшуюся к своему домику, потонувшему в зелени тополей, а телега стучит следом за ними.

— Эй, посторонитесь, — грубо кричит возница, — для хождения тротуар сделан.

— Мама, это подружки Нины... Почему они идут рядом с телегой? Кто прикрыт брезентом в телеге?

— Она, — подсказывает материнское сердце, — она звала меня, а я не откликнулась.

— Пустите, — кричит Варвара Михайловна, подбегая к печальной процессии.

Девушки подхватывают мать. Они не дают ей упасть. у них опухшие от слез глаза. Чем они могут утешить старуху и старшую сестру?

— Ее нашли среди колосьев...

ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ

Утром была получена телеграмма из Ленинграда: «Ночью тяжко заболел муж. Отвезен в больницу, кажется, на Шпалерную. Надежд на выздоровление никаких». Мария Разговорова.

Мать стояла у гроба дочери. Аня несколько раз перечитала телеграмму.

— Почему она пишет «Кажется»? Разве ей неизвестно, в какую больницу увезли мужа?

И вдруг догадка, как молния, пронзает сердце Ани:

— Ночью арестован Юрий Трофимыч и отвезен в тюрьму на Шпалерную!..

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Ветер свистит в ветвях старых берез и ветел на старом братском кладбище. Много молодых угасших жизней приютило оно с 1812 года. Защитники родины от

французского нашествия нашли на этом кладбище последнее успокоение.

Жертвы страшных эпидемий, не раз опустошавших города и селения России тлеют в общих могилах под холмами, заросшими высокой травой.

Голод 1921 и 1933 годов вырвал из жизни тысячи молодых и старых и переселил их сюда, под сень дуплистых деревьев.

Много печальных процессий видел на своем веку кладбищенский сторож, живущий в деревянном домике уже больше полустолетия. Он привык к людскому горю, его не трогают вопли и слезы. Почему же он вот уже несколько дней, спрятавшись в кустах сирени, внимательно наблюдает за двумя женщинами — молодой и пожилой — так похожими друг на друга? Навещая свежую могилу, они убирают ее венками, подолгу стоят на коленях, молятся.

Ему нужно знать, что они говорят между слезами и молитвами и все, что он услышит, передавать молодому черноволосому человеку в пенсне и в коверкотовой куртке. Но они почти не говорят. Слезы их не сопровождаются никакими криками, молитвы их — молчаливы.

Только один раз до старика донеслись слова младшей:

— Мама, уедем из этого города — далеко — далеко, в глушь, в безлюдье, где лишь небо, деревья, луга и птицы... Здесь нам не будет жизни... Здесь будут подслушивать каждый наш вздох.

— А как же мы оставим ее? — спросила старшая.

— Ей теперь ничего не надо... она освободилась от страхов, преследований и ненависти..

— А найдем ли мы где-нибудь такой уголок? Ведь везде одно и то же...

— Неужели везде? Мама, дорогая, что же нам делать?

ЭПИЛОГ

Во время войны Смоленск был занят немцами. При отступлении Аня и мать ушли на Запад. В Германии они прожили четыре года. В 1949 году попали в Аме-

рику. Там Аня вышла замуж за русского инженера.

Муж и друзья посоветовали ей избрать артистическую карьеру. Она окончила консерваторию в Бостоне и стала оперной певицей.

Мать была свидетельницей ее успеха на премьере в Филадельфии. Муж преклоняется перед Аней и тщательно собирает все отзывы о ней в русских и американских газетах. Увеличенный портрет Нины стоит на ее письменном столе.

Через знакомых Аня узнала, что профессор Разговоров умер в концентрационном лагере в Сибири. Его брат Юрий был освобожден из тюрьмы и сейчас работает по своей специальности в Свердловске.

У Ани два прелестных мальчика — Александр и Юрий.

Пользуясь огромным успехом, как певица, Аня тоскует по родине и собирается вернуться «домой», как только над Россией взойдет солнце свободы.

1943 — 1969 г. г.
Берлин — Брайт.

САМОЕ СТРАШНОЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

Если бы меня попросили описать самое страшное переживание своей жизни, я бы не задумывался, что выбрать из коллекции трагического.

Ужасов было много: гроб в раннем детстве для живого, людоедство в родном Поволжье в 1921 году, страдания от менингита головного мозга, когда умолял медицинский персонал — дать мне отравы, ожидания «Черного ворона» в годы «Ежовщины», кровопролитное сра-

жение во вторую мировую войну, когда на глазах падали убитыми десятки моих боевых товарищей, мучения в лагере военнопленных при ежедневной смертности от 400 до 600 человек...

Да, это было страшно, но пережито многими и многим известно по книгам, газетным и журнальным статьям.

В моей жизни была полоса, когда я страдал морально больше, чем физически и чуть не превратился в убийцу. Это — материал для большой книги, но сейчас постараюсь рассказать об этом экономно, удаляя из повествования все несущественное.

ВОЗЗВАНИЕ

После четырехлетнето учительства в большом торговом селе Сорочинском я решил применить свою педагогическую сноровку в иной сфере.

Когда от Самарского Губернского отдела народного образования было разослано по школам воззвание, убеждавшее попробовать свои силы в дошколном воспитании, я откликнулся одним из первых. Позже мне стало известно, что вместе со многими учительницами я был единственным учителем, давшим согласие — сменить школу на детский сад.

Почему меня потянуло к малышам? В детстве я вынянчил несколько племянников. Возиться с детьми доставляло мне удовольствие. Я читал сочинения Песталоцци, Монтессори, Эллен Кей и многих других авторов. Ранний возраст — от трех до семи лет — казался мне той глиной, из которой можно вылепить что-то идеально-гармоническое. И вот я решил стать скульптором человеческих душ. Полей для посева прекрасного в губернии было много — в семи уездах и в каждом большом селе. Звали меня и в Бузулук и в Самару, но я решил посвятить свое молодое рвение — родному селу Виловатому.

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ

Время было трудное — конец 1919 года. Железнодорожные пути были завалены снегом. Пассажирские поезда не ходили. Я жил временно в уездном городе.

За мною приехал отец. В мороз и метели он сделал семьдесят пять верст в три дня. На нем были подшитые валенки, старый овчиный тулуп и кошачья серая шапка. Новый тулуп и цельные валенки, предназначенные для меня, лежали неприкосновенными под корявым веретьем.

Когда он вошел в мою маленькую комнату, я узнал его только по голосу и по искоркам глаз. Шапка, брови, ресницы, борода, воротник тулупа — все было белым. Глаза сохранили свой цвет и живость. Это были сверкающие черным блеском угольки. Они даже улыбались. Отец по природе был шутником-балагуром. Вместо того, чтобы проклинать погоду, он весело крикнул:

— Не скрючила в три погибели, не окочурила!.. Спасибо Гнедому: не подвел!

— Отряхнитесь в сенях, строго сказала длиннолицая хозяйка, похожая не жердь без искривлений и сучков.

— Знамо не в горнице, — согласился отец.

ВЫЕЗД

После двухчасового отдыха для лошади выехали из города. Вместе с отцом на такой лошади не страшно, — думал я, испытывая некоторое смущение. Ведь если бы не моя прихоть — открыть детский сад в родном селе, отец сидел бы дома, не подвергая себя опасности — простудиться на лютом холоде.

— Одевайся получше: в степи света Божьего не видно. На ночь заедем в Заплавное. В лесу шляются голодные волчьи стаи. На всякий случай я захватил ружье. Есть в запасе и пакля на палке, пропитанная керосином: огня они боятся.

Поверх длинного стеганого пальто я оделся в тулуп с высоким воротником. Когда он поднят, то закрывает человека с головой. От дубленых овчин пахнет чем-то кисловато родным, привычным и даже приятным для крестьянского носа. Длинная шерсть немного щекочет под шеей. Теплота клонит в дремоту. Вспоминается раннее детство, когда в зимнюю пору, под прикрытием вот такого тулупа отец носил на руках.

Откинув воротник, увидел: белая, однообразная, нагоняющая тоску, равнина с покривившимися вехами

вдоль дороги. Вверху к вехам привязаны пучки соломы. На ветру они сиротливо шевелятся.

Мне хорошо: я могу дремать, мечтать, планировать предстоящую работу, вспоминать о встречах на жизненном пути, нетерпеливо заглядывать в отдаленное будущее.

Отцу вероятно не до того, хотя его прошлая жизнь интересней моей: он служил семь лет на Кавказе, участвовал во взятии Эрзерума, который называет «Узрюмом», ездил с обозами в зимнее время, замерзал, спасался от волков, почти всегда боролся с бедностью и при всем том не утратил веселости, которая влекла к нему старых и малых. Где «дядя Михаил», всегда звучал смех, помогавший забывать житейскую горечь, досаду, сожаление о несбывшемся

ДОРОЖНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Душой пыталось овладеть тоскливое недоумение: — Почему жизнь складывается так, а не иначе? Зачем произошла революция, в результате которой остановились поезда? Будет ли толк из моей затеи с детским садом в Виловатове? Свободен я или подневолен? Последний вопрос беспокоил меня часто. Почти всегда ответ был таков: «Нет, не свободен! Меня подстегивает кнутами необходимости жизнь: надо работать, добывать пропитание, вставать нехотя с постели утром, шевелить мозгами, стучаться в чужие двери, преодолевать бесчисленные преграды, удалять глыбы с дороги, перепрыгивать через канавы, строить шаткие мостики над пропастями... А сколько недоброжелательства всюду, а как немилосердна судьба, которая словно задалась целью — вредить на каждом шагу. Хорошо еще, что Бог наделил терпением, которое заставляет, стиснув зубы, идти вперед. И так будет всегда, до конца жизни? Необходимость, работа, изнурение? А когда же настанут каникулы в этой суровой школе, которая называется жизнью? Когда серые будни сменятся содержательными праздниками, с радостным смехом, с окрыляющей беззаботностью? Неужели никогда? Ведь если так, то чем отличается жизнь от монастыря, от солдатской казармы, от тюрьмы?

Хорошо, когда такие мысли завершались сном. Сновидения были сказочно-красивыми. И может быть только благодаря им — мысль работала, тело двигалось, сердце продолжало свою ритмическую музыку.

Думают ли обо всем этом другие люди? Вероятно думают, не одному же мне дана привычка — вникать в каждое мгновение своего бытия.

Я знал, о чем думает отец: запасти хлеба и топлива на зиму, не мучиться от ревматических болей, иметь побольше досуга, чтобы в компании соседей пошутить, побалагурить, посмеяться. Сейчас он вероятно думает обо мне: зачем я бросил школу и еду открывать какой-то сад в зимнюю пору — не то для забавы, не то— на мученье.

ОСТАНОВКА В ПУТИ

По дороге останавливались в трех селах. В последний раз ночевали в Заплавном — у отцова сослуживца по армии — в большом доме с шестью окнами на улицу, разгороженном в середине.

Такие дома называются «пятистенными». Когда люди говорят: «у них пятистенный дом», то в этих словах всегда слышится преклонение или зависть. Раз «пятистенный дом»», — значит богачи, сытые, обутые, одетые, независимые.

Разговоры за обильным ужином печальные — о надвигающихся бедствиях. Степенные, бородатые дед и старший сын, серьезные женщины с грустными глазами, миловидные подростки и девушки — все отбывали житейскую повинность. Вспомнили со слезами о погибшей царской семье.

— Не оставит Господь без наказания, — предсказал дед с длинной белой бородой, похожей на расчесанную кудель и все в это время посмотрели на большую икону — грозного Бога Саваофа. Его большие, выпуклые, необыкновенно синие глаза, казалось, метали громы и молнии, каждый седой волосок на голове и бороде как будто шевелился от возмущения человеческими беззакониями.

Ночью в доме слышался разнообразный в оттенках и в мощности храп, детские вскрики, женские вздохи,

шуршание выползавших тараканов. К невеселой симфонии ночных звуков большой семьи присоединялись ноябрьские завывания и свисты с улицы, унылое, переворачивающее душу, гудение в печной трубе. Но ничего не боясь, орудовали клопы, одинаково усердные в своем кровопийстве зимою и летом. Они атаковали меня не взводами и батальонами, а целыми дивизиями. Я давил их на лице, на руках, на груди... Это кровопролитие почему-то напоминало мне Гоголевскую фразу: «Скучно на этом свете, господа». Вернее было бы, пожалуй, сказать: «Неудобно... неуютно... тоскливо»... Чувства скуки я не испытывал никогда. Скука — от безделья. А тоска — от столкновения красивой мечты с печальной действительностью, когда мечта терпит поражение, а действительность высокомерно торжествует.

Я радовался, что утром все проснулись до рассвета. День начался завтраком. Ели лапшу с бараниной и соленые холодные арбузы. Над столом висела семилинейная лампа с проржавевшим кругом. Все так же грозно на всех смотрел Саваоф. Ночная метель затихла. Тараканы попрятались в подполье и в щели. Нам пожелали счастливого пути и дали на дорогу теплых пшеничных пышек на пахтанье. Дед сказал:

— Господь с вами!

В РОДНОМ ДОМЕ

Отдохнувший Гнедой бежал без понукания. Из его ноздрей вылетал пар. Дорога была заметена. Путеводителями были вехи с соломенными пучками. Скоро будем дома: осталось десять верст. Пышки привезем домой нетронутыми — гостинец для семьи: матери, вдовой снохе с тремя детьми, старшей вдовой сестре с двумя девочками. Я буду десятым. А изба небольшая, не разгороженная на комнаты. Заранее настраивал себя на жертвенность и терпение. Утешался строкой Пушкина: «Что пройдет — то будет мило». Настоящее — материал для будущих воспоминаний. То, что сейчас кажется слезной драмой, позже превратится в веселую комедию.

Сверкающий под солнцем снег успокаивал. Вот это и есть жизнь — ночная буря сменилась утренней ти-

шиной, искристыми блестками, целомудренной чистотой.

И отец и я откинули воротники тулупов и вдыхали свежий воздух, который казался душистым напитком.

Отца я звал, как все в наших краях, не тятей, не папой, а батей.

— Беспокоит меня, батя, одно: удастся ли в Виловатове найти помещение для детского сада?

— И охота тебе возиться с этой невидалью? Ведь весь народ будет смеяться.

Отец всегда боялся общественного мнения. Быть осмеянным для него было страшнее, чем избитым.

По селам уже начались заболевания сыпным тифом. К этому тоже надо приготовиться.

Мать была рада моему приезду. Я был ее любимцем, как самый послушный из всех ее 14 детей. О трудностях она не думала. Ее мечта осуществилась: я буду вместе с нею, каждый день на ее глазах.

Керосин было трудно доставать. В домах теперь почти у всех горели сальные мигалки. Но сестра Татьяна умела раздобывать то, что считалось роскошью в то тяжелое время. У нас была соль, был керосин, даже стеариновые свечи. Мне предоставили кровать, на которой раньше спало два человека. На ночь я натирался керосином, чтобы предохранить себя от укуса насекомых, переносящих тиф. Клопы тоже неохотно лакомились моим «набальзамированным» телом.

Мылись в селах раз в неделю — в жарко натопленной бане. В течение всей недели от меня несло керосином. Но в ту пору люди были не брезгливыми, никакие запахи их не смущали.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТЕЙ

В волостном правлении я сказал о цели своего приезда в родное село. К моему предложению — открыть детский сад — как и предсказал отец, все отнеслись с насмешкой. Поехал в районный центр, но и там меня не поняли:

— Какой-то сад из живых детей? Кому это нужно?

Обратился за содействием в уездный город. Оттуда прислали приказ местному начальству — помогать мне

в деле дошкольного воспитания детей. На эту бумагу никто не обратил внимания.

Пока детский сад был только в проекте, я вел общественную работу: организовал драматический кружок из местной интеллигенции — учителей, учительниц, писарей, торговцев. В кружок вошли деревенские парни и девушки. Им это было в диковинку, они смущались, но от участия в спектаклях не отказывались. На Рождество в школе была устроена елка.

Когда я увидел, что открытие детского сада срывается, написал большое письмо в губернский отдел народного образования. Оттуда пришло грозное предписание — не ставить палки в колеса благому начинанию.

Местное начальство пригласило меня на совещание.

— Конечно, дело это не плохое, но где найти дом для 30 или 40 детей?

— В доме бывшего кредитного товарищества могут вместиться более сорока человек.

— Да как же можно выгонять человека в зимнюю пору на мороз?

— Не выгонять, а переселить в другую квартиру. Для счетовода можно найти отдельный хороший домик.

— Не по-божески это будет, надо сочувствовать человеку. Поезжай в какое-нибудь другое село и там орудуй. У нас ничего сделать нельзя.

Брат Павел открыл мне глаза на причину сопротивления.

— Местные власти в дружбе со счетоводом и не хотят его беспокоить. Ведь подвал дома заполнен сахаром, которым торговало кредитное товарищество. Этот сахар присвоен счетоводом. Вот теперь он и подслащивает местных начальников. Как же не порадеть такому человеку? Где еще можно найти такой удобый подвал для хранения сладости?

Пришлось еще раз написать в Самару. Во втором ответе на мое письмо губернское начальство грозило отдать под суд весь волостной исполнительный комитет села Виловатого. Угроза припугнула. Податься было некуда, надо было, скрепя сердце, выполнить приказ.

ПОРТРЕТ СЧЕТОВОДА

Счетовода звали Иона Пудилыч Филиппов. Имя от-

ца было Пуд. Вместо величания «Пудович» крестьяне говорили Пудилыч. Он был родом не из нашего села, по национальности мордвин. Походка у него была крадущаяся, бесшумная. Казалось, что он не ступал по земле, а скользил, как на санках, плыл, как гусь по воде. Незаметно подойдя к толпе, он прислушивался, подставляя ладони к ушам и без того большим и оттопыренным, похожим на крылья летучей мыши в полете. Волосы у него были почти белые, прямые, сухие. Даже смазанные помадой они падали на лоб, прикрывая бегающие маленькие глаза. Его тонкогубый рот во время смеха перекашивался. За это ему дали кличку косоротый. Одевался он хорошо, часто менял яркие галстуки. Но приличная одежда и белые туго накрахмаленные воротнички только подчеркивали его отталкивающие черты физиономии, в которой сочеталось что-то лисье вместе с ослиным.

Жена у него была красивой, полноватой блондинкой с правильными чертами лица. Все удивлялись, как она могла выйти замуж за такого таракана. Союз красоты с безобразием объясняли тем, что вероятно нрав жены ничем не отличается от мужнина. При этом часто повторялась поговорка: «Всякая гадость найдет свою мерзость».

Она учительствовала в местной школе. Чтобы блеснуть образованностью, меня называла «Коллегой». От этого слова у меня появлялись мурашки на спине. Ее язык не поворачивался произнести мое имя: вероятно мешала неприязнь. Их глуповатой толстой девочке, похожей на отца, было в то время 4 года.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ

Дом для счетовода был найден. Сахар перевезен в ночное время в разные места — в надежде, что его никто не разворует.

В доме кредитного товарищества было две больших комнаты, одна маленькая и вместительная кухня. На широком дворе обнесенном высоким плотным забором, зимою можно было сделать горку, а летом водить хороводы на зеленой мураве.

Перед началом занятий дом внутри отремонтировали: оклеили новыми обоями — белыми с крупными алыми розами, сделали невысокую перегородку, низкие столы и стульчики, приспособленные для малышей, заготовили продукты из районного склада.

Мне помогали отец, брат Павел, живший отдельно и кое-кто из доброжелателей. Об открытии детского сада 30 января было объявлено по школам, в церкви, на спектаклях, по отдельным домам. На дверях волостного комитета была приклеена бумажка с моей подписью.

Для приготовления пищи нужна была кухарка, но желающих поступить в детский сад сначала не находилось. Я мог бы пригласить кого-нибудь из своих родственниц, но боясь всяких наговоров и пересудов, не сделал этого. Пришлось самому соединить педагогическую работу с поварской.

Поместился я в маленькой комнате с окном, выходившим на церковную площадь. Вместо лампы у меня был флакончик с фитильком. При этом мышином глазке я сидел за работой до часа и до двух ночи, утруждая зрение. Чтобы приготовить обед из двух блюд, вставал в 5 утра. Пищу готовил в русской печке, пользуясь ухватами, сковородами, чугунами, кастрюлями. Посуды было достаточно: глубоких тарелок, металлических ложек, вилок. Хлеб пекли добрые женщины.

Детский сад открылся в лютый мороз, когда морды лошадей сразу индевеют. Думал, что родители побоятся везти детей в такую стужу. Но любопыство было сильнее страхов: детей привозили, а уходить не спешили. Всем было интересно узнать, что же я буду делать с детворою?

Отцы и матери располагались возле входной двери. Детей в первый день собралось 32 человека — почти поровну мальчиков и девочек. Больше всего было шестилетних, несколько человек семилетних, были пятилетние и двое трехлетних. Пришла и девочка счетовода Филиппова — нуклюжая, белокурая, властная.

— Это наш дом, — заявила она во всеуслышание. Пришлось поговорить с ней об этом и сказать, чтобы она больше не называла детский сад «своим домом». Я понял, что отец с матерью послали девочку ко мне,

как шпионку, которая о всякой мелочи должна докладывать родителям.

В доме было тепло. Двойные рамы не замерзли. Все было видно, что делается на улице и на церковной площади. Сказал детям, что они могут звать меня «Дядей Родей». Некоторые вместо «р» говорили «л». Я для них был «Дядя Лодя».

Усадив детей вокруг себя на маленькие стульчики, рассказал о порядках, которые надо соблюдать.

— Кто любит игрушки, пусть играет, строит из кубиков и дощечек домики. Девочки могут наряжать кукол. Кто хочет рисовать, для тех в детском саду есть цветные карандаши и бумага. Из глины можно лепить разные фигурки. Чтобы не пачкать рубашек и платьев, вот вам фартучки. Будем разучивать песни и водить хороводы. В 12 часов — обед, а после него на мягких тюфячках и подушечках можете отдохнуть, полежать и даже поспать.

Слушая меня, родители улыбались, шутили:

— Ты хочешь, Родион Михалыч, сделать из наших карапузов царских детей... При таких забавах их и домой не затащишь.

После моего слова мальчики устремились к строительному материалу, девочки — к куклам и другим игрушкам. Тем, которые не знали, что делать, предложил цветные карандаши и бумагу, другим серую пасту для лепки. Некоторые хотели сразу перепробовать все — и рисование, и лепку, и строительство из кубиков.

В играх и занятиях прошло больше часа. После этого предложил все положить на свои места и стал разучивать с детьми песенку: «Что мы видели на улице». Пение сопровождалось движениями. Нужно было показывать, как идут с ружьями солдаты, дворник метет улицу, охотник стреляет в зайца, дровосек рубит дрова, шалун отдавил себе бревном ногу, кошка подралась с Жучкой, сторож звонит на колокольне и как народ пляшет под гармонь. Я показывал все движения детям, а они со смехом повторяли за мною. Смеялись и зрители.

В первый день на обед были мясные щи и пшенная каша с маслом. Ели дети с аппетитом, родители завидовали и хотели попробовать угощенье.

— Хочешь, мама? Покушай.

Слово «покушай» в деревнях понимается, как «попробуй». Родители подходили к детям, задевали ложкой щи и восторгались.

— Ну, почему мы не маленькие? Сидели бы сейчас за столами, а Родион Михайлович ухаживал бы за нами.

Еще больше удивили всех полосатые тюфячки и розовые подушечки.

— Чего удостоились?... Не жизнь, а земной рай!..

— Ну, теперь мы поедем домой. Когда приехать за «царскими детьми» ?

— В три часа.

— Я домой не поеду.

— Я — тоже!

Это шумели дети, лежа на тюфячках.

— Давайте попробовать — ничего не говорить, не шуметь с полчасика. Кто сумеет промолчать, получит награду.

— Какую?

— Леденец.

— Я сумею!

— Я тоже!

— А я и подавно, потому что не люблю болтать!

— После того, как скажу «раз, два, три», все должны замолчать, а то не получите награды. «Раз, два, три!»

Водворилась тишина. Семилетняя девочка Дуня, которой хотелось засмеяться, закрывала рот обеими руками. Глядя на нее, тоже стали делать другие. Но смех прорывался сквозь прижатые ко рту пальцы. Большинство так и не могло заснуть: уж очень много было необычных впечатлений за такое короткое время.

Когда стало вечереть, к дому подъезжали подводы. Мороз усиливался. Входившие отцы и матери вносили теплые овчинные тулупы.

— Мы не поедем домой! — хором закричали дети.

Один из отцов спросил:

— Вы любите дядю Родю?

— Да.

— Значит, пожалейте его: он для вас варил щи и кашу, забавлял вас целый день, надо же ему отдохнуть, а вы и ночью хотите мучить его... Надо поиметь совесть.

Внушение подействовало: дети стали нехотя собираться. Уходя, говорили по совету родителей:

— До свиданья, дядя Родя!

В тот день я лег во втором часу ночи. При свете мышиного глазка надо было подробно описать в дневнике открытие детского сада. Настроение было хорошее. Вот последняя фраза записи: «Я вероятно прирожденный воспитатель. Педагогика — моя сфера. Ничего другого мне не нужно. Только бы не повредили злые силы».

Через неделю начались метели. Я думал, что посещаемость резко сократится. Опасения были напрасны. Детский сад так захватил детей и их родителей, что морозы и вьюги никого не останавливали.

ГОСТЬЯ

Через десять дней после начала занятий приехала знаменитая гостья на перекладных из Самары, за 100 верст. Это была заведующая губернским дошкольным отделом Полина Шнейдер. Ее густые черные волосы, похожие на войлок, были коротко пострижены. Она была в пенсне, высокого роста, не выговаривала букву «р».

— Приехала посмотреть на «Единственного», как мы в Губоно называем вас. Любопытство съедало меня и я не могла удержаться, хотя пассажирские поезда не ходят. В пути пять раз меняла лошадей, три раза ночевала в крестьянскх избах. Меня заносила метель и леденил мороз, но я все претерпела ради вас.

— И вдруг разочаруетсь? Чем я тогда возмещу ваши лишения?

— О, нет, разочарования вы от меня не дождетесь.

В первые два дня по приезде Полины Шнейдер у меня еще не было прислуги. Упросил заведующую школой — приютить самарскую гостью, которая приходила в детский сад вместе с детьми. Она сказала детям, что ее звут «Тетя Полина». Имя запомнилось легко. Самая старшая девочка, смешная Дуня, сказала:

— У меня сестра Кулина, а вы — Полина.

Гостья привезла нам цветных карандашей, картинок для переснимания книг для раскрашивания, пасту

для лепки, несколько новых кукол с закрывающимися глазами.

В течение дня она охотно помогала мне: рассказывала детям сказки, рисовала вместе с ними, лепила, играла с девочками в куклы. Хороводы мы водили вместе. Движения, которые я показывал детям, гостье было трудно выполнять из-за полноты. Шустрая Дуня подсказала ей:

— Тетя Полина, глядите на меня и делайте вот так.

— И рада бы, да не получается.

— Да, — вздохнула Дуня, — большим это трудно, только нашему дяде Роде все нипочем, он даже умеет варить щи и кашу.

— Ваш дядя Родя — золото, — поддержала мой авторитет Полина Шнейдер.

В хорошую погоду мы отправлялись все вместе на прогулку. Когда шел влажный снег, играли в снежки.

Отпустив детей, по вечерам, при свете мышиного глазка мы говорили об искусстве воспитания, которое похоже на вдохновенное творчество. Мы делали выводы, что для успеха в деле воспитания необходимо следующее: душевный неугасающий огонь, любовь к своему делу, специальная подготовка, дух изобретательства, превращение во многие моменты в ребенка, жертвенность, окрыленность, работа над собой, чтение специальной литературы, занятие гимнастикой, чтоб дети не поднимали воспитателя на смех.

— Этот камушек в мой огород, — вздыхала гостья, — ах, если б вы знали, как не хочется мне уезжать от вас... Обещаю вам поместить в «Волжской коммуне» статью не только о «Единственном», но и «Неповторимом»... Вы — поэт своего дела, вы — творец, неиссякаемый фонтан, неопалимая купина.

— Полина Львовна, а ведь многие считают меня белой вороной, залетевшей в воспитательские хоромы.

— И пусть их — думают о вас, что угодно. Вы — сами себе свой высший суд, как сказал Пушкин. «Услышишь суд глупца и смех толпы холодной»... Это судьба не только поэтов, но всех, кто дерзает, кто что-то создает, наперекор общепринятым истинам. Я вас не променяю ни на одну из самых известных воспитательниц-дошкольниц.

— Спасибо за вашу доброту и жертвенность. Приехать зимой в наши края, в такое время — великий подвиг.

Вскоре по возвращении в Самару Полина Шнейдер поместила в газете статью: «Песталоцци наших дней», в которой сравнивала меня со знаменитым швейцарским педагогом. Это подняло мой дух, окрылило, притно опьянило. Такие оценки — это подкладывание сучьев в костер, на поляне. Пламя усиливается, поднимается до верхушек деревьев, освещая темные уголки дремучего леса.

ПРИСЛУГА ВАРЯ

Прислугой в детский сад вскоре нанялась девушка, которую за странную форму головы прозвали «Семиглавкой». Она была когда то горничной у богатых людей в Самаре и потому считала себя интеллигенткой. В простоте душевной она давала мне советы даже о воспитании. Тон ее нравоучений был торжественный не допускавший возражений. Она часто вспоминала свое недавнее величие. Ах, куда все это улетело? С какой важностью она бывало приезжала на побывку в родное село, какую корчила из себя барыню! Когда появлялось желание — пополоть огуречные грядки, мать расстилала на земле самодельный коврик, чтоб дочка не испачкалась о деревенскую землю. Когда парило солнце, гостья распускала во время прополки голубой зонтик над мудреной прической. Белыми пальчиками вытягивала с грядок по одной травиночке. У плетня собиралась туча мальчишек и девчонок.

— Ой, глядите, глядите, небесный растопыр с кисточкой!..

В праздник к гостье подходили девушки, трогали пальцами ее наряды удивлялись, она им предлагала:

— Девчаты, пойдемте на пейзаж, нарвемте анемонов.

— Слова-то какие, индо сердце замирает, — думали сверстницы, — а что мы знаем? Всю жизнь в деревне киснем, от овец и коров — никакой отлички.

Станут бывало спрашивать у нее о городе а она тут же речь на женихов переводит: их столько, что и по пальцам не сочтешь и все, словно картинки ходя-

чие. Один три факультета превзошел, на «похитрического» доктора учится, подарил отдир косорядого шелку арбузного цвета, а живет в доме с балфоном и ерандой, а в саду заграничные цветы, как в ранжирее...

А что теперь? Снова деревня. Вихри разметали всех кавалеров и ухажоров. Темнота и скука. Нанимаясь прислугой, заявила:

— Я к вам, Родион Михалыч, поступаю для развлечения... Вас не применить к другим, вы, как и я, все понимаете.

— Не все, Варя, признался я, — в городе жить не приходилось.

— Ну, ладно, что не поймете, подскажу вам.

— Спасибо, Варя.

АНЮТА И РОМАНЮК

Я дружил с доброй, несчастной девушкой из богатой семьи. Она была горбуньей. Их большой дом смотрел окнами на площадь. Я шел в этот дом отдохнуть душой на мягком диване в большом зале, уставленном всевозможными цветами. Удивление вызывал многолетний фикус в большой деревянной кадке.

Девушку звали Анютой. Она была внучкой знаменитого лекаря Кузьмича, к которому когда-то ехали больные со всей России.

Анюта была неравнодушна ко мне, но скрывала свою любовь. Сидя со мной рядом на диване, она играла на гитаре старинные вальсы или рассказывала о своей тяжелой жизни. Ей хотелось, чтобы я был хорошо одет, чтобы держался с достоинством, не спешил, изменил походку, придав ей больше солидности. Я читал ей свои стихи, рассказывал об усталости, о планах любительских спектаклей, о любви к детям. Все мои враги были и ее врагами. Иону Филлипова она ненавидела.

В 1917 году, во время подготовки выборов в Учредительное собрание, с нею и со мною познакомился красивый молодой человек Алексей Романюк. Он был беженцем из Польши. Позже переехал в Самару, вступил в партию и сделал большую карьеру. Когда приезжал из Самары, проводил у Анюты целые дни. Упоминаю об Анюте и Романюке потому, что они будут действующими лицами этого повествования.

ВОЛК

Я работал, горел, вдохновлялся, не щадил времени и сил, а мой враг расставлял для меня силки и капканы, распространял клевету, подготовлял мое физическое уничтожение, предварительно решив уничтожить мой авторитет. Иона Филиппов не дремал, изобретая каверзы против человека, который спал не более пяти часов, думая о благе для родного села.

Зимние холода сменились весенним теплом, таял снег, побежали ручьи. Посещение детского сада детьми резко сократилось. Я это объяснял тем, что у детей нет крепкой обуви, чтобы одолевать глубокие лужи на улице. Вместо 30 теперь приходило восемь или девять человек. Утешался тем, что после распутья все прибегут снова. Ходить по домам и выяснять, почему дети не посещают детского сада, было некогда.

Но вот уже зазеленела первая трава, просохли все тропки, а дети не возвращались. Чтобы это значило?

Как то вечером я решил навестить свою семью, жившую на другом конце села. Домой шел задней улицей, или, как у нас говорят, «задами». В одном месте из-за плетня кто-то крикнул:

— Волк!

Я не придал значения этому выкрику. Через несколько шагов снова:

— Волк! Волк!..

Уж не по моему ли это адресу? — подумал я с тревогой. Замедлив шаги, стал оглядываться.

— Волк! Волк! — слышались разноголосные выкрики.

По интонациям можно было понять, что кричат дети и подростки. Теперь было ясно, что «Волк» — это я. Но почему «Волк»? и почему эта кличка возникла только теперь, после пяти месяцев моей работы?

Придя домой, я ничего не сказал о выкриках отцу, матери, сестре, снохе и племянникам. За ужином у меня стали спрашивать:

— Ты не захворал?

— А что?

— Да уж больно невеселый.

За окнами послышался странный шум, какой бывает

во время кулачного боя. Большая толпа прихлынула к избе и стала орать:

— Волк! Волчище! Наелся человечины!..

Отец и сестра, вооружившись ухватами, вышли на улицу. Толпа с гиканьем, завываньем и улюлюканьем отпрянула. Издали доносилось:

— У-у-! У-у-у!..

Кричавшие подражали волчьему завыванью.

— Тебе нельзя идти в детский сад, оставайся ночевать дома, — сказала сестра.

— Да, одному идти опасно... Но вы проводите меня.

Отец взял молоток, сестра — толстую дубовую скалку. Я пошел в середине, как арестованный под конвоем. Ночь была светлая. Нас видели издали толпы молодежи. Боясь приблизиться, укали, мычали, издавали неприличные звуки. Отец и сестра тряслись от возмущения и злости, а я с грустью думал о том, что «пророку нет чести в своем отечестве». Вот я трачу силы для этих людей, готовлю спектакли, концерты, открыл детский сад, но что заслужил? Всеобщую насмешку, уканье, издевательство. И это лишь начало. Надругательство будет усиливаться с каждым днем и часом. Кем-то дан сигнал к моему моральному уничтожению.

В тот вечер я почему-то не подумал, что он исходит от Филиппова. Но сделал вывод, что малая посещаемость сада связана с этой кличкой.

Когда уканья повторялись вновь и вновь, отца все больше лихорадило.

— Сейчас подойду и оглушу стервецов молотком.

Я хватал его за руку.

— Не надо... будем делать вид, что не слышим, что это относится не к нам.

Сестра плакала:

— И зачем ты приехал в Виловатое? Разве тут люди?... Одно зверье!.. И кто тебя надоумил возиться с мелюзгою?.. Видишь, что получилось?

Отец и сестра довели меня до крыльца детского сада. Постучали в дверь. Открыла Варя.

— Это вы, Родион Михалыч? А тут творилось заграничное землетрясение... Целая орда обступила детский сад и на разные голоса верещала: «Волк — волчище, серый хвостище, острый зубище»...

— Разве можно тебе оставаться одному в таком доме? — забеспокоились отец и сестра.

— Родион Михалыч не один, у него есть телохранительница, — важно сказала Варя.

— Что вы можете сделать с целой оравой?

— Батя, давай вот что сделаем, — предложила сестра, — ночуем у Родиона: туфяков и подушек у него много, а чуть свет — вернемся домой.

— Это можно, — согласился отец, — но что подумают дома? За нами пошлют в розыски... будут трепыхаться...

— Ну посидим хоть с полчаса, — сказала сестра.

— Плохо, что на окнах нет ставен, — пожалел отец, — ведь хулиганы могут их раздребезжить в мелкие стеклышки.

— Но ведь дом казенный, не посмеют вероятно...

— Таким головорезам и своего не жалко, не то что казенного добра.

Не зажигая мышиного глазка, мы сидели вчетвером и горевали. Лунный свет заливал большой зал детского сада. Хулиганы больше не подбегали.

— Идите домой степью, а то и вам будут укать.

— Пусть попробуют, я им так укну, что не поздоровится.

— Не связывайтесь с ними... рукоприкладство повредит и вам и мне... Надо что-то придумать...

ХУЛИГАНЫ РАСПОЯСАЛИСЬ

С этого вечера началась моя Голгофа. Мне уже нельзя было показываться нигде не только вечером, но даже в сумерки. Находились смельчаки, которые кричали «Волк» даже днем. Меня травило все село, но за что, я пока не знал.

На другой день я сидел вечером в своей комнате и писал. По площади пробежало несколько человек. Трах!.. Тяжелый камень разбил окно над моей головой. Звон стекла разбудил прислугу.

— Это что же такое — осада Перемышля? — с важностью спросила Варя.

— Проще, Варя — это разбой.

Мы закрыли окно детскими тюфяками. У меня дрожали руки.

— Как видно, сживают со света, — думал я.

Варя крыла на чем свет стоит «неотесанную деревенщину».

— Не оставляйте этого дела, завтра же заявите начальству, покажите камень, приведите сюда, пусть сами увидят разбитое окно и взгреют эту контру.

— Но ведь никто не захвачен. Начальство будет только довольно: оно же всеми силами противилось открытию детского сада.

— Небось есть начальство и повыше нашего, можно в Самару пожаловаться, а коль Самара не поможет, в Москву написать... В Москве то у людей на плечах не чурбаны, а головы, а в головах не мякина иль солома набита, а ученые мозги... Такие мозги не сравнить с чурбанскими.

ПРИЧИНА БОЙКОТА

Утром, когда я играл с небольшой группой детей, в кухне кто-то раскатисто, неудержимо захохотал. Пришлось выйти из главного зала. Смеялась Варя.

— Почему вам так весело?

— Да ведь как же не смеяться? Тут хоть кто не утерпит, даже святой угодник. Послушайте только, что говорит эта тетка.

В кухне стояла с виноватым видом мать одного из моих питомцев, который бросил ходить в детский сад.

— Почему вы держите Володю дома? Ему очень нравилось в детском саду, он много раз просил меня чтобы я оставил его на ночь.

Женщина покраснела, еще ниже склонила голову:

— Не обессудьте, Родион Михалыч, нехороший слух идет про вас по всему Виловатому... потому и боязно пускать к вам детей...

— Какой слух?

— Будто вы сбесились и загрызли на смерть двух детей.

— Чьи же это дети? Где они живут?

— Говорят — в мордовском конце... две девчонки...

— И вы поверили этому? Ведь если бы это было в

действительности, я бы давно сидел за тюремной решеткой.

— А может быть власть не дозналась покуда?

В кухню прибежали дети.

— Вот какое дурачье, — изрекла шустрая Дуня.

— Никому не верьте и присылайте своего мальчика.

— Да он-то давно к вам рвется, а нам было боязно.

Теперь были понятны выкрики «Волк» и уканье молодежи. Перед вечером я решил проведать родных. Шел задней улицей. В одном месте ко мне боязливо приблизилась девочка лет восьми.

— Родион Михалыч, зачем ты загрыз двух девчонок? Ведь им больно было.

— Кто тебе, милая, сказал об этом?

— Весь народ болтает.

— Где же эти девочки жили?

— На конце.

— Может быть ты знаешь, как зовут этих девочек?

— Катькой и Аленкой.

— Твой отец с матерью тоже так думают?

— Да, и они, и бабушка с дедушкой и брат Васька и сестра Ольгутка.

— Скажи им, что это неправда. А тех, кто так говорит, будут арестовывать и сажать в тюрьму.

— Обязательно скажу.

Я вернулся в детский сад. Спать лег раньше обычного, но заснуть не мог. Что делать? Как бороться с клеветой ?

В волостном исполнительном комитете, где я был днем, отнеслись к моему сообщению с насмешкой:

— В деревне у каждого человека прозвище — не «Волк», так «Заяц», не «Заяц», так «Ворона»... Вон Лизара Говорухина дразнят прозвищем «Тпру»... Ничего страшного в этом нет, а человек делается бешеным, как только кто-нибудь крикнет «Тпру»... Готов убить обидчика. Смотри, не сделайся другим Лизаром.

— А разбитое окно? А этот камень?

— Каменюка, правда, увесистая и с острыми углами... видно — в голову метились, но это ж простое озорство... Теперешняя молодежь без узды, ну вот и потешается.

— Хорошо бы поднять этот вопрос на общем сходе.

— Тогда вреда будет еще больше... Сейчас ты как будто плюешь на это, а когда будут знать, что обижаешься, проходу не будут давать.

МАЗАНЫЕ ВОРОТА

Об этом разговоре с начальством я думал бессонной ночью. Задремал только под утро, когда не нужно было спать, чтобы остановить новое хулиганство: широкие ворота детского сада были измазаны дегтем. Дегтярными буквами было написано: «Горбаткин полюбовник». Надпись была грамотная, только вместо «любовник» стояло «полюбовник».

В деревне ворота мазали дегтем тем, кто незаконно сожительствовал с кем-нибудь. Измазать дегтем ворота — это пригвоздить человека к позорному столбу. На такого все показывают пальцем, от него отворачиваются, дурная слава распространяется за пределы села, по базарам и ярмаркам.

Я мог ожидать всего, только не этого. Пошел сказать Анюте. Она ухватилась за голову. «За что? За что? Господи, пошли мне смерть, возьми меня с этой земли», — застонала несчастная. Ее отец взял скребки, острые ножи, рубанок и поплелся соскабливать позорную надпись. Подходили любопытные. Большинство на словах сочувствовало мне, а что было в мыслях у людей, я не знал. Бесчинства последних дней подорвали доверие к людям.

К приходу детей буквы были соскоблены. Надо было начинать занятия, веселить малышей песнями, рассказывать им сказки, делать вид, что ничего не случилось. Больше всего терзала душу человеческая неблагодарность. Люди мне казались свиньями, подрывающими корни того дуба, желудями которого они питались. Я отдавал своим односельчанам всего себя: свою молодость, энергию, сон, воодушевление, творческое изобретательство, а чем они платили мне за это?

Мои дневники теперь были заполнены строками отчаяния, раскаяния, недоумения. Жаль было родных, которые страдали из-за меня даже больше, чем я, сердце разрывалось от жалости к пришибленной, убогой Анюте. «Песталоцци», как назвала меня в газетной статье По-

лина Шнейдер, все больше превращался в затравленного зайца. Со всех сторон псы, стрелки, одичавшие охотники, выстрелы, гиканье.

Увы, это было лишь начало, это были цветочки, за которыми вскоре последовали горькие ягодки, полные отравы.

НА ПАСХАЛЬНОЙ НЕДЕЛЕ

Наступила Пасха. Занятия в детском саду прекратились на десять дней. Большую часть времени я проводил в родной семье, куда ходил теперь не задней улицей, а степью.

Детский сад был возле гумен, за которыми простирался ровный зеленый выгон, где бродили телята и одинокие лошади.

Домашние животные не знали о моей драме, они не преследовали меня. Я завидовал им и даже сусликам, бегавшим по зеленому простору или стоявшим на задних лапках возле норок. Что мне делать, на что решиться, я пока еще не знал. Знакомые крестьяне, хорошо относившиеся ко мне, советовали не обращать внимания на хулиганов. Но как оставаться равнодушным, когда злые собаки рвут твои штаны? А те, которые травили меня, были не лучше собак.

Домой я возвращался тоже степью, уже к вечеру.

На высокой колокольне всю неделю трезвонили. Там собиралось много молодежи, подростков, детей. Завидев меня издали, шедшего переулком, звонари прекращали трезвон и хором на разные голоса, что есть мочи, орали:

— Волк! Волк! Волк!

Одни это слово произносили густыми басовитыми голосами, подражая большому колоколу, другие пищали дискантами, изображая маленькие колокола.

Однажды я решил обезоружить озорников ласковым словом. Подойдя близко к колокольне, я громко крикнул:

— Здраствуйте, ребята!

Сначала все смутились, попрятались. Но через минуту вперед вышел какой-то верзила и рявкнул:

— Здраствуй, волчище, серый хвостище!

— А где же этот волчище?

— А ты разве не волчище?

— Почему же я волчище?

— Потому что загрызаешь до смерти детей.

С колокольни раздался хохот, свист, улюлюканье. Добрые слова не возымели действия на распоясавшуюся дикость. Мне хотелось теперь ходить в шапке-невидимке или совсем удалиться из Виловатого.

ПИСЬМО ОТ РОМАНЮКА

В это время в соседнем селе, в семи верстах от нашего, оказался Алексей Романюк. Он возвращался из Узбекистана, где командовал отрядом по борьбе с басмачами. У него был мандат — расстреливать бандитов без суда и следствия.

Вероятно ему кто-то сказал о травле, которой я подвергался в родном селе. Он решил помочь мне. С человеком, приехавшим на базар, была передана записка: «Родион Милайлович, слышал, как над вами издеваются. Сообщите, кто инициатор травли и мы расправимся с ни по законам революционного времени. Ваш А. Романюк».

В тот же день в детский сад прибежала девушка — член драматического кружка. Лицо ее горело, на глазах были слезы. Ей трудно было отдышаться:

— Ох, Родион Михайлович, что я узнала сейчас!.. Знаете, кто пустил про вас сплетню, что вы загрызли на смерть детей? Иона Пудилыч!.. Шла сейчас улицей, гляжу — возле одного дома видимо-невидимо народу. Подошла. А там в середине он, как сатана: «Долго будете терпеть этого волка? Хотите, чтобы он всех ваших детей перегрыз? Не знаете, что он сумасшедшей породы?» Кое-кто не поверил, стали спрашивать, как это случилось? А он говорит: «Рассказывал он детям сказку про «Красную Шапочку», как волк загрыз девочку. Ну, вот он и решил разыграть волка: схватил девочку и сначала будто в шутку щелкнул зубами над детской шеей... А в этот момент в голове у него затуманилось и он впился в шею зубами, как настоящий волк... Загрыз одну, схватил другую»... — «Брешешь, Пудилыч, — говорили ему, — если бы такое было, давно бы Родион Михалыч сидел в тюрьме... сказку ты сплел, только концов с концами не свел».. — «Не верите?... Пого-

дите... Дождетесь, что всех перегрызет»...

Узнав об этом, я пошел домой — посоветоваться. Сестра позвала на совет брата Павла, жившего отдельно. Он был силачом.

— Убить этого стервеца и никаких разговоров, — сказал зловеще брат.

— Что ты, Павел? Выкинь это из головы.

— Ну, так он тебя ухайдакает!

НОЧНОЕ НАПАДЕНИЕ

В детский сад я возвращался в 2 часа ночи. На улице не было слышно ни песен, ни гармошки. Никто не крикнул мне «Волк». Стал пересекать церковную площадь. Вдруг кто-то выбежал из тени, бросаемой огромной церковью и устремился ко мне. Над моей головой был занесен топор:

— Подыхай, сволочь!

Что есть мочи я закричал:

— Караул!..

Подбежали парень и девушка, сидевшие неподалеку на крылечке.

— Что такое?

— Сейчас Иона Филиппов хотел убить меня топором... Если б он подкрался тихонько, я был бы убит... Сышите?..

— Да, кто-то убегает к мордовскому концу... Ах, сукин сын!.. Чем вы ему помешали? Мы проводим вас до детского сада.

— Спасибо, — сказал я, хотя зубы мои стучали, как при сильной лихорадке. Предсказание брата чуть не сбылось. Надо скорее бежать подальше от змеиного логова!..

200 ВИНТОВОК

До утра я не мог сомкнуть глаз. Чуть свет встал. Качаясь от усталости и нервного потрясения, пошел к Анюте и ее отцу — рассказать о ночном нападении. Они были уже на ногах. Слушая меня, тряслись от возмущения. К 8 часам мне нужно было вернуться на работу.

Пересекая площадь, я увидел сотни две допризыв-

ников, съехавшихся из всех деревень волости на военную подготовку. У каждого в руках была винтовка. Кто-то кричал:

— Ребята, глядите — волк! Надо его пристрелить, а то всех искусает!

В это время я был возле школы, в которой когда-то учился. Допризывники присели на корточки, направив на меня дула винтовок. Они щелкали затворами, как будто готовясь сделать залп. Я знал, что винтовки не заряжены, что расстреливали они меня только символически, но мне в этот момент хотелось умереть по-настоящему... Закружилась голова, затряслись ноги. Я был близок к обмороку. Остановился, ухватившись за кирпичный фундамент. Стоял несколько минут.

Командир допризывников крикнул:

— Довольно хулиганства!..

Я был благодарен этому человеку: нашелся один из двухсот с добрым сердцем. Хотелось подойти к нему и пожать руку. Но надо было идти в детский сад на веселую работу с детьми, которые остались верными своему «дяде Роде».

Я плелся, как древний старик, каждую минуту думая: «Не дойду... упаду»... Дети отвлекли меня от скорби. Их голоса и улыбки были целебным бальзамом для страждущего сердца.

ВТОРОЕ ПИСЬМО

После трех дней от Романюка была прислана вторая записка: «Родион, почему молчите? Я пробуду в этих краях еще три дня. Хочется повидаться с вами. Как-нибудь выкрою полдня и нагряну в Виловатое. Не бойтесь назвать инициатора травли. Бешеных собак надо уничтожать. А. Романюк».

— Вот когда ты попал в мои руки, — подумал я со злорадством.

Романюк не побоится расстрелять негодяя Филиппова.. Что для этого нужно сделать? Только написать три слова: «Зачинщик травли — Иона». И человека не будет на свете. Его жена учительница будет вдовой, а девочка, моя воспитанница — сиротой. Что же мне делать — написать или умолчать? Чтобы придти к ка-

кому-то решению, пошел в степь. Зеленый простор. Белые точки цветущего, душистого клевера. Поющие жаворонки. Тишина. Умиротворение. Но в моей душе не было мира. Две силы боролись в ней. Одну силу можно было назвать жалостью или милосердием, другую — мстительностью. Пощадить или уничтожить? Пощадить? Того, кто сделал меня чудовищем для родного села, кто занес топор над моей головой? Пощадить этого негодяя для того, чтобы он в конце-концов уничтожил меня?

Но у него жена и дочь — моя воспитанница. Она не пропустила ни одного дня, она ласкова со мною... и вот эту девочку — осиротить? Дать волю чувству мстительности?

Другой голос возражал:

— Хочешь пожалеть? Ну, так заранее жалей себя, потому что этот страшный человек тем или иным способом уничтожит тебя!

Три часа ходил степью, удивлялся: откуда сила в ногах? Темное начало одержало верх: написал подробное письмо Романюку, рассказав о всех мерзостях Филиппова. Прислугу Варю послал за той девушкой, которая рассказала, как Иона уговаривал крестьян — скорее покончить со мною. Девушка пришла.

— Маруся, у меня к вам большая просьба: завтра утром сходите в Богатое и передайте эту записку Алексею Романюку. Она не в конверте, потому что у меня нет конвертов, она просто завернута в бумагу... Вероятно вас одолеет любопытство и вы захотите прочесть ее... Пообещайте — никому не рассказывать, что написано в записке.

— Провалиться мне сквозь землю, если кому-нибудь проболтаюсь!

ГАДИНА ИЗВИВАЕТСЯ

Записка была отдана. Судьба Филиппова была решена. Но мое торжество победителя было не полным: время от времени к сердцу подступали, как волны, угрызения совести. Зачем я это сделал? Лучше бы мне уехать из Виловатого, оставив этого негодяя в живых.

Просыпаясь несколько раз ночью, молился:

— Боже, сделай так, как Тебе угодно.

Утром пришли дети. Начались веселые занятия. Для начала мы водили хоровод с движениями. Вдруг распахнулась дверь и в комнату вбежали Филиппов и его жена. Он сразу бухнулся передо мной на колени:

— Родион Михалыч, что вы сделали? Зачем написали обо мне Романюку? Он расстреляет меня сегодня же... Напишите другое письмо... пожалейте меня...

— А вы меня жалели? Кто возбудил все село против меня? Кто придумал небылицу, что я сбесился и загрыз на смерть двух девочек? Кто занес топор над моей головой возле церкви?

— Неужели вы думаете, что это было серьезно?... Все это были только шутки!

— Шутки с травлей, с задуманным убийством, с разбиванием окон, с измазанными дегтем воротами?... С каких это пор сатанинские проделки стали называться шутками? Вы — негодяй, ничтожество, ядовитая змея, которую надо раздавить!.. Не мешайте нам заниматься...

Но он продолжал ползать передо мною на коленях, хватал меня за ноги, целовал мои штаны, руки, он рыдал, стонал, умолял:

— Пожалейте... простите... Лена, становись и ты на колени...

И вот гордая особа, которая никогда не назвала меня по имени, теперь стояла на коленях рядом с мужем. Я для нее был уже не коллегой...

— Собрат... Родион Михалыч, вы не способны на жестокость... Деточка, проси и ты дядю Родю, — говорила мать своей девочке.

Белокурая малышка прижалась ко мне:

— Дядя Родя, не расстреливай папу!..

— Довольно... встаньте... Я напишу другую записку... Маруся ушла вероятно недавно... Догоните ее, скачите за ней верхом на лошади!.. Найдите жеребца порезвее!..

Записка была короткой: «Маруся, письма Романюку передавать не нужно. Вернитесь домой. Я простил Филиппова».

А через пять минут в окно было видно, как на рыжем жеребце пролетел Филиппов в сторону села Богатого. Марусю он догнал в версте от цели, вручил мою

записку. Просил дать ему письмо Романюку. Но Маруся сказала: «В записке ничего не сказано, чтобы я отдала вам письмо». Он упрашивал, обещал ценный подарок — Маруся осталась непоколебимой.

С моей души свалился тяжелый камень — Бог пожалел меня.

ВСТРЕЧА С РОМАНЮКОМ

Романюк приехал, но не для экзекуции над Филипповым, а чтобы повидаться с Анютой и со мною. Когда мы втроем сидели на диване, он послал за счетоводом. Тот пришел — состарившийся, с землистым лицом, с трясущимися руками. Остановился пришибленным у двери, сказал невнятно «Здравствуйте», но на его приветствие никто не ответил. Романюк обратился ко мне:

— Может быть, Родион Михайлович, передумаете? Таких людей надо уничтожать, как бешеных волков, как ядовитых змей, а вы сжалились... Кого вы пожалели?

— У него жена и дети... это пойдет ему на пользу... в будущем он вероятно станет настоящим человеком... После прощения не бывает возмездия... пусть живет, а я уеду из Виловатого, чтобы никому не мешать..

— Пасуете перед ничтожеством?... Жаль... жаль...

Романюк достал из кобуры револьвер и положил рядом с собою. Филиппов вздрогнул.

— Не пугайте человека, — сказал я шутливым тоном.

— Не человека, а бешеного шакала... Ну, вот что, супчик, — обратился Романюк к счетоводу, — если только кто-нибудь крикнет на Родиона Михайловича — «Волк,» если только кто-то бросит камень в окно, если кто-то вздумает заняться дегтярным художеством на воротах, ты будешь в тот же день превращен в пыль, стерт в порошок, смешан с грязью... Понял?

Филиппов кивнул головой.

— Запомнишь?

Снова кивок .

— Что обещаешь?

— Ничего плохого больше не будет!..

— А теперь — вон отсюда, гадина!..

Страшный человек не вышел, а вылетел. Мы видели

в окно, как к нему приблизились жена и дочь: они ждали возле дома, не решаясь войти.

Через две недели я уехал из Виловатого в Самару. Вместо меня в детский сад назначили двух воспитательниц.

ПРОРОКУ НЕТ МЕСТА В ОТЕЧЕСТВЕ

Об этом сказал Христос. Это подтвердилось на моем печальном опыте. Пришлец, чужой человек, ничтожество, хищник, подхалим, изобретатель мерзостей, олицетворение тьмы — восторжествовал над своим, который с раннего детства потешал земляков пляской, песнями, а позже спектаклями, концертами и детским садом.

Меня травили парни и девушки, женатые и замужние. Многие старики не останавливали хулиганов — значит были на их стороне. Меня защищали единицы — возмущенные, недоумевающие, страдающие. А большинство? Ежедневно оно расстреливало меня, бичевало, распинало.

Я покинул родное село с мыслью — никогда в него не возвращаться. Раны мне были нанесены на всю жизнь. Я понял тогда, как страшен русский человек во власти темной силы.

Обещание было нарушено через пять лет. Я вернулся на родину писателем, автором книги: «О чем шепчет деревня». В ней была глава: «Волк».

Односельчане вместе с гордостью, что из их среды вышел писатель, переживали стыд за недавнее всеобщее издевательство надо мною.

— Неужели простишь?

Такой вопрос задавали многие.

Время залечивает раны. Но рубец в душе остался.

О, как часто (к счастью не всегда и не везде) русский человек, лишь фомально считающийся христианином, страшен в своей безумной бесчеловечности.

Защитники нашего народа советуют в таких случаях вспоминать молитву Христа за Своих распинателей: «Боже прости им, ибо не ведают, что творят».

Будто бы и все жестокосердные тоже не отдают отчета в своих действиях. Но практика жизни и психо-

логические исследования показывают, что почти всякий план мести, травли, нападок, осмеяния, заушательства — продуман и разработан в мельчайших деталях.

Бывает, конечно, и так, что темной силой, распоясавшейся в своей жестокости, умело и хитро командует кто-то один. Он спаивает толпу сивухой ненависти и тогда она ради удовольствия, развлечения, сомнительного молодечества — готова на все. Так было в моем родном селе Виловатове. И все же эти орды хулиганов ведали, что творили. Простить их было трудно. Но я простил. Вспоминаются строки Бальмонта:

Как будто душа
О желанном просила.
Но сделали ей
Незаслуженно больно.
И сердце простило,
Но сердце застыло,
И плачет, и плачет,
И плачет невольно.

ОАЗИСЫ В ПУСТЫНЕ

Столкновение с Ионой Филипповым — одно из страшных потрясений моей жизни. Драма перевернула мою душу. После этого люди для меня уже не были однородной массой. Я разделил их на два сорта: на подлинно людей со всеми положительными качествами, которые присущи человеку, и на страшных. Страшные — это завистники, ненавистники, клеветники, изобретатели каверз, наветов, орудий мести, это носители злобы, бешенства, корыстные существа, убийцы, готовые к любой низости и подлости.

Человечество можно сравнить с лесом. Чего только нет в лесу: благоухание и гниение, пение соловья и карканье вороны... В лесу бегают невинные зайцы и ползают ядовитые змеи, рыскают голодные волки.

Тоже и в человеческом обществе.

В лесу не безопасно, особенно в сумерки и ночью. Среди людей тоже нужно ходить с оглядкой. Вчерашние приятели завтра могут превратиться в непримиримых врагов. Коварство подстерегает на каждом шагу. Грубость, как ветер с севера, леденит душу. Зависть строит

засады. Мстительность натачивает ножи. Притворство расставляет сети. Миазмы сплетен отравляют воздух. Страшно жить среди людей.

Человеческое общество — это, зачастую, духовная пустыня. Друг — оазис в пустыне. Хотя бы один!.. И уже можно жить. Можно делиться замыслами, горем, радостью, искать утешения в минуту безысходности, бесприютности, отчаяния.

Счастлив тот, кто бредя по пустыне, именуемой жизнью, увидит на горизонте такой оазис и поспешит к нему. Там он найдет воду для утоления жажды, благодатную тень среди палящего зноя, сладкие финики после изнурительных странствий.

Все может дать оазис, всем облагодетельствует друг.

Страшно разочароваться в жизни. А разочарование — это вывод, что друзей в наше время почти нет. Может быть их было много когда-то, а теперь они перевелись. Друзьями могут быть книги, цветы, деревья, птичка в клетке, домашняя собака, ласковая кошка.

Друзьями иногда бывают родители, братья, сестры, но жизнь складывается так, что с ними наступает минута расставанья в поисках того поля, на котором предстоит трудиться до конца своих дней.

То, что называют дружбой, чаще всего — добрые отношения, приличие, приятельство, средство от скуки.

Истинному другу можно было бы открыть все закоулки души, а хорошему знакомому человек виден только с фасада, с внешности. В недра нашего «Я» входы для приятелей закрыты. Эти недра знает Бог и мы сами.

Каждому человеку хочется обрести друга, но как мучительно трудны эти поиски.

Одиночество — бич, гроза человечества. Где одиночество — там частая гостья тоска. А тоскующий человек — несчастный человек.

О, как мне знакома тоска во всех видах. Тоска бывает такой сильной, что причиняет даже физическую боль.

Почему люди плачут, читая грустные страницы книги и безотрадные размышления о жизни? Потому что в описываемых мыслях и чувствах они узнают себя.

Нет ничего нового под луной. История вечно повторяется. Отдаленные наши предки переживали те же

муки, которые не дают забвения в наше время, в век удивительных скоростей, атомной энергии, невиданных машин и чарующего комфорта.

Человеческая природа не изменилась. Во все века были благородные люди и злодеи, было самопожертвование и хищничество, были свет и тьма, святость и грех, вершины и бездны, бальзам и отрава, любовь и ненависть.

Превратить все человечество в братство, где все любят друг друга без задних мыслей и притворства — мечта, идеал. А идеал — недостижим. Братьями люди не будут никогда. В мире вечно будут Каины, Хамы, Иуды наряду с мучениками, святыми, великими, чистыми.

До столкновения с Филипповым я был наивным юношей, после этой драмы стал взрослым человеком. Мои глаза открылись на мир и я пришел к выводу: жизнь не устроена, всюду много ужасного, страшного, леденящего душу. В молитвах я просил: «Боже, избавь меня от таких людей в дальнейшем». Бог знает больше, что нужно человеку для приобретения мудрости. Страшные люди становились на моем пути и в дальнейшем. Но их отстраняли —хорошие, отзывчивые, жертвенные. Не будь их, разве я дожил бы до этого времени?

1967 г.
Брайт

СУДЬБА ГРАЧЕВА

ЗНАКОМСТВО С ДЕВУШКОЙ

Воинская часть, в которую был зачислен Степан Грачев, находилась на окраине Москвы. По воскресеньям, в зимнюю пору, красноармейцы отправлялись с утра на «лыжные вылазки». Однажды Степан далеко опередил своих товарищей и очутился возле соснового бора, который заканчивался крутым обрывом с торчащими из снега черными пнями. На пнях были затверделые снежные шапочки, похожие на береты.

Степан услышал женские голоса и остановился. А через несколько минут он оказался невольным свидетелем катастрофы. Девушка в голубом свитре и в красной шапочке, спускаясь на лыжах с горы, не удержалась. Одна лыжа укатилась вниз, другая остановилась у пня, а сама девушка, перевернувшись несколько раз, очутилась возле бурного, не замерзающего потока.

Видя это, к ней поспешили три подружки, но Сте-

пан приблизился к пострадавшей раньше остальных и оказал ей первую помощь.

— Я провожу вас домой, обопритесь на мою руку.

Девушка хотела сдержать стоны, но они вырывались невольно из груди. Подружки поднесли ей обе лыжи. Она всунула в них ноги. Пошли все вместе в сторону Покровского-Стрешнева.

Так началось знакомство молодого человека с девушкой. Ее звали Дуней. У нее были русые косы. Степан был брюнет.

Дуня гостила в Москве у дальних родственников. Красноармеец стал часто навещать небольшой уютный домик, где его встречали, как хорошего знакомого. Дядя и тетка Дуни полюбили услужливого, любознательного юношу, увлекавшегося чтением книг и мечтавшего заняться образцовым сельским хозяйством по окончании военной службы. Этот срок приближался. И однажды, за чашкой чая, Степан застенчиво признался:

— Не хотелось бы расставаться с Дуней...

Девушка вспыхнула от смущения. Дядя и тетка стали улыбаться.

— Что ж молчишь? — спросили у нее, — а ты хотела бы расстаться со Степой?

— Нет...

— Ну, вот и хорошо, — обрадовались родственники.

— Только я не хочу ехать в Воронежскую область, — сразу предупредила Дуня, — там степи, а я люблю наши костромские леса, луга, реки и озера.

— Ну, что ж, поедем в Костромскую, если она больше тебе по душе, чем Воронежская, — согласился Степан.

С того вечера Дуня стала счастливой невестой, а Степан — еще более счастливым женихом.

ГРУСТЬ И РАДОСТЬ

Родители Степана погибли во время гражданской войны, когда село, где они жили, очутилось в перекрестном огне красных и белых. После этого мальчика взяла к себе замужняя сестра Наталья. Брат вырос на ее глазах — покорный, старательный, пытливый. У сестры было двое своих сыновей, но к Степану, как к сироте,

она была всегда привязана больше, чем к своим детям.

Провожая его в красную армию, она проливала горькие слезы. А перед его посадкой на поезд так крепко обняла брата, что глядя на эту картину расставания, прослезились другие родственники.

После она рассказывала соседкам, что видела плохой сон, который не предвещал ничего доброго.

Степан часто писал ей со службы. Наталья считала месяцы и дни, ожидая его возращения. Но вместо свиданья пришло письмо, в котором брат написал, что женится и уезжает с женою на ее родину — в Костромскую губернию. Вместо того, чтобы порадоваться за близкого человека, сестра принялась голосить, как по покойнику:

«Желанный ты мой, ненаглядный братец, и на кого ты нас спокидаешь? Восплачутся по тебе наши степные просторы, отнимут у тебя радость костромские дремучие леса... Береги себя, братец Степанушко»...

Наталья послала сестринское благословение брату, а за неделю до свадьбы поехала в Москву и остановилась у Дуниных родственников.

Гостей на свадебном торжестве было немного. Невеста очень понравилась Наталье — и видом, и характером, и расторопной услужливостью. Венчание состоялось на окраине Москвы — в маленькой церкви села Всехсвятского. На Дуне было белое платье с фатой. Степан был в синем костюме. Не только знакомые и родственники, но и все посторонние любовались миловидной парой. Молодые были счастливы. Хотелось быть счастливой и Наталье, но она еле владела своим сердцем, с трудом удерживая слезы какого-то страшного предчувствия.

ОТЪЕЗД МОЛОДЫХ

Сестра уговоривала брата — побывать на родине, но Дуня торопила его в село Кострикино, где молодых ждала семья учителя, который воспитал девочку—сиротку.

— Вы приедете к нам, Наташа, говорила Дуня мужниной сестре.

— Мы обязательно построим свой домик, разведем

сад, пчел. Лесу в наших краях много. А сколько рыбы в речках и озерах!.. Сколько всяких ягод в рощах и на полянах! Если не понравится в Кострикино, переедем в Коноплево. Это большое село. Там я могу поступить сестрой милосердия в больницу, а для Степы найдется много должностей. Вы не представляете, Наташа, какая у нас красивая природа.

— А какие у вас люди?

— Люди?

Дуня не сразу ответила на вопрос.

— Люди, правда, темные... живут по старинке... ничего нового не любят...

— Так разве это хорошо?

— Будем со Степой обтесывать их. Выпишем разные журналы. Откроем читальню. Степа умеет хорошо говорить и читать с выражением. Было бы только желание — работать. А такого желания у нас непочатый край!

— Ну, что ж, дай вам Бог счастья и достатка, — сказала на прощанье Наталья, когда Степан и Дуня провожали ее на Казанском вокзале.

В последние минуты, сдерживая слезы, сестра спросила у брата:

— Ну, а ты сам-то с какими мыслями изменяешь родине?

— Не говори так, Наташа... Родина моя — вся Россия, а Воронежская и Костромская губернии — лишь два уголка этого большого дома. С Дуней мне везде будет хорошо. Я думаю, как она.

— Ну, совет вам да любовь.

На прощанье крепко обнялись, расцеловались, не удержались от молчаливых слез и только когда поезд тронулся, Наталья дала волю рыданьям и воплям. Она махала платочком в открытое окно вагона, махали и они, но их платочков она не видела: туман слезной тоски заслонил для нее весь мир: она потеряла любимого, дорогого, единственного брата.

В ЛЕСНОЙ ГЛУШИ

После женитьбы Степан и Дуня в Москве оставались недолго. Ни у него, ни у нее не было желанья — ос-

таваться в столице. Их тянула земля, природа, им обоим казалось, что только вдали от центра страны они могут развернуть все свои способности по переустройству жизни на новых началах. Московские Дунины родственники дали им взаймы 300 рублей.

— Уплатите, когда разбогатеете.

При расставании на Ярославском вокзале не плакали.

— Верим, что вы хорошо устроитесь, — сказал дядя.

— Хорошим людям — везде хорошо, — добавила тетя.

В дороге Степан и Дуня почти не отрывали глаз от окна, за которым мелькали картины родины. Радовали деревни, леса в весенних нарядах, ветла вдоль речек, дым из печных труд, толпы детей возле железнодорожного полотна, ароматы цветущей черемухи, птички на телеграфных проводах.

Во многих местах рядом с достаком была бедность: покосившиеся избушки под соломенной кровлей, залатанная одежда на людях, тощий скот на пастбищах.

— После разрухи страна еще не успела окрепнуть, — по митинговому говорил Степан, — но через год-два все раны будут залечены, все дыры заштопаны... Нам бояться нечего: все хорошее впереди!

Дуня глядела на Степана и думала: какой он хороший, умный, сильный, развитой! Оба они были похожи на Ангелов, согретых одним желанием: осчастливливать не только себя, но всех, с кем встретятся на жизненных дорогах.

До конечной станции ехали дольше суток. До села Кострикина от железной дороги было пятнадцать километров. За прибывшими выехал Дунин воспитатель — учитель Сергей Иванович. Это был уже не молодой человек высокого роста с седыми длинными волосами и пожелтевшей от махорочного дыма бородой. Дуня познакомила его с мужем. И старая дырявая телега и рыжая тощая лощадь — были собственностью учителя. Для мягкости в экипаж было положено много сена, прикрытого грубым веретьем.

Немного отъехав от безлюдной станции, очутились в густом смешанном лесу. Пахло елями, березами, черемухой. Дорога была в ямах, буграх, колдобинах, мес-

тами под водой, еще державшейся после весеннего таянья. Телега подпрыгивала, скрипела, колеса вязли в грязи, лошаденка быстро вспотела.

— Дорога еще не обсохла, зимой было много снегу, — объяснял возница, оправдывая неудобство путешествия.

Степан загрустил: если у образованного человека лошадь и телега в таком нерадении, то в каком же виде они у крестьян?

— Смотри, Степа, какой густой лес... Тут как будто всегда ночь, — радовалась Дуня.

— Это верно: как видно, мы едем в царство ночи.

— На что ты намекаешь? — спросила жена.

— На тьму в человеческих мозгах.

— Народ свыкся с вековечной тьмой и она его ничуть не беспокоит, — сказал учитель.

— А вас? — не удержался от вопроса Степан.

— Я учу детей грамоте. Это моя главная обязанность. А просвещением мозгов пусть занимается батюшка... Летом у меня много забот с малиной и черной смородиной...

— Вы ходите в лес за этими ягодами?

— Нет, насажал возле своего дома. В лес ходить не безопасно: в наших краях много волков. Так я развел ягодник рядом с жильем.

— Лошадь у вас неважная...

— Это порода такая: справной никогда не бывает.

— А телега тоже скрипучей породы?

— Ездить часто не приходится, вот и рассохлась.

— А мне все нравится, — радовалась Дуня, — в Москве такой натуральности не встретишь.

На расстоянии пятнадцати километров не увидели ни одной деревни, но три раза проезжали по шатким мостикам без перил. Мостики были застланы не досками, а круглыми жердочками. И подпорки и настилы ходили ходуном. На последнем мосту лошадь застряла копытами между жердей. Учитель хлестнул мочальным кнутом. Лошадь провалилась передними ногами до колен. Пришлось всем троим сойти с телеги и помочь застрявшей.

— Вот и приключение, — смеялась Дуня, — как в Америке!

— Скорее, как в древней Руси, еще до татарского

нашествия... А ведь уже седьмой год Советского строя.

Степан спросил у Сергея Иваныча о местной власти — сельской и районной:

— Вероятно все партийцы?

— Ну, а как же, без этого теперь нельзя... Но вся их партийность липовая: называются большевиками, а детей крестят, в переднем углу полно икон с лампадкой, а главное развлечение — самогон... Дерутся до умопомрачения. Лютость — сильнее волчьей.

— Вы пробовали вразумлять людей?

— Даже и не думал. Зачем? Такими они родились, такими уйдут на тот свет.

— Ваши рассуждения меня удивляют. Я бы не мог жить в таком окружении. И чувствую, что не смогу. Сколько теперь печатается газет, книг, журналов — неужели сюда ничто не доходит?

— У нас тут больше всего любят газеты на тонкой бумаге, потому что она очень хороша для козьих ножек. Читать у нас не любят.

Степан тяжело вздохнул: вот куда его заманила Дуня.

НА НОВОМ МЕСТЕ

В Кострикино прибыли перед вечером. Жена учителя-такая же старая, как и он, похожая на деревенскую бабу, истопила баню, чтоб гости «смыли московскую и дорожную пыль», — как выразилась она.

Баня была светлая, просторная. Мытье в ней и Степан и Дуня восприняли, как первую радость за этот долгий день. Для мытья головы был приготовлен щелок из березовой золы. С мылом в селе были трудности.

После бани и чая с сухой малиной и ржаными коржиками на сметане решили пройтись по селу. Оно было расположено в два порядка вблизи реки с крутым берегом. В конце села голубел небольшой купол деревянной церковки с невысокой колокольней и белыми стенами. В ограде церкви цвела сирень.

Деревянная школа с шестью окнами помещалась неподалеку от церкви. Дом учителя с большим ягодным садом примыкал к школе. Три дома духовенства вытянулись в одну линию — для священника большой в окружении лип, для дьякона — поменьше с душистыми

тополями, для псаломщика хибарка с двумя окнами. В палисаднике возле хибарки цвела желтая акация.

Избы села казались родными сестрами: все одинаковые, трехоконные, с соломенными и камышевыми кровлями. Дворы были обнесены плетнями, а кое-где досчатыми заборами.

Людей на улице встретили много — пожилых, молодых, детей. Никто не здоровался с приезжими. Они первые кланялись и говорили: «Добрый вечер». Эти два непривычных слова кое-кого удивляли, а большинство — смешили. Один белобрысый верзила ухмыльнулся и спросил:

— Почему думаете, что он добрый? А может злой-презлой?

Степан с улыбкой сказал:

— Небо голубое... ветра нет... все цветет — откуда ж взяться злости?

Спросил, где сельсовет?

— Вон там, на краю села, на пригорке. Видишь красный флаг? Это и есть сельсовет.

— Разве сегодня праздник? По какому случаю поднят флаг?

— А у нас его никогда не снимают. Он уже растрепался на ленточки. Новый из района не присылают. А нам какая забота — вывешивать свой? Район верховодит, так пускай и о флаге думает.

Это был новый некрашеный дом с тесовой кровлей, еще пахнущий сосною. Вошли внутрь. Помещение было разгорожено барьером на две неравных половины: маленькая для посетителей, большая — для начальства. Два больших бумажных портрета Ленина и Калинина были без рамок. Прибитые к стене гвоздиками посредине, они загнулись краями внутрь и были похожи на два почти сомкнувшихся цилиндра. На это прежде всего обратил внимание Степан.

За широким, ничем не покрытым столом у барьера сидел рыжий человек лет тридцати пяти — с пышными усами и густыми огненными бровями. Степан невольно вспомнил сатану на картине страшного суда в церковном притворе родного села Воронежской области. Тот был такой же огненный. Здешнему не хватало только двух черных тупых рогов, какие бывают у молодых бычков.

— Здравствуйте, товарищ, — поздоровался Степан. Дуня молча поклонилась.

Рыжий оторвался от бумаги, держа в руках зеленую ручку с маленьким перышком и поднял глаза на вошедших. Не ответив на приветствие, сухо спросил:

— По какому делу?

Степан сказал, что приехал сюда с женой и хотел бы получить землю для постройки дома.

— Согласуем с районом. Подай письменное заявление. Принеси завтра. Сейчас я ухожу домой.

— Спасибо. Как думаете: район не будет затягивать ответа?

— У нас дела делаются без затяжек.

— Это очень хорошо.

— Больше разговаривать не о чем.

— Простите за беспокойство.

— Какое ж беспокойство? На то мы и сидим тут, чтоб давать справки.

— Вы вероятно председатель сельсовета?

— Не ошибся: Иван Лукьянович Очумелов.

— До свиданья, товарищ Очумелов.

Председатель промолчал.

— Ну—ну, — сказал со вздохом Степан, выйдя из сельсовета.

СВОЕ ГНЕЗДО

Ответ из района пришел скоро. Грачеву, как бывшему красноармейцу, отвели довольно большой участок неподалеку от сельсовета. На участке росло несколько березок и елок. Достаточно было и свободной земли для сада, ягодника, огорода и пасеки.

Степан написал сестре письмо с просьбой о денежной помощи, боясь что трехсот рублей полученных от родственников Дуни, не хватит.

Лес был отпущен новоселу в долг. Уплатить нужно было за обоженный кирпич для фундамента и печки, за стекла для окон, за гвозди и краску. Были наняты два плотника. Но больше всех работал сам Степан: рыл ямы, пилил, строгал, конопатил, красил, помогал плотникам — возводить стропила.

Еще не поздно было приготовить землю для огоро-

да. Удивляло, что в Кострикине никто не сажал помидоров, цветной капусты, петрушки, сельдерея, баклажан.

На стройку приходило много любопытных. Удивлялись, судачили, осуждали.

— Вы кажется затеяли усадьбу на господский манер?

— По чертежу строительного журнала, с широкими окнами.

— А сколько ж будет в доме комнат?

— Пять.

— Пять комнат на двоих?

— Да ведь мы только что поженились... У нас все впереди.

— Вон уже и ульи поставлены и пчелы раздобыты. У нас этим никто не занимается.

— Напрасно. Места здесь благодатные, только нужно побольше расторопности.

— Хочешь сказать, что мы лежебоки и лодыри?

— Нисколько. Просто вам никто не говорил о том, как выгодно разводить пчел. А я приехал сюда с одним желанием: трудиться, дорожить временем, брать от природы и от земли все их богатства.

— Значит, задумал разбогатеть на чужой земле?

— Раз земля мне отпущена властью, она уже не чужая. Богатеть не хотим, а просто думаем жить по-человечески.

— А разве мы живем по-зверски?

— Вы живете, как жили ваши прадеды и деды, но жизнь — не камень, который обрастает мохом. Поглядите на дерево — сначала маленькое, потом среднее, под конец большое. Растет, цветет, дает плоды. Так и все мы, так жизнь каждого человека.

— Откуда у тебя такая шустрость?

— Из школы, из красной армии, из газет, книг, журналов.

— По всему видно, что ты приехал нас учить, а нам это не по праву. От нас даже Сергей Иваныч отступился. Учит ребятишек, а с отцами и матерями не связывается. Главный наш указчик — Иван Лукьяныч Очумелов. А ему спускают директивы столичные властители — сначала через Кострому, потом через район. Ты, небось, партейного билета даже не нюхал, а Иван Лу-

кьяныч три года с билетом. Так кого же нам слушать — тебя иль его? Ты, как с неба, к нам свалился, а товарищ Очумелов — здесь зародился, здесь оженился, корни пустил и ветки распушил, а веток у него не мало: семь наследников подрастают и и все до единого про Ленина и Калинина помнят.

— Не мешало бы вам застеклить их и в рамки вставить... Скрючились они у вас, на разрисовку мухам отданы.

— Насчет этого, садовая голова, прикуси язык, потому как это можно и контрой назвать. Разве наши вожди для мушиного ублаготворения власть захватили?

Такие разговоры уже на первых порах по прибытии в Кострикино — не сулили ничего доброго. Планы столкнулись с косностью местных жителей во главе с начальством.

Председатель сельсовета Очумелов — партиец с трехлетним стажем сельского величия — настропалил всех жителей:

— Глядите за этим «калитурником» в оба и обо всем доносите мне. Он хочет искривить нашу вековечную линию, но не на таковских наскочил!

Дом был построен, ограда поставлена. Завели собаку — щенка из породы «Доберман-Пинчер» — черного, с желтыми надглазными пятнами. С некоторым запозданием вырастали рассаду помидоров.

— Если не успеют созреть, замаринуем зеленые.

Остальные овощи тоже немного запоздали: лук, морковь, свекла, огурцы, петрушка, сельдерей, цветная и вилковая капуста.

Вдоль забора посеяли цветы. Перед домом посадили дикий виноград. На большие окна Дуня повесила шторы, а на подоконники поставила горшки с геранью. Дорожка от калитки до сеней была выложена кирпичом на случай ненастья. Казалось бы, что все это должно было склонить жителей села к доброжелательству, но подстрекаемые властью, мужики, бабы и молодежь возненавидели пришельцев. Искаженное слово «калитурник», произнесенное однажды председателем, превратилось в кличку, в клеймо, во что-то позорное. Когда Степан проходил по улице села, дети из-за плетней и заборов выкрикивали на разные голоса:

— Калитурник!.. Калитурник!.. Калитурник!...

— Какое зверье, какая беспросветная неотесанность, — думал с горечью Степан и в душу закрадывались все чаще сомнения в дальнейшем благополучии.

Была куплена лошадь. Завели корову и пару овец. Для кур был построен сарай, обнесенный высокой оградой, чтобы птицы не перелетали в сад, в огород и цветник.

И Степан и Дуня работали с зари до зари. По вечерам читали. От девушки письмоноски кострикинцы узнали, что Грачевы выписывают «Крестьянскую разету», «Известия» и журнал «Сам себе агроном». Из общественной библиотеки в Коноплево брали разные книги. Библиотекарша не раз говорила Грачевым:

— Вы чаще всех меняете книги. Когда успеваете все это прочитывать?

— Вечерами.

— Вероятно сидите до полночи?

— Как придется... Если книга интересная, читаем и за полночь... Ведь книг много, а жизнь короткая, надо торопиться.

ОТКАЗ

Чем больше преуспевали Грачевы во всех начинаниях, тем сильнее разгорался костер сельской необузданности. Почти никто из жителей Кострикина не отвечал на приветствия Степана и Дуни. Они были бельмом на глазу у темных людей.

Грачевы попросили содействия у Сергея Иваныча.

— Внушите школьникам, чтобы они не выкрикивали глупого слова «калитурник».

— Разве это обижает вас? Они же аттестуют вас, как передовых людей.

— Те, которые выкрикивают это слово, придают ему иной смысл. Этим словом нас хотят заклеймить, как чужаков, отщепенцев, ненавидимых.

— Не обращайте внимания. Когда лают чужие собаки, вы же не расстраиваетесь.

— Но все же поговорите с учениками.

— Учитель для них не авторитет.

— Странно... Когда я был в школе, мы боготворили

учителя и каждое его слово было для нас законом.

— В каждом селе свои порядки и традиции.

— Может быть поговорить с батюшкой?

— Думаю, и он ничем не сможет вам помочь.

— Но я все же схожу к нему. Может быть он скажет, за что в Кострикине возненавидели нас.

— Об этом могу сказать и я: за то, что вы — контраст тьмы... Вы — свет, а здесь люди предпочитают тьму. Вы забыли пословицу: «С волками жить — по волчьи выть».

— Значит, надо было и нам стать волками? Неужели вы и священник — тоже волки?

— Отчасти так. Не надо было своей культурностью подчеркивать многовековую отсталость жителей. Ваш свет ослепил людей и за это они возненавидели вас. Вместе с ненавистью пышным цветом расцвела зависть: «Почему у Грачевых красота, а у нас безобразие? Почему у него все клеится, а у нас все разваливается? Почему у него все идет, как по маслу, а у нас тарахтит и скрежещет?»

— Надо внушить этим зверям, чтобы они превратились в людей и дорожили каждой минутой.

— Не вздумайте назвать их зверями — тогда они действительно растерзают вас.

У СВЯЩЕННИКА

Степан и Дуня посетили священника. Это был худенький старичок с трясущимися прозрачными пальцами.

— Давно ли вы тут, батюшка?

— Больше тридцати лет.

— И за эти тридцать лет люди не сделали шага вперед?

— Вы не пытались просвещать их?

— Мое дело — церковные службы и требы. В их семейный быт и в хозяйство я не вмешиваюсь. Душу отвожу только с учителем Сергеем Иванычем: перекидываемся картишками, говорим о болезнях, рассказываем сны, паримся в баньке, кушаем пироги с грибами.

— И выпиваете помаленьку?

Не без этого. Греха в этом не видим, поскольку

Сам Господь претворил воду в вино на брачном пире в Кане Галилейской.

— Не наскучила вам такая жизнь?

— Мы свыклись с нею. А привычка свыше нам дана, как сказал наш великий поэт Пушкин.

— Знаете ли вы о том, что нас здесь травят, ненавидят, обижают, поднимают на смех ?

— Узнал об этом от Сергея Иваныча.

— Не могли бы вы сказать проповедь в церкви о добром отношении к пришельцам?

— Это не входит в круг обязанностей пастыря. Если я вступлюсь за вас, меня возненавидят вместе с вами.

— Значит, вы хотите пройти мимо, как прошел священник мимо умирающего на Иерихонской дороге?

— Откуда вы знаете об этой истории Нового Завета?

— Из сельской школы, которую окончил еще до Советской власти.

— И не забыли?

— Да. И никогда не забуду, как обличение.

— Кого по вашему обличает этот рассказ Христа?

— Всех тех, кому нет дела до страждущих, гонимых, бедствующих... Истекаешь кровью? Ну, что ж, чем скорее вытечет из тела последняя капля крови, тем скорее твоя душа приблизится к Богу... Мне с тобой возиться некогда... А если бы и было время, я должен подумать о своей шкуре: заступничеством за кого-то я могу повредить себе, хотя жить мне на этом свете — считанное время.

— Молодой человек, вы слишком прозрачно обличаете меня... Но зачем мне в считанное, как вы говорите, время навлекать на себя неприятности? Вы молоды и можете легко перенести невзгоды. Молиться о вас я буду, всегда буду поминать о здравии раба Божия Стефана, но молитва моя будет тихой, тайной, негромогласной. Открыто я за вас не выступлю... Ищите милосердного самарянина.

— Трудно теперь найти таких людей в мире. Почти каждый думает о свей шкуре. На земле расплодились шкурники и ненавистники.

— Не будьте дерзким, молодой человек. Слышал, что вы много читаете, значит просвещаете себя. А прос-

вещенная душа не должна быть озлобленной.

— До свиданья, батюшка. После такого разговора с вами как я могу посещать возглавляемые вами богослужения? Ведь они призывают к любви и смирению, но если все это лишь на словах, то грош цена такой проповеди. Какой смысл ее слушать? Так что будет правильней, если скажу вам: «Прощайте»...

— Терпите, молодой человек, ибо претерпевый до конца спасен будет.

ТРАВЛЯ

Гонения, насмешки, вредительство, ненависть против Грачевых усиливались. Их породистая собака на цепи была отравлена. Принявшийся плющ, уже распустивший плети по стенам, был выдернут с корнями и изрублен в куски, оградка вокруг садика и огорода была поломана.

Грачевы кое-как дотянули до зимы. Степан пожаловался председателю районного совета Картузову на хулиганские выходки села Кострикина, но председатель, пожимая плечами и насмешливо улыбаясь, ответил:

— Не вижу в поступках кострикинцев ничего хулиганского. Просто невинные шалости детей.

— Даже отравление собаки?

— Дети просто хотели узнать, выживет она или нет?

— Значит вы омываете руки?

— Они у меня не грязные.

— Вы, значит, заодно с Очумеловым?

— У меня своя голова на плечах.

Теперь вечерами Степан и Дуня меньше читали, а больше обдумывали создавшееся положение. Что им предпринять? Бежать ли из Кострикина или запастись терпением по совету священника?

— Подождем, — говорила Дуня, — вот в феврале наша семья увеличится, может быть это смягчит моих земляков? Прости, что я затащила тебя в такую дичь... не расстраивайся... я стала замечать, что ты не спишь по ночам...

— Если замечаешь, значит тоже не спишь.

— После всякой новой выходки кострикинцев у тебя трясутся руки и губы, ты делаешься сам не свой... те-

перь ты никогда не улыбаешься и часто скрипишь зубами.

— Заскрипишь, когда не видно просвета.

Поздней осенью пять ульев с пчелами были поставлены в утепленный омшаник с глубоким земляным полом. В середине февраля, когда Степан повез Дуню на роды в районный центр, какие-то головорезы сломали ограду, вскрыли ломом дверь омшаника и, вытащив ульи, разбили их, а пчел высыпали на снег. Вернувшись лунной ночью домой, Грачевы увидели на белом фоне снега пять черных кучек, пахнущих медом и воском. Радость от рождения девочки сменилась щемящим горем. Дуня застонала, прижимая к груди малютку. В эти минуты ей показалось, что вот так же могут выкрасть ее дочку и выбросить на снег. Чем помешали ненавистникам пчелы? Зависть кострикинцев распоясывалась все больше. «У нас нет — пусть не будет и у Грачевых!»

Через месяц Степан решил по важному делу съездить в Кострому. Сергея Ивановича и его жену попросил оберегать Дуню с ребенком. Девочку звали Аней.

— Пусть ночуют у нас, — предложил учитель.

— Но тогда ваши звери могут спалить дом.

— Думаю, что до этого не додумаются.

— Такие пойдут на все... Но хорошо смеется тот, кто смеется последним... Как бы не пришлось горько поплакать всем этим бандитам...

— Ты что-то задумал? Не надо сатанеть.

— Когда живешь в окружении злых духов, как самому не заразиться злобой? Что они сделали со мной в короткое время? Я уже не человек...

В Костроме жил друг Степана по военной службе. При его содействии он раздобыл револьвер с запасом пуль. «Если сделают еще какую-нибудь гадость, перестреляю всех, как бешеных собак»!

Степан отсутствовал четыре дня. Когда вернулся, то увидел на стенах дома многочисленные надписи углем: «Калитурник».

— Дикари! — громко крикнул он, сжимая рукоятку револьвера. Хотелось побежать в сельсовет и застрелить Очумелова, но пересилив боль и злобу, сказал:

— Успею!

Когда растаял снег и показалась первая зелень,

коров выгнали в стадо. В первый же день черно-белая «Пестравка» вернулась с пастбища захромавшей на правую переднюю ногу. Корову осмотрели и нашли под копытом три толстых иголки. Степан поднял скандал в сельсовете и позвал во двор свидетелей. С несколькими мужиками и бабами пришел и Очумелов. Был тут и учитель Сергей Иваныч. Корове связали задние ноги. Ее положили на землю.

— Смотрите, что это такое? — спросил Степан, показывая на поврежденную ногу.

— И правда иголки, — сказали бабы, — и как только не жалко было тратить такое добро?

— Наверно подпасок от скуки забавлялся, — изрек председатель.

— Чтоб узнать — выживет или нет? — съязвил Степан.

Тогда стали давать совет пастуху:

— Надери, Ермолаич, уши подпаску, чтоб не охальничал.

Но по выражению лиц мужиков и баб видно было, что все довольны: корова Грачевых выделялась из всего стада породой, сытым видом, молочностью.

В саду Грачевых зацвели посаженные осенью яблони, груши, сливы и вишни. Но радость хозяев была кратковременной. Ночью, проникнув в сад, ненавистники каждое дерево срубили под корень.

Утром Дуня, прижимая к груди четырехмесячную крошку, ходила по садику и голосила, как по умершим детям:

— Красавицы вы мои душистые, сгубили вас лиходеи... чем вы провинились перед их злыми сердцами?

Степан ничего не говорил. Лицо его было похоже на тучу, которая скоро засверкает молниями и загремит громом.

— Тебе надо будет уехать в Кострому, — сказал он в тот вечер жене, — здесь нам не будет жизни. Поезжай на этой же неделе... Корову продадим на базаре в Коноплеве... кур тоже... Наши планы сорвались... Я останусь на короткое время здесь, а потом уедем в Воронежскую область.

Базар бывал по вторникам. На корову и на кур сразу нашлись покупатели.

— Это тебе на жизнь в Костроме, у моих друзей. На первое время хватит, а дальше видно будет... что-нибудь придумаем...

— Надо бы продать и дом и уехать обоим в Москву... Дядя и тетя будут рады.

— Местные жители его не купят — для них он слишком хорош, а ведь они свыклись со стародавним безобразием.

Дуня решила, что ей лучше будет в Москве. На прощанье крепко обнялись. Степан расцеловал жену и дочку.

— Степа, почему у меня на сердце так тяжело? Как будто в нем клубок змей.

— Не убивайся, если со мною случится что-нибудь особенное.

— Не связывайся с дураками, Степа.

— Посмотрю.

МЕСТЬ

Провожая жену, Степан думал:

— Пусть она не видит того, что я сделаю с ними.

План мести был разработан в мельчайших деталях. Исполнение плана было отложено до сенокоса, во время которого почти все взрослое население выезжает на поляны в лес, за 15 верст. Там живут дня три, пока сено не будет скошено и высушено.

И вот почти все выехали из Кострикина. В селе остались дети и старики. В полдень, когда особенно жалят слепни, коров пригнали с пастбища часа на два во дворы.

За несколько дней до этого Степан выстругал длинный березовый шест, обвязал его с одного конца паклей и облил керосином.

Председатель Очумелов тоже был на сенокосе, как на пикнике, где можно погулять вволю, никого не стесняясь.

Как раз в полдень, зарядив револьвер, Степан сел на лошадь и зажег факел. Первым был подожжен сельсовет. После этого мститель поскакал в сторону улицы. Делая зигзаги, он засовывал факел под конек соломенных и камышевых крыш. Напуганные старики и стару-

хи, зная, что имущество спасать нет времени, торопились выгнать со дворов скот, но Степан расстреливал всю живность и снова заряжал револьвер. Ни одного дома не осталось не подожженным. Это был огромный костер мстительности затравленного человека. Сгорело много коров и овец.

Нетронутыми остались школа, церковь и дома духовенства. После всего Степан спалил свой красивый дом, потому что знал: это его последний день в Кострикине.

Сделав страшное дело, мститель удалился в дремучий лес, верст за 10 от села. С ним был мешочек с хлебом. Подспорьем в эту пору могли быть ягоды.

Когда кострикинцы увидели пламя отдаленного пожара, никто не сомневался, что это работа Степана Грачева. Все поспешили домой, но когда вернулись, увидели только пепел, золу, печные трубы и услышали вопли стариков. Было сожжено более восьмидесяти изб и дворов, погибло много скота, пострадало от ожогов восемь человек. Из имущества не удалось спасти ничего: сгорело все до нитки. Осталось только то, что было на людях. Сгорели летние наряды, зимние шубы, холсты, запасы хлеба и крупы.

— Разбойник... душегубец... разул... раздел... оголодил... по миру пустил... некуда преклонить голову, — плакали мужики и бабы.

Рыжего председателя Очумелова больше всего огорчало, что сожжен сельсовет, но немного порадовало то, что своего дома Грачев тоже не пожалел.

Немного придя в себя, огромная толпа ринулась к дому учителя.

— Спалить и его!.. Чем он счастливее нас? Пустить по ветру дома попа, дьякона и псаломщика!.. Почему он их пожалел? Почему они не связали его, когда он совал свой факел под крыши?

Хозяева уцелевших домов вышли к народу. Первым говорил учитель:

— Все это он сделал очень быстро... Я был на ближайшей поляне в лесу... ведь у нас тоже корова... запасал корм на зиму.

— А ты, батюшка, почему не усовестил его?

— Он мчался по селу, как Божия кара... как безрассудная тварь... Это был служитель ада, самого са-

таны... Псаломщик Матвеич зазвонил в колокол, так он пригрозил пристрелить его.

— Что теперь будем делать? Какую змею пригрели на груди!.. На какую беду поселили чужака!..

Никто в эти минуты не вспомнил об издевательствах в течение года над Грачевым, о постоянном надругательстве над ним. Свою вину перед человеком никто не считал преступлением. Метались по пепелищу, свежевали убитых коров и овец, раскапывали угли, качались от горя, не переставая проклинать разбойника и головореза «Грача».

УБЕЖИЩЕ

— В какую сторону он ускакал? — спрашивал Очумелов у духовенства и учителя.

— Туда.

— Наверно в «Волчьи яры»... Не скроется злая тварь!..

Районный центр хотели оповестить о несчастье по телефону, но вместе с сельсоветом сгорел и телефон. Снарядили гонцов — двух молодых парней:

— Скачите что есть духу... расскажите о великой беде, просите, чтоб дали вооруженную облаву... далеко он не мог убежать... Пусть отдадут распоряжение кондукторам на поездах, чтоб вглядывались в каждого чернявого человека...

Степан убежал в такую часть леса, где было много ям, пещер, корневых сплетений. Задолго до дня мести он осмотрел все уголки, которые могут стать пристанищем на первое время. Запаса пуль для револьвера было достаточно, есть смена белья, хлеб, а лесной малины теперь везде, сколько угодно... Как быть с конем? Оставить при себе или отпустить на волю? Он часто ржет, как будто что-то чует... Своим конским голосом может выдать хозяина... Надо отпустить... Иди, куда хочешь... Корма везде много, ручьев — тоже... ешь, пей, а для войны со слепнями у тебя длинный хвост... Волки летом не страшны — для них много всякой другой еды.

При прощании с конем обнял его голову, погладил гриву:

— Спасибо, друг, большую ты мне сослужил служ-

бу, вовеки не забуду! Без тебя я бы не сделал ничего. Ты летал среди огня, как вихрь. А теперь беги, куда хочешь, не забывай горемычного Степана.

Конь долго не отходил от хозяина. Да и куда идти в такой чаще? Тогда Степан ударил его березовой веткой. Конь взглянул с недоумением, как будто спрашивая:

— За что? Или я теперь не нужен тебе?

Отбежал по узкой тропке, оглянулся и наклонил морду, чтоб подкрепиться мягкой зеленой травой, а хозяин побрел в такую чащу, где нет никаких тропинок и повалился на землю.

Что теперь его ожидает? Раскаяния за сделанное не было. Душа еще была сыта злорадством: «Вы сеяли ветер — пожали бурю». Пожалел, что не взял с собой ни одной книги, бумаги и карандаша:

— Какую допустил глупость, но ничего... голова на плечах... мысли со мною... буду вспоминать прошлое и обдумывать будущее... Есть ли оно у меня? Что со мной сделают? Растерзают в клочки? Расстреляют? О помиловании нечего и думать...

Первую ночь провел в пещере. Настелил травы. Заснул быстро. Ночью проснулся от холода и комариных укусов и опять обругал себя:

— Балда, не захватил ничего теплого... да и хлеба взял маловато, а на одной малине долго не протянешь...

Утром разбудили отдаленные голоса.

— Ишут меня!..

Подставил к ушам ладони, чтоб лучше расслышать.

— Неужели Очумелов и Картузов? Им известна каждая тропочка в лесу — они местные жители... Неужели не боятся? Вероятно тоже с оружием?

Голоса приближались:

— Вот его лошадь.

— Значит и он где-то поблизости.

Степан уже видел их — Очумелова, Картузова и начальника райнной милиции. Огонь мстительности с новой силой охватил все существо: убить двух гадин, двух председателей.

Он их видел, они не видели его, только догадывались, что где-то поблизости. Прицелился в Очумелова. Раздался выстрел. Упал начальник милиции. От досады Степан заскрипел зубами. Оба председателя убежали.

А что же будет с убитым? Неужели останется в лесу на съедение муравьям и червям? Рвал на себе волосы от жалости и разочарования. Решил: нужно выбрать себе другое место. Озираясь, держа в руке револьвер, стал раздвигать заросли. Ветки хлестали по лицу. Кое-где ноги затягивало что-то мягкое и топкое. Вспотел. Почувствовал голод. Достал из мешка сухарик. Приостановился. Тихо. Только попискивают птички. Пахнет сыростью.

— Куда иду?...

Добрел до небольшой полянки. С той стороны поваленные деревья вместе с корнями — последствия бурелома.

— Там и укроюсь на день.

Поляну пересекать не стал. К поваленным деревьям прошел по опушке.

— Нет, здесь меня сразу увидят и сцапают.

Пошел дальше в глубь леса. О жене и дочке не думал. Все мысли были о том, как найти надежное укрытие. Вот снова овраг. По дну журчит ручей. Лес вокруг густой. Место удобное. Решил остаток дня провести здесь.

ПОСЛЕ ПОЛНОЧИ

Хлеба и сухарей хватило на пять дней. Оброс. Одичал от страхов облавы. Вспоминал о жене и дочке. Обдумывал, на что решиться. Раскаяния не чувствовал, понимал, что в лесу долго не протянет. На шестой день пришел к выводу, что нужно сдаться. Но кому? Явиться с повинной в Кострикино? Нет, это равносильно самоубийству. Лучше добраться до районного центра, но не днем, а ночью во избежание самосуда. Для этого нужно выбраться из лесной чащи на дорогу и по звездам определить, в каком направлении нужно идти, чтобы попасть в Коноплево?

Шел оглядываясь. Радовался, что принял такое решение. Когда вошел в райнное село, на колокольне раздался один удар.

— Сторож отбил час ночи... может быть направиться к этому сторожу?

В окне районного совета, сквозь кусты, светился огонек ночного дежурства. Приблизился неслышными

шагами к двери, тихо стукнул. Слышал, как внутри кто-то подошел к двери, но ничего не спрашивает. Стукнул еще раз.

— Кто тут?

— Свои... открой...

Дверь со скрипом открылась.

— Я — Грачев...

Молодой человек стремительно отскочил, заметался, подбежал к телефону.

— Не бойся... пока никуда не звони... Не трону тебя пальцем...

— Но можешь поджечь?...

— Не подожгу... Запри меня в каталажку... Не хочу народного самосуда... Пусть меня судят по всем правилам... Замкни меня и никого не впускай. Можешь обыскать меня... видишь — в карманах нет спичек... Возьми револьвер... в нем еще восемь пуль... Утром можешь звонить куда хочешь... В газетах обо мне пишут?

— Во всех. Тебя расстреляют. В Костромской газете твой портрет. Тебя ищут. Всех расспрашивают о тебе. Послан запрос в Воронежскую область Натворил ты делов.

— Они натворил больше.

— Кто?

— Кострикинцы. Они сделали меня сатаной.

— Значит, ты не человек, а сатана? Страшно с тобой оставаться...

— Не бойся, я снова стал человеком, а если обижу тебя, можешь пристрелить: оружие теперь не у меня, а у тебя.

— Ну, хорошо. Ты наверно проголодался? Вот хлеб и молоко. Взял для себя, но есть не хочется.

— Спасибо. Ты — первый человек с сердцем в этих местах. Я это съем в каталажке.

Молодой человек впустил Грачева в комнату с деревянными нарами, с одним маленьким зарешеченным окошком.

— Закуси и сосни. Нужник — рядом...

СУД

Во всех губернских и районных газетах описывалось

«Дело Грачева», как небывалое доселе злодеяние в этих местах. На предприятиях, в учебных заведениях, на фабриках и заводах устраивались митинги, на которых выносились единогласные резолюции: «Смерть бандиту!»

Печальные вести дошли до Степановой сестры Натальи. Теперь ее слезы о брате соединялись с горячей молитвой: «Господи, защити, спаси, зарони жалость в сердца судей».

Дуня наняла хорошего адвоката и уехала в Кострому. Показательный суд был назначен на последние дни сентября в Костромском городском театре. На судебные заседания, происходившие в утренние и дневные часы, пускали всех желающих. Все места были заняты. Запоздавшие толпились в проходах. Степана приводили на суд под охраной военных. Он сильно похудел. Все обращали внимание на его большие темные, слегка ввалившиеся от худобы глаза. Вероятно в тюрьме ему давали возможность побриться и причесать черные волосы перед тем, как вести на суд. Он ничуть не походил на бандита. Скорее это был сильно обиженный судьбою человек.

— Какой он интересный, — шептали женщины.

Дуня приходила на суд вместе с Натальей. Они поочереди держали на руках хорошенькую девочку, похожую на отца.

Свидетелей на суд было вызвано множество: почти все жители села Кострикина, районное начальство, московские родственники Дуни, несколько товарищей Степана по красной армии. Допрашивали Дуню и Наталью.

Допрос свидетелей продолжался несколько дней. По рассказам всех, кто знал подсудимого до переселения в Костромскую губернию, это был милый, добрый, отзывчивый человек, стремившийся к свету и культуре.

Другое утверждали кострикинцы: это злой и нелюдимый дикарь. Вступились за Степана, хотя с оговорками, священник и учитель.

Прокурор настаивал на расстреле. Речь защитника длилась три часа. Говорил он убедительно, взволнованно, рисуя картину нараставшей ненависти всего села, руководимой местным начальством. Неприязнью к пришель-

цу были заражены взрослые и дети. Каждое его улучшение в личном хозяйстве и в быту вызывало всеобщую зависть и ненависть. Ему вредили на каждом шагу: вырывали цветы, ломали ограду, отравили собаку, заморозили пчел, срубили цветущие фруктовые деревья... Ему дали кличку «Калитурник», считая это слово уничтожающим, клеймящим.

Когда защитник приводил многочисленные факты сельской озверелости, раздавались выкрики:

— Позор!..

— Кто виноват в том, что Ангел света постепенно превращался в демона мстителя? Виноваты исключительно жители Кострикина!

Многие, слушая речь защитника, плакали. Дуня и Наталья рыдали. К их воплям присоединялись городские жительницы. Среди судебных заседателей были четыре женщины. Они не раз подносили платочки к глазам.

В заключительном слове Степан сказал, что он ехал в Кострикино с добрыми мыслями и чувствами, но столкнулся с завистью, тьмой, злобой. Все хорошее, что он делал, уничтожалось местными жителями. Виноваты в этом все, но больше всего главари-партийцы — председатели советов — сельского и районного.

— Я никогда не был мстительным. Таким стал только в Кострикине. Жизнь моя кончается. Мне не повезло. Жалко жену, дочку, сестру. Я ничего не прошу. Защитник нарисовал картину страшной беды. Граждане судьи, решайте так, как вам подскажет совесть. Скажу откровенно: жить хочется, ведь я еще, можно сказать, совсем не жил... но это зависит не от меня, а от вас...

Когда суд удалился на совещание, никто из публики не вышел из театра. Все напряженно ждали приговора.

Заседатели совещались почти час. Когда возвращались на сцену, вся публика встала. Степана Грачева приговорили к десяти годам тюремного заключения.

— Спасибо, люди добрые! — крикнул он на весь театр.

Снова заголосили Дуня и Наталья. Вокруг них собралась большая толпа женщин-утешительниц:

— Не убивайтесь: десять лет пролетят, как десять дней!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За хорошее поведение и трудолюбие Степана десятилетний срок заключения был сокращен ему вдвое. Через пять лет, восстановленный во всех гражданских правах, он вышел из тюрьмы и уехал в родное село Воронежской области, где его ждали сестра, жена и шестилетняя дочка — красавица Аня. В селе он пробыл недолго.

Дальнейшая его работа была у всех на виду в Воронеже. Он был одним из работников отдела городского благоустройства. Все положительные человеческие качества вернулись к нему с избытком. Он дорожил временем, много читал, записался в кружок изобретателей.

Кострикинская трагедия вспоминалась, как страшное сновидение. У него в Воронеже родились три сына: Ваня, Вася и Миша. Все были в отца — старательные, послушные, любящие книгу и природу.

1967 г.

Брайт

ПРОСЬБА СОБРАТА

Рядом, в колонне военнопленных, по четыре человека в шеренге, мы шли по дорогам Смоленщины. Было начало октября, необычно холодного в том, незабываемом, году. Это был уже третий день нашего пленения без пищи и воды. Удивляло, как люди могли держаться на ногах, как они могли шагать этими ногами, оставляя позади километр за километром? Правда, многие уже утратили силу и надежду на что-то человеческое. Они таяли, слабели, отставали. Сытые, надменные конвоиры тут же их пристреливали. У многочисленных свидетелей зверства в эти минуты невольно возникал вопрос:

— Чья следующая очередь?

Когда мы проходили деревнями, на нас глядели заплаканные женщины. Что они могли нам предложить? Только воду. Но победители отказывали нам и в этой милости. Женщины и девушки скорбели, вероятно думая о своих близких — сыновьях, мужьях, братьях, женихах, вот так же где-то шагающих по разбитым дорогам родины, ставшей чужим достоянием. Что может быть горестнее сознания — быть пленником, беспомощным существом — на своей земле?

Александр Фоньо, шедший рядом со мною, часто повторял:

— Держите меня крепче под руку... Я слабею... Хочется добраться до цели...

— Какая у вас цель в эти минуты?

— Попить воды, съесть ломтик хлеба и соснуть... Это цель ближайшая. Об отдаленной также никогда не забываю: вернуться в родную семью, увидеть Москву, снова принимать участие в писательских собраниях.

За моими плечами, в походной сумке, еще оставались белые сухари, полученные от старшей сестры накануне боя. Если бы не сухари, мне не пришлось бы писать этих строк: я бы ослабел раньше других и был пристрелен, как сотни моих соотечественников. Но сухари спасли меня, поддержали силы Александра Фоньо и других, шедших возле нас. Можно ли отказать ввалившимся глазам, молча умоляющим хотя бы о крохах, трепещущим пальцам, тянущимся за подаянием? И я давал с радостью, не думая о том, на сколько дней хватит содержимого сумки.

Перед шоссейными дорогами, пересекавшими наш путь, мы останавливались, ожидая, когда пройдут колонны немецких грузовых машин.

— Какая техника, какая организованность, — восхищались мы, — разве может наша расхлябанность одержать победу над порядком и продуманностью?

Воды не было и здесь. И мы думали, что победители ведут нас специально по таким дорогам, где можно умереть от жажды.

Солнце заходило в дымную, разорванную тучу с белыми пятнами.

— Сейчас пойдет снег, — сказал мой сосед, шедший по другую сторону. Будем глотать снежинки, чтобы не пересыхало в горле от усталости и тоски.

И мы снова шли. Густели сумерки. Справа от дороги соблазнял невзрачный кустарник:

— Сбежать? А если увидят, найдут?... В колонне военнопленных еще может быть уцелею, а в этих кустах?... Боже, дай силы добрести!....

Подул ветер — холодный, хлещущий, проникающий до самого тела. Посыпалась крупа, чуть покрупнее манной. Холод приободрил, вытянулись сотни рук — собрать то, чем небо решило утолить нашу всезаслоняющую жажду. Крупинки таяли на руках и мы лизали

свои ладони, как неведомое доселе лакомство.

Нас привели в лагерь, когда уже совсем стемнело. Ввели в широкие распахнутые ворота с наблюдательными вышками справа и слева. Каким-то странным гулом и сотнями маленьких костров встретил нас лагерь. Сразу было трудно понять, что это такое? Но скоро все разъяснилось. Это были тысячи пленных, пригнанных раньше нашего. На широком дворе лагеря они умудрялись находить какие-то палочки и щепочки, делали ямки в земле и разжигали костры, для начала распаливая их бумагой хранившейся для писем на родину. На кирпичиках, Бог весть где находимых, ставили консервные баночки с драгоценной водой, выпрошенной возле кухни. По четыре-пять баночек стояли рядом. Вода уже закипала, но как видно, поступил приказ от высшего начальства — разогнать эти толпы и погасить эти костры. И вот орава солдат, а в придачу к ним русские полицейские из военнопленных, забегали по двору, опрокидывая баночки и затаптывая костры... Нельзя описать негодования и безысходности страдальцев, не успевших воспользоваться кипятком. Зубовный скрежет, ругань, проклятия, угрозы смешались в один общий хор раздавленного бесправия. В ответ на это зазвенели дубовые палки по черепам, послышались выстрелы. Крупа с неба сменилась дождем. Нас погнали в большой сарай без окон, с одной дверью. Нас торопили. Задние напирали на передних. Я очутился у стены. Людские потоки вливались, вернее, ввинчивались, потому что уже все было забито до отказа, а во дворе кричали: «Дайте место другим». «За ночь половина людей будет задавлена»... Так говорили те, которых сдавливали все больше. Что-то подсказало мне: «Вырвись из этого людского месива, если хочешь остаться живым».

Работая руками, ногами, головой, я пробирался к двери. Меня толкали, проклинали, били, а я лез, я, как форель, плыл навстречу бурному течению, готовый прыгнуть даже на верх водопада... И вот уже веет свежим ветром, уже милые дождинки упали на щеки... Сумка со мною. Я цел и невредим. Электричества в лагере нет. Кое-где горят керосиновые плошки. Одноэтажная кирпичная кухня работает. Оттуда доносятся голоса счастливцев, которым удалось «пристроиться». За этой кухней

десятки походных: все варят баланду, готовя к утренней раздаче.

Посреди двора — два кирпичных двухэтажных дома. Они освещены, хотя очень тускло. Может быть в них расположилось немецкое начальство? Что будет со мною, если я проникну в один из этих домов для ночлега? Не пристрелят ли меня сразу, как только я покажусь на глаза людям? С краткой молитвой: «Господи, выручи из беды, спаси для будущего» — подхожу к двери правого дома. Она открыта. Видна лестница на второй этаж. Пахнет лекарствами. Догадываюсь: это госпитали для больных и раненных. Сверху спускается человек. По виду — русский, молодой, лицо доброе, круглое, румяное и, к удивлению, сытое. Значит, и в такое страшное время возможно существование сытых людей, которые как бы отгородились толстой стеною от человеческих страданий.

— Товарищ, вы — русский?

— А то кто же? Только извини пожалуйста: не товарищ!..

— Простите... Еще не отвык от этого слова... да и не знаешь, как теперь обращаться к людям... Господин? Барин? Коллега? Уважаемый? Соотечественник? Ваше благородие?..

— Короче! Что угодно?

— Хотелось бы поговорить с комендантом этого здания.

— На какой предмет?

— По личному делу.

— Вы разве с ним знакомы?

— Немного.

— Степан Петрович, с вами хочет повидаться ваш знакомый!

Розовощекий задержался, глядит вверх, откуда должен появиться комендант. И вот он спускается — не торопясь, важно, еще более красивый, чем первый. Одет, как на парад, как офицер в день производства. В начищенные сапоги можно глядеться вместо зеркала. Галифе из голубого сукна. Новенький френч защитного цвета. На лице — важность вместе с презрением и удивлением. Черный чубчик падает на широкий лоб.

— Это ошибка: я вас никогда не встречал.

— Я тоже, но, к счастью, встретились теперь.

— Что вам угодно?

— Переночевать в этом доме и познакомиться с вами получше, чтобы быть друг другу полезными.

Оба — и розовощекий и черный чубчик принимаются хохотать — долго, с удовольствием, как хохочут в театре, на веселом водевиле.

— Вот видите: польза вам уже налицо — вы посмеялись, а «смех для здоровья, как масло коровье», — любила говорить бабушка.

— Вы знаете, сколько военнопленных в нашем лагере?

— Нет, не знаю.

— Семьдесят тысяч!

— Многовато.

— Представьте, что каждый из этих 70 тысяч будет приходить сюда с просьбой дать ему приют в этом доме.

Я перебил коменданта:

— Пленных много, вижу сам, но вероятно среди них не так уж много...

— Таких, как вы? — не дал мне договорить комендант, — не беспокойтесь: много всякого добра: профессоров, врачей, инженеров.

— Но не думаю, чтобы писателей было много.

— Вы писатель? Как ваше имя?

— Родион Акульшин.

— Акульшин? Так я же читал ваши книги и статьи. а теперь припоминаю. что слушал Вас на литературном вечере в Сочи. Неужели это вы?

— Другого Родиона Акульшина в Советском Союзе не было.

— Для такого человека всегда найдется место... Пойдемте на верх!

Что это было? Это было чудо по милости Божьей

— Господа, вы знаете, кого я привел?.. Писателя!

Мы очутились в помещении для санитаров. Двойные широкие нары. Тепло. Топится сухими дровами голландская печка. На углях котелок с картошкой. Она уже готова. Котелок вынимают из печки, сливают воду, картошку очищают от кожуры, разрезают. На сковородке поджаривают сало и выливают в картошку... Это была

явь, но тогда она казалась вымыслом, фантастикой, красивой небылицей.

— Снимайте свою стеганку, здесь не замерзнете. Располагайтесь поближе к огню. Вот вам ложка. Кушайте.

А где же Александр Фоньо? Неужели в страшном, тесном сарае? Какие приятные сюрпризы иногда преподносит жизнь! После ада сразу земной рай, блаженство, картошка с поджаренным салом. Немного стыдно от сознания, что 70 тысяч человек в жутких условиях, в грязи, в тесноте, в холоде. Кто подкрепит сухарем Александра Фоньо? Какой я счастливый!..

Часов до 12 говорим, вспоминая Москву, Ленинград, литературные вечера, знакомую певицу, исполнительницу русских народных песен — Ольгу Васильевну Ковалеву, хор имени Пятницкого... Читаю санитарам веселые рассказы. Смеются. Как будто нет войны, как будто это не страшный лагерь военнопленных. Один из санитаров — на ночном дежурстве. Занимаю его место — на верхних нарах. Как просторно, как тепло. Как мало нужно человеку, чтобы всем своим существом ощутить с ч а с т ь е!..

Усталость и страхи за последние три дня клонят в сон, но ведь если уснешь, перестанешь переживать это счастье. Ничего подобного еще не было в моей жизни. Сколько было убито в бою, а я уцелел под огнем врага. Сколько подстреленных валяется на дорогах — птицы выклевывают им глаза, дождь омывает их раны, а я здесь — один из 70 тысяч. Я вытянул счастливый билет в лотерее. Билетов миллионы. Почему же именно мне дарована эта милость? Кто позаботился об этом? И я вспоминаю своих сестер, которые вероятно неустанно молятся обо мне. Их молитвы дошли до Бога: брат цел и невредим. Засыпание происходит постепенно, как в детстве, под жужжание материнской прялки. Перед самым погружением в сон вспоминается Александр Фоньо: «Господи, сохрани ему жизнь: у него семья в Москве»...

***

Утром необычайная любезность — и розовощекого

и черного чубчика. Они извиняются за грубость в первые моменты нашей встречи, обещают устроить на работу, угощают где-то раздобытыми кислыми огурцами, хлебом, немецким джемом. В полдень приводят человека в длинной шинели и в фуражке. В правой руке у него толстая, длинная резина, похожая на скалку.

— Устрой этого человека в кухню.

Он подходит близко, дышит мне в лицо табаком, глядит ухмыляясь.

— Говорите — писатель? Это хуже всего. Мне нужны расторопные, сильные, смекалистые. Это ведь не кабинет с письменным столом, а холодная кухня с двадцатью большими котлами. Из-за воды надо драться, потому что ее не хватает.

— Имей в виду, что этот писатель из крестьян, а крестьянин прошел огни, воды и медные трубы. Кто из 70 тысяч догадался придти в наш госпиталь, кроме него? Никто. О чем это свидетельствует? О его сметке.

— Ну, хорошо. А что ты мне дашь? Я без подарка никого на работу не принимаю. Часы есть?

— Были, но когда немецкий солдат вел в штаб, отобрал.

— Вечное перо есть?

— Было, но потерял.

— Так у тебя ничего нет? Значит, и работы для тебя нет.

Я смотрю на него и думаю: «И это человек? И это русский? И это сочувствие чужому горю?»

— Дай-ка я сам пошарю в твоей сумке.

Он взбирается на нары и тянется к моему изголовью. Достал, при всех развязал, растянул верхнюю часть, что-то увидел и радостно смеется:

— Ну, вот, я так и знал, что ты чего-то утаиваешь... Это что?

Он извлекает из сумки флакон одеколона: «Красная Заря».

—Часов у меня по правде сказать уже с полсотни, ручек полторы дюжины, а вот одеколона — ни одной бутылки...

— Я совсем забыл об этом флаконе.

— Забыл или не забыл, а завтра в 5 утра приходи на дневную смену.

Когда он ушел, комендант покачал укоризненно головой:

— Отвратительный мародер!.. Как видно, бывший чекист: жалости к людям — ни капли. Цинизм плещет через край. Не сносить ему головы: когда его раскусят немцы, он будет пристрелен, как бешеная собака. Но пока он в силе, приходится с ним считаться, упрашивать, давать взятки. В кухне он всех безжалостно истязает своей резиновой дубиной. Постараюсь убедить его, чтобы не трогал вас.

Кончается мое суточное блаженство. Завтра надо встать в половине 5-го.

— Чем я смогу отблагодарить вас, друзья?

— Иногда забегайте к нам, чтобы почитать стихи, рассказать о писателях, вспомнить многое приятное из недавнего прошлого.

***

Кухня холодная. Вместо электричества — фонари: «Летучья мышь». Печи дымят. Окна разбиты. Сквозняки. Полумрак. Крик рабочих. Начальник кухни, увидев меня, улыбается:

— Ого, пришел даже раньше — это мне нравится. Будешь работать у этого котла.

Подводит к самому крайнему, возле окна.

— Александр Михайлович, вы здесь? Какими судьбами? Ночевали в сарае?

— Да, стоя всю ночь... Чуть не задавили... Задавленных больше десяти человек. Утром пришел сюда, говорю начальнику: «Возьмите на работу»... — А что у тебя есть?» — «Золотые часы»... — «Покажи»... Показал. Понравились. «Приходи завтра». И вот я здесь. Как хорошо, что мы опять с вами вместе... Почти шепотом говорит: «Если будет спрашивать о моей национальности, говорите «венгерец». А где вы провели эту ночь?

Рассказываю ему о своей сказке. Он рад за меня.

— А теперь мы будем с вами спать в помещении для кухонных работников, давайте займем места рядом. Не сердитесь на меня, что ваша книга была отвергнута издательством: «Советский писатель»... Ведь я, как ди-

ректор не имел решающего голоса... Все зависело от рецензентов...

— Забудем об этом: лагерь военнопленных — не место для сведения прошлых счетов. Самая главная наша забота — уцелеть физически.

— Я видел очень плохой сон, в точности похожий на сон хлебодара из Библии, которому Иосиф предсказал бесславный конец.

— Вы верите в сны?

— Прежде не верил, а в трудные минуты жизни становишься суеверным.

— Я тоже видел сон. Если верить сну, я уцелею.

— Я за свое будущее трепещу...

С нами вместе работали два украинца — грубые, некультурные, бесцеремонные. На нашей обязанности было — сварить за смену два котла баланды. Котел вмещал до 30 ведер воды. Из-за этой воды происходили драки, когда ее подвозили в кадках специально поставленные на это дело военнопленные. Почему так называемые «повара» дрались из-за воды? Потому что никому не хотелось побоев начальника кухни. Мало воды — значит неполный котел. За неполный котел работников кухни драли, как сидоровых коз. Благодаря сильным физически украинцам наш котел всегда был полным.

— Мы натаскали воды, а вы варите баланду и раздувайте дрова!

Толстые поленья были сырые. Став на корточки, мы до изнеможения, до головокружения раздували огонь. Глаза от этого делались красными и беспрестанно слезились. Особенно жалкий вид имел Александр Фоньо: и без того его узкое лицо суживалось еще больше. Он стонал: «Не могу... Буду таскать воду для котла, а вы раздувайте»...

— Попробуй, — смеялись украинцы, — от резиновой дубинки начальника весь будешь в синяках!.. Не с твоей дохлой силенкой воевать из-за воды.

Хлебным складом заведовал инженер из Москвы. От коменданта госпиталя узнал обо мне и подал мысль переводчикам — устроить в их общежитии литературный вечер. После 12 часового рабочего дня мы умылись, побрились и пришли к переводчикам. Это были молодые

немцы из Поволжья. Они знали, что немецкая республика ликвидирована и все немецкие семьи с Поволжья высланы в Сибирь. Эта правительственная кара наложила отпечаток на лица тех, которые здесь были в привилегированном положении: для них готовилась вкусная пища с мясом и картошкой, они ели хлеба вдоволь.

Для нас они приготовили гуляш в таком количестве, какого в нормальное время хватило бы на 10 человек. Мы съели это вдвоем. После этого нужно было говорить, декламировать, петь частушки. Желудки наши были переполнены, а выше желудка, в груди, все еще чувствовался голод. Глаза тоже были не сыты. Мы вероятно съели бы еще столько же.

Александр Фоньо рассказывал о писателях, с которыми он сталкивался, как директор издательства, я прочитал несколько глав из «Страны Муравии» Твардовского, своего «Клоуна», много пел частушек под балалайку. На прощание нам дали по буханке хлеба. Это было дороже гонорара, который я получал за литературные выступления до войны в рабочих клубах и в высших учебных заведениях.

Спали мы, не раздеваясь, на втором ярусе нар, загрызаемые насекомыми. Фоньо храпел и я несколько раз за ночь толкал его в бок. На работу шли неотдохнувшими, натыкаясь в темноте на трупы, выброшенные из бараков.

Через неделю начальник кухни стал приставать ко мне с вопросом:

— Писатель, кто твой дружок-напарник по национальности?

— Венгерец.

— Не валяй дурака... Не всякий живущий в России — русский.

— Я знаю, что он эмигрировал из Венгрии, а кто по национальности, не знаю.

Я смотрел не мигая, не улыбаясь, стараясь загипнотизировать этого человека на добро.

— Глаза как будто не врут, а язык — прикидывается дурачком.

Допросы были ежедневные, неприятные, зловещие. Уходя вечером из кухни, под руку с Александром Фоньо, шептал ему: «Вам бы надо убежать из лагеря — на-

чальник интересуется вашей национальностью»...

— Трудно это... И в побеге — конец, и здесь не жди добра...

Он очень ослабел от надвигавшейся катастрофы. Я старался освобождать его от многого, сочувствовал ему, понимал его и часто задавал вопрос:

— Зачем он пошел добровольцем в «Сталинское ополчение?» Меня принудил к этому бойкот всех московских редакций после того, как я был «пропечатан» в «Правде». А что заставило его, партийного работника — лишиться комфорта московской квартиры, чтобы пережить все ужасы фронта?

Через две недели после начала нашей работы в кухне начальник, потянув его за рукав, куда-то увел. У меня сжалось сердце: конец Александру Фоньо! В одном из помещений друга заставили раздеться и обнаружили, что он — еврей. После этого его вывели во двор. На глазах всех работников кухни начальник приказал ему снять шинель и сапоги. Толкая в шею, он погнал его к погребу, где томились евреи. Их держали до поры, до времени.

— Погиб наш Александр Михайлович, — печально сказали многие, интеллигентные работники кухни.

Вместе с евреями были и некоторые магометане. Казанский татарин был связным между мною и Фоньо. Он приходил с котелком и я наливал в этот котелок баланды погуще, а иногда накладывал кукурузной каши.

— Делайте это поосторожнее, — шептали мне доброжелатели, — если начальник это заметит, то и вас бросит в погреб.

Однажды я получил записку «оттуда» такого содержания:

«Родион Михайлович, я помню ваше прекрасное выступление в театре имени Станиславского, где я работал концертмейстером. Хотелось бы повидаться с вами. Придите, если не грозит вам опасность: как писатель, вы почерпнете много интересного в нашем погребе, где мы, как видно, доживаем последние дни»...

Я посоветовался с друзьями: «Идти или не идти?» Все в один голос сказали: «Не ходите». С татарином я послал записку: «Дорогие друзья, своим посещением я не облегчу вашего положения, а только поврежу и себе

и вам. Сейчас я имею возможность пересылать вам пищу, а когда останусь с вами в наказание за свой визит, мы будем все умирать с голоду».

Евреев держали в погребе недели две с лишним. Сбывается библейский сон Александра Фоньо, — с болью думал я.

В ноябрьское метельное утро мне крикнули:

— Родион, тебя зовет твой друг!..

Я сначала не понял: какой друг меня зовет? Куда зовет? Спросил:

— Где он?

— За дверью.

Я вышел из кухни. Передо мною был Александр Фоньо — в жалких лохмотьях, с тряпками на ногах вместо обуви. Голова повязна грязным платком. Вместо лица — кожа да кости.

— Спасибо, Родион Михайлович, за все доброе, что я видел от вас и на марше и здесь в лагере... Если, Бог даст, попадете в Москву, скажите моей жене, как я погиб...

— Почему вы говорите о гибели? С чего вы это взяли?

— Сейчас нас куда-то поведут... Я выпросился на минутку — проститься с вами...

— Подождите... У меня есть печеные картошки...

Я побежал к котлу. Возле печки лежало с десяток картошек, немного подгорелых, еще теплых. Собрал их в котелок. Подбежал. «Берите»... Он подставил одну из тряпок, какими был прикрыт. Схватил картошку и стал жадно жевать. Из глаз катились крупные слезы.

— Может быть вас просто хотят перевести в другое место?

— Нет... все ясно. Ведь евреи в городе ликвидированы... Теперь наша очередь...

Мы поцеловались. Его губы были холодные, как у трупа. Он заторопился, побежал... выронил картошку... Наклонился, чтобы поднять, уронил еще три... Махнул рукой:

— Бог с ними... все равно через несколько минут — конец.

«Если будете в Москве, скажите моей жене, как я погиб»... Буду ли я в Москве? Увижу ли я жену Александра Михайловича Фоньо? Нужно ли ей рассказывать о печальном конце мужа? Иногда неведение лучше горькой истины.

1963 г.

Санта Барбара.

РОЗА В ЧУЖОМ САДУ

— Приятный человек, — такую оценку дали сотрудники нашего учреждения инженеру Глаголину после нескольких дней совместной с ним работы.

— Мне кажется, будто я всегда знала его, — сказала хрупкая изящная брюнетка Люда, — а ведь это верный признак, что Авенир Петрович — простой, душевный человек. Все злюки, гордецы, воображалы никогда не покажутся давно знакомыми. Обратите внимание на его улыбку — она согревает и обнадеживает. А его глаза! Не напоминают ли они вам цветущий лен? Я уже не говорю о волосах. Так и хочется провести рукой по этому золотистому шелку.

Я постарался сблизиться с новым сотрудником. Меня тянули к нему его душевная мягкость и лирическая настроенность. Мы без конца вспоминали о любимой Волге, на берегах которой выросли — он неподалеку от Симбирска, я — в окрестностях Самары. Нашу дружбу скрепляло и общее горе: мы ничего не знали о наших семьях.

В летние месяцы, по воскресеньям, мы уходили за город, чтобы отрешиться хоть на несколько часов от тяжелых впечатлений, навеваемых развалинами, пустырями, следами дневных и ночных бомбардировок.

— Смотрите, смотрите, — восклицал он, протяги-

вая вперед руки, — разве это не напоминает вам родные места? Лес, холмы, долины... Боже, как хороша Россия! Никакие красоты Запада не согреют душу русского человека так, как согревают покорные всем ветрам березки, синеющие дали, убогие деревеньки, стога душистого сена. А Волга? Я представляю, как моя жена с сынишкой и маленькой дочуркой выходят на берег красавицы реки и, прислушиваясь к плеску волн, мечтают о встрече.

— У вас двое детей? — как-то спросил я.

— Когда меня отправляли на фронт, был только один пятилетний мальчик, но через два месяца ожидался другой ребенок. Мне и жене хотелось, чтобы это была девочка.

— Вам не удалось узнать, кто родился?

— К сожалению, нет. В первые дни войны жена уехала из Москвы в родные места, на Волгу. Я успел получить от нее только одну открытку. Вот она.

Открытка была самая обыкновенная, но для Авенира Петровича она была дорога, как последняя память о жене и сыне.

— Обратите внимание на приписку внизу: «Привет дорогому папочке. Игорек».

Я представил, как мать посадила на колени сынишку, дала ему карандаш и, подложив книгу, стала водить его рученкой по открытке.

— Вы успели ответить на привет сына?

— Да, но не знаю, получено ли мое письмо.

Мы часто пытались нарисовать картину встречи с близкими после войны. Когда это будет — летом или зимой, днем или ночью?

— Однажды я поехал в командировку в глухой район Казахстана и там тяжело заболел. Меня положили в больницу. Придя на короткое время в сознание, я попросил дать телеграмму жене. Текста телеграммы мне не показали. Только потом я узнал, что она была составлена очень неумело. «Ваш муж тяжело болен» и больше ни слова, ни адреса для ответа, ни успокоения, что я в больнице. Целый месяц я находился при смерти. Едва поднявшись после болезни, я поспешил домой, хотя меня все уговаривали повременить с отъездом, чтобы окрепнуть силами.

«Жив, здоров, еду домой», — телеграфировал я жене. Поезд пришел в Москву в третьем часу ночи. Сентябрь был на исходе. Погода стояла холодная. Я поспешил домой — наша квартира была недалеко от вокзала. Прихожу, звоню — никакого ответа. Стучу. Выходит удивленная соседка по квартире, ужасается и радуется, видя меня, и сообщает, что жена с сыном на даче в Лосиноостровской, у сестры.

— А моя телеграмма о том, что я еду?

— Такой телеграммы не было. Правда, месяца полтора тому назад жена получила известье, что вы тяжело заболели и чуть не сошла с ума.

После рассказа соседки мое сердце готово было разорваться. Выбегаю на улицу, разыскиваю такси Шофер по моей просьбе мчится с предельной скоростью. Голова кружится, а все существо пронизано истомой нетерпения: «Чувствуют ли они, что я приближаюсь к ним?»

Вот белая угловая дача. Дует ветер, срывая с деревьев листья в палисаднике. Одно из окон слабо освещено. Что это значит? Ведь сейчас, в четвертом часу утра, самый крепкий сон. Уж не заболел ли сынишка? А может быть тоска свалила с ног жену? Окно завешено шторой. Сую шоферу деньги и подхожу к дому. Хочется крикнуть: «Я жив, я приехал!» Но вместо этого я один раз ударяю в окно и в ту же минуту слышу звонкий голосок сына: «Это папочка!»

Не буду вам подробно описывать встречи. Можете сами представить ее. Жена повисла у меня на груди и долго не могла сказать ни слова. Когда я сжал в объятиях сынишку, он, обвив меня рученками, сказал:

— Это я разбудил маму.

— Да, да, — радостно начала рассказывать жена, — минут за пятнадцть до твоего приезда вдруг будит меня и говорит: «Мамочка, в нам едет папочка». — «Почему ты так думаешь?» — «Сон увидел, что папочка едет к нам на машине»...

Вот с таким же нетерпением, нет, еще с большим, мы будем стремиться к своим семьям после войны. Только бы сердце не разорвалось от радости в эти минуты. Три души будут дожидаться меня. Где произойдет вс-

треча? Они ли вернутся в Москву, или мне придется ехать на Волгу?

К этой теме мы возвращались неоднократно во время встреч за городом.

Наши сослуживицы женщины часто заводили шутливые разговоры о том, что жить бобылем, когда жизнь так коротка, не только не мудро, но даже преступно. Одиночество в такое тяжелое время угнетает. И если представляется малейшая возможность чем-то скрасить свое сиротство, надо воспользоваться этим.

Люда, выполнявшая обязанности секретаря у Авенира Петровича, была предупредительно внимательна к нему. Она держалась очень скромно, даже как будто застенчиво в присутствии своего начальника.

Я заметил, что с назначением к нам Глаголина Люда стала больше, чем всегда, следить за собой.

— Какая ты нарядница, — говорили ей все наши женщины, — как ты умудряешься шить платье за платьем в такое время?

— Они у меня сшиты до войны и, к счастью, не сгорели во время бомбежек и пожаров.

— Чем не пара? — шепнула мне однажды пожилая Мария Сергеевна, показывая на Люду и Авенира Петровича, когда те, сидя рядом за столом, разбирали какие-то бумаги.

— Да... но ведь он женат, — возразил я.

— Ну, и что же? Ведь люди то живые. Сердце то хочет ласки. Где его жена? Когда он увидит ее? Вы, конечно, начнете сейчас лекцию о верности. Но не считаете ли вы, что верность в некоторых случах — не доблесть, а глупость? Неужели, проходя по чужому саду и видя распустившиеся розы, вы побоялись бы их понюхать только потому, что где-то далеко у вас есть свой сад с почти такими же розами?

— Понюхать может быть и не побоялся бы, но рвать не стал.

— Почему? Ну, почему? — настойчиво допрашивала Мария Сергеевна.

— Потому что эти розы расцвели не для меня и потому, что у меня есть свой сад.

— Но ведь когда вы вернетесь к себе, ваши розы могут уже отцвести. Признайтесь: вы настроены так

потому, что уже распростились с молодостью. Ваше сердце уже остыло. А молодость — это бабочка: увидела красивый цветок и прильнула к нему. Полюбуйтесь ими, — снова указала она на Люду и Авенира Петровича, сидевших за столом в конце комнаты и не слышавших нашего тихого разговора, — и он и она — красавцы, у обоих чуткие души и даже в манерах инженера и его секретаря есть что-то общее. Они рождены друг для друга.

В рассуждениях и даже в тоне Марии Сергеевны было немало цинизма видавшей виды женщины. Чувствовалось, что она сорвала не один цветок в чужих садах и теперь отказалась от этого только потому, что была почти беззубой, со сморщенным истасканным лицом. Только в маленьких бегающих глазах еще тлели порою угольки развязной нескромности и желание посводничать.

— Если вы свои доводы за срывание чужих роз повторите им, то можете наделать много беды, — сказал я.

— А вы думаете, я не говорила им об этом?

— Ну, и как же они отнеслись к вашим внушениям?

— Улыбались, но улыбки были не простые, а с краской смущения на лицах. А это верный признак, что они уже влюблены друг в друга, хотя может быть и стесняются пока признаться в этом.

После разговора с Марией Сергеевной я с тревожной настороженностью стал наблюдать за Авениром Петровичем. Как-то, чтобы узнать его настроение, я заговорил о конце войны и о встрече с близкими.

— Мне кажется, что она не окончится и через пять лет, — сказал он. «Она права, — подумал я о Марии Сергеевне, — его сердце уже не свободно и сейчас он, пожалуй, не рассказал бы мне о встрече с женой и сыном после казахстанской командировки».

Вскоре после этого я ухал на месяц в деревню. По возвращении первым долгом поинтересовался планами Авенира Петровича.

— Женится, — с торжеством поведала мне Мария Сергеевна, — и хорошо делает.

Встретившись с инженером, я спросил, правда ли

то, что я слышал? Он покраснел до корней волос и, опустив вниз глаза, прошептал:

— Правда.

— Всерьез или на время?

— Как вам сказать? Она очень неплохая девушка.

— Лучше вашей жены?

— Я не хочу сравнивать. У жены свои достоинства, у Людмилы — свои.

— В таком случае поздравляю, — сказал я тоном укора.

Он сообщил мне, что в ближайшую субботу у него будет нечто вроде предсвадебной вечеринки и просил непременно придти.

— Приду с большим интересом, — ответил я.

— С интересом, но не с радостью, — вздохнул он. — Понимаю вас: вы, как психолог, хотите почерпнуть новый материал для своих рассказов о нравах военного времени.

— Вы угадали: такие ситуации, какие преподносит нам действительность, не выдумал бы самый необузданный фантазер.

— Но я надеюсь, что на вечере вы будете держаться корректно и ни словом, ни взглядом не осудите ее.

— Не беспокойтесь, дорогой Авенир Петрович, внешне я буду даже веселее других, а что будет у меня на душе, это теперь не так интересно для вас. Боюсь, что наши экскурсии за город больше не повторятся.

Он удивленно спросил:

— Почему?

— Потому что отныне мы будем говорить на разных языках: меня попрежнему будет манить к себе красавица Волга, а вы, как видно, всерьез решили обосноваться на Днепре.

— Я не думал, что вы такой язвительный.

— Это не язвительность, Авенир Петрович, а только неизбежный вывод из всего создавшегося. Я понимаю, что и вы и она — молоды, но все же, мне кажется, что если бы я был в вашем возрасте и на вашем месте...

— Не договаривайте. Знаю, что вы хотите сказать, но помните слова поэта:

Душа не видит своей ошибки,
Когда в ней чувства взметут метель.

— Помню, но сейчас мне приходят на ум строки какого-то неизвестного поэта.

— Обличающие меня?

— О, нет, эти строки никого не обличают. Они только свидетельствуют о том, что чувство не всегда повелевает человеком. Но пусть стихи скажут сами за себя:

Где б ни был я, куда б ни занесла
Меня судьба, тебе я буду верен.
У разума и воли — два весла,
Я с ними в море жизни не потерян.
Они помогут утлый чувства челн
Вернуть в семью, скорбящую в разлуке.
Где б ни был я, тобой всегда я полн,
Твой образ облегчает сердца муки.

Мы проходили мимо сада, опушенного инеем. Авенир Петрович остановился, широко открыв глаза.

— Как хорошо, — сказал он со вздохом.

Я не сразу понял, что он имеет в виду — сказочность ли деревьев, или глубину стихов.

— Как это благородно, — добавил он, увлекая меня с тротуара в занесенную снегом аллею, — но теперь поздно: я дал ей слово... Она замечательная девушка... Не забудьте мой дорогой земляк: в субботу. Это будет в ее квартире. Соберутся самые близкие друзья. Родных у нас нет. Вы мне замените отца.

— Даже и после моих высказываний?

— Да... Главное — вы понимаете меня, а понять человека — это уже наполовину простить... Насчет Днепра вы напрасно... Вместе с поэтом я могу без конца повторять:

О Волга, колыбель моя,
— Любил ли кто тебя, как я ?

Я понимал, что Авенира Петровича захватило сильное чувство. Оно ослепило его, обезволило, заслонило прежние, далекие радости. Я не сомневался, что даже и теперь в его душе звучат укоры совести, но иная музыка заглушает их. Его настоящие поступки таковы же, как в сновидении: он хотел бы убежать от опасности, но не может.

Зная его прежнюю жизнь, я был уверен, что рано или поздно он проснется. Пожалеет ли он, что сновиде-

ние прервалось? Пожалуй, не пожалеет, скорее — он будет рад пробуждению.

С тоскливо бьющимся сердцем шел я на предсвадебную вечеринку. Не знаю почему, я чувствовал себя отцом, единственный сын которого поступил своевольно, отвергнув искренний родительский совет. Но что же делать? Отцы и дети — это извечно два полюса.

В просторной комнате, оклеенной золотистыми обоями, было тепло, светло и уютно. Обстановка комнаты — пианино, трюмо, картины, стол, комод, ковры, фикусы, душистая герань — все напоминало далекие мирные времена, размеренный образ жизни, дни, похожие своим спокойствием один на другой.

Переступив порог этой квартиры, каждый невольно и с радостным чувством отрешался от ужасов военного времени, от развалин в соседних улицах, от тоски по близким и от неуверенности за завтрашний день.

Невеста в бледно-зеленом шелковом платье была обаятельной. Каждый, с кем она здоровалась, чувствовал дуновение весны. Этому способствовал и аромат тончайших духов, наполнявших комнату.

Жених был в синем костюме. Белый крахмальный воротничок и голубой галстук делали его моложе своих лет. И он и невеста были слегка бледны, но сквозь эту бледность просвечивал нежный румянец горячего чувства. Глаза влюбленных светились не полным блеском Так светятся они у тех, для которых все вопросы жизни еще далеки от разрешения.

Гостей собралось не так много. Мария Сергеевна выполняла роль посаженой матери. Стол был сервирован с необычной для военного времени роскошью.

— Ай да молодцы, — хвалили гости жениха и невесту, указывая на угощения. — Только маги и волшебники могли раздобыть столько пития и яств.

— Пожалуйте к столу, — распорядилась Мария Сергеевна. Ради сегодняшнего торжества она завила свои седые жидкие волосы, а к темнокоричневому бумазейному платью приколола дешевенькую брошь со множеством поддельных бриллиантов.

Садясь за стол, гости шутили и улыбались, предвкушая почти забытые за время войны удовольствия. Когда бокалы были наполнены, меня попросили сказать

тост. Я почувствовал некоторое смущение. Что сказать при такой ситуации?

— Выпьем за счастье, — начал я. — Не за бездумное счастье певчей птицы, рассыпающей трели в тени цветущих деревьев... Человек не птица!..

Я сделал паузу, почувствовав неловкость своего положения. О чем я говорю? Ведь в моем пожелании так ясен намек. Все глядели на меня с недоумением. Надо было продолжать, чтобы как-нибудь свести концы с концами.

— Господа, один из поэтов дерзко заявил: «На несчастии другого каждый счастье строить прав». Отвергнем этот звериный принцип. Пусть наши юные, дорогие, всеми нами уважаемые жених и невеста в стремлении к счастью не забывают о человечности и благородстве. Итак, выпьем за беспредельное, как море и за светлое, как солнце, счастье жениха и невесты!

— Ура! — закричали гости и стали чокаться. Красивые бокалы из тонкого зеленого стекла издавали певучий звон, похожий на бульканье весенней капели. Я посмотрел на влюбленных. Их глаза были полны томной страсти, которая ничего не видит вокруг .

Все выпили. И сразу подуло теплым ветерком оживленного возбуждения. Шутки, смех, стук ножей — все слилось в приятную музыку. Люди почувствовали праздничность, которая так редка в нашей жизни, обремененной горестями и заботами.

— Горько, горько! — неожиданно зашумели мужчины.

— Горько, горько! — поддержали мужчин женщины.

И влюбленные под аплодисменты гостей троекратно расцеловались. Потом все дружно осушили наполненные бокалы. Веселье завладевало собравшимися. Мария Сергеевна заботливо подкладывала на каждую тарелку закуски. При этом, наклонившись к уху гостя, с улыбкой спрашивала: «Не правда ли не дурна парочка?» И в этом вопросе слышалось: «Ведь это я их сблизила и влюбила друг в друга».

Рядом с невестой сидела ее подруга — пышная круглолицая блондинка с ямочками на розовых щеках. Сразу после первого бокала она почувствовала опьяне-

ние. Звонко смеясь, она повторяла: «Господа, я совсем пьяна... Не смотрите на меня... Я безумно рада за Люду... Авенир Петрович такой замечательный!»..

После третьего бокала она крикнула:

— Господа, простите, я чуть не забыла о своем подарке!

Она взяла с подоконника небольшой розовый пакетик и достала из него двух изящных шелковых куклят, изображавших мальчика и девочку. Положив их на ладонь, она протянула руку над столом.

— Какая прелесть! — в один голос воскликнули гости.

— Люда, возьми и запомни: в самом непродолжительном времени у тебя должна быть парочка живых кукляток-пискунчиков... И чтобы обязательно мальчик и девочка!

— За живых куклят! — зашумели мужчины и женщины.

Куклят передали невесте.

— Спасибо, Таня.

— Предлагаю тост за счастливое потомство, — возгласил гость богатырского телосложения с густой черной шевелюрой и ярко красными полными щеками, — за детей, вырастающих в атмосфере родительской ласки и внимания и за родителей, для которых высший смысл бытия — любимые, здоровые, воспитанные дети!

В тот момент, когда гости подносили бокалы к губам, у жениха задрожала рука и на лице появилась смертельная бледность. Это внесло замешательство в общее веселье. Гости подумали, что Авенир Петрович хочет что-то сказать и застыли в выжидательных позах. Но жених поставил бокал на стол и устремил свой взгляд куда-то в пространство, ничего не видя и не слыша вокруг. Невеста, все еще держа куклят в руках, с тревогой посмотрела на своего суженого .

— Боже мой, — простонал Авенир Петрович, — любимые мои — мой светлый Игорек и крошка дочурка... Вот что делает ваш папка...

Гости молча опустили головы. Невеста вздрогнула и выронила куклят. Ее красивые большие глаза стали еще больше. Первым ее порывом было желание — что-то спросить у жениха, что-то сказать ему... Но что? В

ушах и в сердце звучал его скорбный стон. Она чувствовала, что задыхается, как будто пробежала без отдыха большое расстояние, спасаясь от страшной погони. Стыд, сожаление, оскорбленная гордость, жалость к человеку и в то же время ревность смешались в ее душе в клубок противоречий. Этот клубок подкатывался к горлу. Силы ее оставляли. «Сейчас упаду, — со страхом подумала она, — но это причинит всем так много беспокойства... Нет, нет, надо побороть страдания... Пусть будет так... Может быть это даже к лучшему. Как могла я дать согласие на брак, зная, что у него двое детей, которых он безумно любит?»

Она положила дрожащую руку на плечо жениха.

— Веня... Веничка, не страдай, мой голубчик! Ведь еще не поздно... Ведь еще все можно поправить. Я освобождаю тебя от твоего слова. Останемся только хорошими друзьями!

На длинных пушистых ресницах Люды сверкали слезы. Авенир Петрович повернулся к ней лицом и крепко пожал ей руку.

И тогда каждый гость почувствовал легкость в душе. Радость осветила каждое лицо. Женщины бросились целовать Люду. Мужчины крепко пожимали руку недавнему жениху, а теперь только другу красивой, молодой, обаятельной Люды.

— За дружбу! — крикнула Мария Сергеевна.

— За дружбу, ура! — единодушно поддержали это пожелание все гости.

Авенир Петрович стал душить меня в своих объятиях, повторяя:

— Спасибо, друг!

Подруга Люды подошла к пианино и заиграла вальс: «Я видел березку». Гости стали выходить из-за стола. Мужчины приглашали дам. Еще минута и плавно закружились пары. Авенир Петрович остался за столом рядом с Людой. Она что-то тихо говорила ему.

«Какая замечательная», — думали все гости о Люде, лицо которой было озарено светом самопожертвования, благодарности и кротости.

1943 г.
Смоленск.

ОНА НЕ ХОТЕЛА ЖИТЬ!..

Ранним утром ко мне вбежала миловидная восемнадцатилетняя девушка, дочь известного советского писателя, Таня. Вид у нее был испуганный и пугающий.

— Дорогой друг, достаньте мне отравы!.. Я не хочу жить!..

— А вы сами разве не можете достать?

— Конечно, не могу... кто же мне даст отраву без рецепта?

Она была тонкая, изящная, белокурая, остриженная почти по мальчишски: волосы над лбом, еще не совсем отросшие, разлетались нимбом, как веер из тонких золотистых лучиков, как сияние вокруг святой отроковицы на картине. Она была похожа на ангела и так было странно слышать из ее уст просьбу об отрве.

— Что это вам взбрело в голову? Вы знаете, что будет с вашим отцом? Вы его состарите прежде времени, он не сможет творить, потрясенный вашей преступной глупостью.

— И пусть!.. Он променял меня на женщину, которая дышит ненавистью ко мне, хотя клялся и божился, что после смерти матери не будет жениться...

— Не век же вам жить с нею под одной кровлей: не ныне-завтра вы влюбитесь и выйдете замуж.

— Нет, нет, нет... очень вас прошу: достаньте... ну, что вам стоит?

— Вы хотите сделать меня убийцей?

— Ну, какое же это убийство? Ведь я сама приму отраву... При чем тут вы?

— Но ведь яд вы предлагаете достать мне. Ведь это все равно, как дать вам заряженный револьвер, толкнуть вас с крутого берега в бездонный океан, или в зоопарке бросить в клетку львов... Я не думал, Таня, что студентка второго курса университета так наивна.

— Я несчастная... мне противно возвращаться в дом знаменитого отца, где я слышу только шипенье мачехи и вижу ее глаза, сверкающие змеиной ненавистью ... Поймите меня.

Вспышка обиды, ревность к неродной матери толкали эту чистую, невинную душу в пропасть.

— Пожалейте!..

— Ну, хорошо... я согласен... я достану для вас отраву... Но в Москве у меня нет ни одного знакомого аптекаря, который рискнул бы без рецепта отпустить яд.. Если хотите, поедем с вами в Дмитров, а оттуда пройдем в деревню Величкино. Там живет депутат Верховного Совета СССР, Сергей Кустов, за которого я написал книгу о повышении урожайности. Вы понимаете? Книга написана мною, но на обложке стоит фамилия Кустова. За это депутат советского парламента обещал мне оказать любую услугу. До сих пор я ни с какими просьбами к нему не обращался, потому что не было надобности, а вот теперь, ради вас, я согласен потратить несколько часов на поездку к важной персоне. В его распоряжении автомобиль, он проедет с нами в Дмитров и в любой аптеке достанет любую отраву — и молниеносную и такую, которая действует медленно.

Как вы хотите умереть — сразу или растянуть угасание на несколько часов?

— Я бы хотела сладко уснуть и не просыпаться... Возле себя я бы оставила записку отцу: «Дорогой папа, ты нарушил обещание — не жениться. Ты нашел себе подругу, которая вытеснила меня из твоего сердца, но вне этого сердца я не могу жить... Я, как рыба, выброшенная из воды на горячий песок... Твой эгоизм не посчитался со мною и вот я ухожу из жизни, чтобы не мешать вашему безмятежному счастью»...

Думаю, что эта записка будет опубликована в «Литературной газете» вероятно с моим портретом... Тысячи студентов будут присутствовать на похоронах... В записке я добавлю, чтобы меня похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой Сергея Есенина... Отец получит сотни сочувственных телеграмм... Он будет рвать на себе последние волосы, растущие на затылке, мачеха будет напоказ артистически заламывать руки, но в душе, конечно, будет очень рада...

— Подружки-студентки да и студенты прольют реки слез по безвременно погибшей, хотя многие назовут вас глупой девочкой.

— Вы думаете? Почему глупой? А может быть несчастной?

— Я объясню вам это немного позже, а сейчас поедем в Дмитров.

— Какой вы добрый: я знала, что вы не откажете в моей просьбе.

На всякий случай, я взял портфель с документами. Когда мы уходили, сестра дала мне сверток с едой.

— Приедем вероятно поздно.

— Привильнее было бы сказать «Приеду», потому что поедете вы один, а меня повезут в закоченевшем виде.

— Пусть будет так, простите за оговорку.

Когда мы вышли в сад, я обратил внимание девушки на высокие ровные сосны, на ветвистые березы и цветущий жасмин.

— Не правда ли — красиво?

— И величественно, — добавила Таня.

До поселка «Сокол» мы доехали трамваем, там пересели в метро, а перед вокзалом сделали третью пе-

ресадку на двухэтажный автобус. Наш поезд уходил через 5 минут. Чтобы Таня не скучала, дал ей сборник рассказов Зощенко, а сам стал перечитывать «Евгения Онегина».

Читая «Аристократку», Таня звонко смеялась.

— Мой отец не умеет писать таких рассказов. У него все слишком серьезно, а серьезное навевает скуку. Я даже не понимаю, почему его считают большим писателем. Настоящий писатель должен радовать, смешить, разгонять тоску. Я слышала на вечерах других авторов. Слушая их, публика хохочет до слез. Значит, они более желанны для людей, чем мой отец. Почему же о нем пишут большие статьи в газетах и журналах, а о юмористах я не читала ни одной хорошей строчки?

— Вероятно критики считают их творчество зубоскальством, которое не пользуется доброжелательством умных людей.

Разговор о литературе и разных типах писателей отвлек Таню от грустных мыслей и у меня появилась надежда, что мрачную тучу души ветер благоразумия разорвет в клочья, не дав ей разразиться громом, молнией и градом.

С остановками мы ехали до Дмитрова два с половиной часа. Таня несколько раз принималась смеяться Пассажиры оглядывались на нее — некоторые с завистью, что она читает веселую книгу, а другие со злобой: какая-то дурочка раздражает своим глупым хихиканьем.

Дальше Дмитрова поезд не шел. Из вагонов вышло много народу — по виду крестьян и рабочих. У подъезда стояли два старых, весьма неказистых на вид, грузовика со скамейками для пассажиров.

— Воспользумся? — спросил я у Тани.

— Нет, лучше пойдем пешком... Я могу снять туфли и идти босиком. Может быть пять километров пугают вас?

— О, нет, я могу пройти и пятнадцать.

— Тем лучше.

Глухими улицами районного города с палисадниками и облезлыми домами мы шли минут двадцать. Очутившись за городом, увидели простор лугов и кое-где березовые рощи.

— Может быть хотите подкрепиться, Таня?

— Нет, нет, могу терпеть до вечера.

Я подумал: «Слава Богу, что не сказала «до смерти». Дорога в Величкино была мне хорошо знакома: я побывал в этих краях много раз. Холмистые луга перемежаются перелесками, холмы — лощинами. Горизонт раздвинут. Небо в весенню пору здесь на редкость чистое, а если появляются облака, то совершенно прозрачные, как фата невесты.

На пригорке за городом мы приостановились.

— Посмотрите, Таня, вперед, направо и налево.

— Картина восхитительная... А что это за музыка льется с неба?

— Вы слышите ее впервые?

— Да... Вот видите, какая я невежественная в познании природы... Вам даже вероятно трудно поверить в это: дочь известного писателя, студентка, восемнадцатилетняя девушка... Я не скрываю своей однобокости, как типичная горожанка...

— Ничего, еще успеете многое наверстать. Это жаворонки.

— А на чем же они держатся?

— На собственных крылышках.

— Отец никогда не говорил мне об этом... До жаворонков ли ему при чрезмерной серьезности?... В своих произведениях он совершенно не касается природы... Удивительный сухарь.

— Хотите их видеть? Глядите вверх в этом направлении, куда я показываю пальцем. Видите?

— Вижу... вижу... совсем малышка и все время трепещет крылышками...

— Чтобы держаться на воздухе.

— Да ведь это же очаровательно... сплошной серебряный бисер... китайские колокольчики... звенящие рюмочки... песня жизни... смотрите — вон еще и еще... Все небо в этих точках, которые тонут в лазури...

— И благодарят Бога за жизнь и красоту. Пойдем дальше, эти музыканты и певцы будут сопровождать нас все время, пока мы будем идти лугами.

Таня все время останавливалась.

— Боже мой, какая прелесть!.. Да ведь это лучше, чем соло на скрипке Ойстраха или пианиста Гилельса...

И главное — бесплатно. Можно лежать целый день на траве, смотреть на небо и слушать.

— Мы подходим к березовой роще, где протекает ручей... Слышите другую музыку?

— Кукушка!.. С ней знакома давно и очень ее люблю... В этом однообразном кукованье много какой-то непонятной грусти... Я уже вдыхаю аромат берез... Мы там немножко отдохнем.

— Сделаем привал у ручья и закусим тем, что положила сестра в портфель.

— Как я вам благодарна: я делаю открытие за открытием... всего в трех часах пути от Москвы такие сокровища!..

Мы подошли к ручейку. Вода в нем была прозрачная и прохладная: как видно, он совсем неподалеку выбегал из недр земли веселым родничком. Кое-где его русло опускалось и получались игривые водопады. В плеске струй была своеобразная, успокаивающая музыка.

— Вот если бы соединить все это вместе: жаворонков, кукушку, журчание водопада, возникла бы удивительная симфония... Смотрите — ползают муравьи, козявки, над ручем вьются стрекозы с прозрачными крылышками, а кто это прогудел, как басовая гитарная струна?

— Шмель.

— Его тоже можно включить в симфонию природы.

— Сейчас не слышно соловья, но когда пойдем обратно, он порадует нас своими руладами. В симфонии, о какой вы говорите, он должен быть участником, как непревзойденный солист.

Таня подставила обе руки под струи маленького, как бы игрушечного водопада и потом поднесла их к губам.

— Какая вкусная вода, вероятно святая, целебная.

— Как бы мне хотелось, чтобы она исцелила вас.

— Я знаю, о чем вы думаете... Кажется, я уже начинаю исцеляться... Я ведь не видала ничего подобного, потому и взбрели в голову дурные мысли. Вот бы где пожить с месяц или хотя бы с неделю. Почему все отчаявшиеся не знают о таких простых лекарствах, как пение жаворонка, кукование кукушки, журчание родника, замирающее гудение пролетевшего шмеля, мелькание стрекоз над ручьем? Вот о чем надо писать рассказы и стихи, а не вдаваться в изнуряющее глубокомыс-

лие, как делает мой отец. Словесным творчеством надо окрылять читателей, а не привязывать к их шее тяжелый жернов, который давит на суше, а в воде тянет на дно... Книга должна быть рекой с чистой, прозрачной, освежающей водой... Путнику тяжело, он покрыт пылью, по лицу течет грязный пот, ноги подкашиваются, а окунулся в воду, понырял, поплавал и вся грязь и усталость, разлетелись, как пар из самовара... Пишите такие воскрешающие рассказы, не подражайте моему отцу.

Мы съели по сдобной булке, размачивая их в воде.

— Надо, Таня, идти: впереди еще много дела.

— Давайте махнем рукой на все дела... Надо, как все говорят, ловить момент... Что это значит? Когда человеку хорошо, надо продлить это хорошее, надо сказать: «Время, остановись, потому что нам очень хорошо!»

— Значит, вам хорошо?

— Бесподобно!..

— Таня, вам восемнадцать лет, мне 44 года. Я мог быть вашим отцом. И вот, как отец, я рад за вас... Я достал для вас, без содействия знакомого аптекаря то, что не сокращает, а продляет жизнь.

— Может быть совсем не нужно идти к депутату Верховного Совета?

— Но мы очень близко от него. Вам интересно будет взглянуть на жилье человека, которого за повышение урожайности избрали в члены советского парламента. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Человек почти совсем неграмотный: учился в начальной школе один год и вот теперь вершит делами целого района. По распоряжению местных властей ему построен дом, похожий на дворец.

— Если так, то пойдем.

Мы вышли из рощи. Опять перед нами были луга, а над нами звенели жаворонки. Таня подняла руки кверху:

— Спасибо вам, мои дивные спасители!..

Я взглянул на ее лицо. По щекам девушки текли слезы, так, как текут дождевые капли по оконным стеклам — не по прямой линии, а извилинами... Так же пробегают и лесные ручейки.

Деревня Величкино расположилась на пригорке. Хо-

рошие избы, крытые тесом, тонули в зелени деревьев. Под пригорком протекала небольшая речка. Вдоль неё тянулась лента огородов с сизой капустой, а кое-где темнели коноплянники, распространяя сильный запах, который так приятен деревенским жителям.

Дом депутата был на отшибе, поодаль от деревенской улицы, как лжеаристократ — выскочка, стесняющийся общения с теми, с кем вместе провел детство и юность. Он сверкал восемью большими окнами, красовался широким парадным крыльцом, высоким кирпичным фундаментом и железной крышей, окрашенной зеленой медянкой. В палисаднике, обнесенном проволочной сеткой, цвели белые, красные и розовые мальвы. Недавно посаженные деревца еще не успели вырасти.

Возле дома бегали два мальчика и девочка — все трое светловолосые, в отца.

— Где папа?

— В городе.

— А мама?

— В огороде.

— Идите скажите ей, что приехал знакомый писатель, какой был у вас раза четыре.

Дети убежали. Мы услышали одновременный сбивчивый крик сразу всех троих:

— Мама, писатель в очках, а с ним барышня... красивенькая...

Мы ожидали хозяйку на крылечке. Она подошла незаметно, ступая босыми ногами.

— Извините: в земле вожусь... рук не успела вымыть... Сам в городе каждый день: едут к нему, как к Богу, а что он может поделать? Донимают его и разводами, и разделами, и пенсиями, и жалобами стариков на детей и ошибками власти... И всех он должен ублаготворить, а чего можно ждать от неотесанной деревенщины?... Свалился на нас этот почет, как тяжелый камень на голову... Только тем и хорошо, что вот этот дом нам подарили, но мы еще не знаем: навсегда иль только на четыре года, пока он будет депутатом?

У женщины было застенчивое лицо В ее больших серых глазах застыло удивление перед всем, что свершилось за короткий срок: повышение урожайности на опытном участке, статьи в газетах, выдвижение мужа

в кандидаты, выборы в Верховный Совет, разборы тысячи всяких житейских кляуз и этот дом, в котором можно бы поместить семью в 20 человек. Она была в голубеньком платочке и походила на девушку, не привыкшую к почету и всегда красневшую при гостях.

— Хотите поглядеть на наши хоромы? Никак не могу привыкнуть к этому простору: восемь комнат, полы паркетные, на стенах ковры и картины, вдоль стен диваны и кресла, в стеклянной этажерке хрустальные вазы...

— Сами купили?

— Какое там?... Подарки от разных организаций.

Мы вошли в дом. Во всех комнатах было чисто, уютно, светло.

— Мужу пришлось в партию вступить, а что он в этом деле смыслит? А вдруг проштрафится? Тогда ведь партийный билет отнимут и могут вытурить из этого дворца... Чужого богатства будет не жалко: но одно будет плохо: все на нас будут пальцами показывать, как на больных дурной болезнью, все будут сторониться, шептаться: «Что? Достукались, властители?»... Мужа уговаривают в академию поступить, а какая там академия, когда у него совсем память отшибло? Вот уж месяц каждый вечер к нам приходит учитель, подзывает мужа к еграфической карте и говорит: «Покажи, где «Ипенины», а где «Крадильеры?» И не поверите, все время мой депутат показывает неверно... С такой памятью в академию поступить — только в стыде сгорать, как в смоле кипучей... Может чайку попьете? Иль молока холодненького?... В погребе на льду стоит. Коровы у нас две, молока много... Жить бы да радоваться, а у меня ни одной минуты нет покоя... Потому и не бросаю черной работы, хоть все родные и соседки уговаривают: «Брось ты эту грязноту, заделайся советской барыней»... Нет уж, говорю, как была крестьянкой, так и умру честной женщиной... А вся эта красота в доме, как чужая.. Мы будто на квартире...

— Вас ведь зовут Александрой Филатовной?

— Какая там Филатовна? Зовите Сашей... Я ведь еще не старуха, только вот это богатство да слава меня состарили...

Мы попросили молока. Хозяйка принесла из погреба глиняный горшок с узким горлом и широким низом

— «горлач». Наружные стенки горшка покрылись каплями росы. Саша помешала его только сверху, чтобы угостить нас почти одними сливками. На тарелке подала пшеничный хлеб, нарезанный большими ломтями. Мы сели на венские стулья. Стол был покрыт голубой скатертью с белыми цветами.

— Сколько у вас вождей на стенах, — удивилась Таня.

— Вождей много, да все недолговечных: то и дело приходится менять: то один чем-то провинился, то другой... Только и следи, чтобы не опоздать новыми заменить, а опоздаешь — вот и готова беда... Уж лучше бы совсем их не вывешивать...

Дети с любопытством смотрели на нас. Я пожалел, что мы не догадались привезти для них гостинцев. Сказал об этом матери.

— И думать об этом нечего: у них гостинцев хоть отбавляй — ведь они дети депутата.

В тоне матери было много нескрываемой горечи.

— Будете ждать самого?

— Когда он возвращается домой?

— Если не будет партейного заседания, то часов в восемь, а после заседания приезжает только в полночь... Покоя ни минуты... Правда, жалованье хорошее: больше тысячи рублей в месяц... Даже стыдно людям в глаза глядеть: ведь все эти деньги из крови и пота простого народа... Вот вы, товарищ писатель, написали книгу за мужа, а зачем?

— Меня попросил Союз Советских Писателей.

— Теперь люди прочитают книгу и письма шлют, спрашивают о том и о сем, а что он может ответить при своей неграмотности?

— Пусть за него отвечают секретари.

— Секретари... секретари... ни к чему все это... подделка... обман без всякого стыда... И вы в этом обмане замешаны...

— Мне почти приказали... я описывал факты...

— Но уж больно красиво, не по деревенски... прямо, как в сказке... Я понимаю: у вас тоже своей воли нет... все теперь живут не как им хочется, а как приказывают... Разве это жизнь?

Хозяйка вдруг спохватилась и всплеснула руками:

— Ой, да что же это я так разболталась? А вдруг мои речи попадут в статью, а статью все прочитают и прощай тогда Саша, прощайте малые детки... прощай депутат Сергей Петрович Кустов!..

— Не беспокойтесь, Саша: дальше этой комнаты ваши речи никуда не попадут... Спасибо за молоко, за хлеб, за доверие, за вашу грустную исповедь... Мы пойдем... Обратный поезд в 6 часов. Пойдем, не спеша. Привет депутату... Не падайте духом... работу на земле не бросайте.

* * *

Когда мы вышли из деревни и снова очутились на лугах, Таня сказала:

— Бедные люди: нет им покоя ни в безвестности, ни в славе и почете... Все зыбко, неустойчиво, все искусственно... не завидую им.

Об аптеке и отраве не было помину. Таня была исцелена природой и общением с женой депутата.

— Господи, как хорошо жить без надзора и контроля, в лесном шалаше, возле прозрачного родника, под пение птиц и шум листвы... Теперь я знаю, что мне делать. Я переведусь в университет Казани или Ярославля.

В той роще, где мы сидели у ручья, теперь пели соловьи. Это был предвечерний час. Из деревни доносились разные звуки: детские голоса, петушиное кукуреканье, собачий лай... Все это сливалось в приятный шум, который не портил соловьиных трелей. Жаворонки пели попрежнему. Таня продолжала удивляться и восторгаться:

— Как многообразна, как интересна жизнь! О, нет, я не дура, чтобы умереть... Я хочу жить и буду жить!.. Спасибо вам старший друг, мой названный отец за то, что не пожалели истратить для меня целый день!..

— Давайте, Таня, никогда больше не думать о том, о чем думали утром. Жизнь очень коротка — зачем же ее укорачивать? Она дана Богом, пусть Он и распоряжается ею!.. Вы согласны со мной?

— Без малейших оговорок!

Август 1965 г.
Санта Барбара.

ДВА АДРЕСА

Когда его зачислили в ополчение и назвали «добровольцем», ему не было полных пятнадцати лет.

Красивый белокурый мальчик из культурной семьи удивлял многих прозрачной бледностью лица и печальными голубыми глазами в рамке густых ресниц.

— Почему тебя взяли в армию? — спрашивали ополченцы.

— Меня вызвали в домоуправление и сказали: «Ну, Витя, твой отец сражается на войне. Бери с него пример, записывайся в народное ополчение».

— А что я там буду делать? — спросил я.

— Часа два в сутки дежурить на предприятиях, на мостах, возле школ. Будешь следить за приближением неприятельских самолетов и сигнализировать об опасности. Отказываться от такой почетной задачи стыдно и позорно. Все твои товарищи дали согласие... «Ну, запишите и меня», — сказал я.

В тот же день мальчика отправили на один из школьных дворов, куда сгоняли недоумевающих, растерявшихся от неожиданности людей всех возрастов.

Были тут колхозники, рабочие, профессора, артисты, писатели, учителя. Среди этой толпы насчитывалось очень много инвалидов. В те дни не брезгали людьми на косты-

лях, горбатыми, глухими, полуслепыми. Все эти несчастные думали, что их сначала пропустят через врачебную комиссию. Но всякий, попадавший на сборный пункт, сразу превращался в арестанта: его не отпускали домой за самыми необходимыми вещами, ему не позволяли выходить на тротуар, где метались плачущие, убитые горем родственники.

На ночь все располагались в классах. Сотни людей давили друг друга. На голом грязном полу можно было только сидеть. Но усталым людям хотелось прилечь. Классы превращались в клетки, куда согнали зверей разной породы. Брань, матерщина, рычанье и стоны сливались в жуткую музыку ненависти и злобы. Но к полночи все успокаивались. Ноги одного лежали на голове или животе другого... И уж не слышно было никаких протестов.

Витя «лежал» рядом со мною, на разостланной газете, под которой валялись пучки волос с ополченческих голов: днем класс превращался в парикмахерскую.

— Ползают по ногам, — шептал мальчик.

Электричество было выключено в целях светомаскировки.

Витя ощупью ловил паразитов и, брезгливо завертывая их в газетные обрывки, придавливал ногтем.

— Попробуй заснуть, — советовал я, — иначе завтра тебе будет плохо на маршировке.

— Не могу.

Июльский воздух за окнами казался расплавленной, никогда не остывающей массой. Мы задыхались. Вонь, вши, грязь, разноголосый храп — можно было сойти с ума от всего этого.

По утрам мы жадно прислушивались к радионовостям, еще не догадываясь, что все это сплошная выдумка. Нас навещали матери, отцы, дети, братья, сестры, жены, но мы не имели права подойти к ним близко и перекликались, как заключенные. Дневальные, стоявшие у школьных ворот парадного входа, передавали нам узелки от родных, стоявших поодаль с заплаканными глазами.

Молодые, не успевшие закончить военной школы, лейтенанты, на безусых птичьих лицах которых не читалось ни одной глубокой мысли, отгоняли нас от дверей и предлагали забыть о мирной жизни.

— Хотите в карцер? — задорно выкрикивали они, напоминая молодых петушков, только что научившихся кукарекать.

— Смирррно! — почти каждую минуту раздавалась их команда, от которой мороз пробегал по телу и мутился рассудок.

За изучением скучнейших, нудных до отвращения воинских уставов всех клонило в дремоту — и молодежь и стариков. С каким усилием каждый боролся со сном. Увы, борьба оказывалась тщетной: после мучительной ночи глаза невольно наливались белесой мутью, веки слипались, голова вздрагивала.

Однажды Витя, прислонившись к плечу беззубого, немощного, сорокодевятилетнего колхозника, страдавшего ревматизмом, задремал. Закрыл глаза и старик. Это было в тени каменного забора, на школьном дворе. Клонило в сон и узколицего прыщеватого лейтенанта с украинским акцентом, начинавшего каждый урок с неуместного и неумного сообщения о том, как его уважало начальство в военной школе за то, что он руководил драмкружком и был секретарем комсомольской организации. Этот хвастун и замухрышка, не внушавший к себе ни доверия, ни уважения, убеждал нас — любить начальство и приветствовать его каждый раз, когда оно появляется перед нами.

— Буду наказывать за неподчинение вплоть до расстрела! Запомните: вы не имеете права жаловаться на меня никому! Надо мною нет начальства, кроме наркома обороны Иосифа Виссарионовича Сталина. Но Сталин вашей жалобы на меня не примет. Она должна идти по инстанциям и пока дойдет до Кремля, — я успею вас согнуть в бараний рог.

Выслушивая такие «милые» предупреждения ничтожества, упивавшегося своей деспотической властью, все подавленно молчали. Это было до того неожиданно и нелепо, что мы не могли воспринимать все происходившее, как реальность. Страшный сон, кошмар, бред — вот чем казалась нам действительность. О, мы еще не знали, какие испытания ждут нас впереди.

... Урок продолжался. Половина взвода дремала. Витя крепко уснул на плече колхозника. Его бледные щеки

порозовели. Теперь он был похож на десятилетнего ребенка.

Неожиданно, неслышными крадущимися шагами вошел командир батальона — низкорослый капитан с желтым лицом, приплюснутым носом и злыми зелеными глазами, которые никогда не улыбались и, как будто, были предназначены для того, чтобы всех пронзать холодом, строгостью, неприязнью.

— Смирррно! — скомандовал лейтенант. Мы очнулись от оцепенения и ошалело вскочили. Витя поскользнулся о бревнышко, на котором сидел и неловко упал. Торопливо поднявшись, он вместо того, чтобы замереть на месте, начал отряхивать брюки. Это привело в бешенство комбата. Визгливо выкрикивая угрозы, он долго брызгал слюною, потом перешел на пафос и напомнил о фильме «Чапаев», где показано, как, из-за уснувших часовых, погиб целый отряд во главе с легендарным командиром.

— Вы пришли сюда не спать, а спасать отечество! Все те, которые спят во время занятий, изменники и подлежат расстрелу! Я заставлю вас забыть беззаботность мирного болота и переключиться на боевой воинский дух! А ты, — обращаясь к Вите, продолжал комбат, — пришел сюда добровольцем не для того, чтобы распускать сопли и вспоминать о маменькиной юбке, под которой тебе было тепло и безопасно... Ты пришел для того, чтобы встать в первые ряды защитников правого дела!

И много еще вытекло патриотической воды из бескровных тонких уст комбата, приблизившегося к Вите и пожиравшего его маленькими крокодильими глазами. Мальчик то краснел, то бледнел, боясь мигать пушистыми ресницами и вытягивая по швам руки с дрожащими пальцами. Когда удалился комбат, настала очередь лейтенанта — снова припугнуть нас расстрелом.

По утрам нас выводили с тесного школьного двора на тротуары и, разбив на отделения, тренировали в маршировке. Торопливо проходившие мимо нас люди молчаливо сочувствовали нам. На лицах мужчин читалось удовлетворение, что пока Бог помиловал их от военной муштры, и тревога, что эта горькая чаша, рано или поздно, не минует их.

Жаркие июльские дни казались бесконечными. Со страхом мы думали о ночи, душных классах и нетерпеливо мечтали о лагерях, куда нас собирались отправить.

***

Одиннадцатого июля, поздним вечером, нам было приказано молненосно собраться и выстроиться на улице.

— Отправляемся в поход, — перебегал шепот от одного к другому.

— Черт возьми, а мне, завтра утром, должны были принести из дома чистое белье.

— Завтра дочь, по моей доверенности, должна была получить деньги.

— У меня тяжело болен сынишка... Завтра я должен был узнать: миновал ли кризис.

— Завтра из Воскресенска ко мне хотела приехать сестра.

— У меня жена в родильном доме. Завтра мне хотели сообщить, как прошли роды и кто родился — мальчик или девочка?

О, как много хорошего должно было случиться завтра!

— Мама хотела дать мне завтра денег на дорогу; у меня осталось только восемь рублей, — шепнул Витя.

— Может быть, родные смогут навестить нас в лагере, — сказал я в утешение мальчику, с которым решил не расставаться в походе. По другую сторону от меня встал Егор Иваныч, — тот самый больной, беззубый колхозник, на плече которого однажды так сладко задремал Витя. Он был высокого роста, сутулый, костлявый, — по виду казался шестидесятилетним.

— Я отдал в Красную Армию трех сыновей, теперь до меня добрались, а какой от меня толк? — недоумевал «защитник родины». — Ночью я ничего не вижу, зубов у меня нет, ревматизм не дает покоя... Таких не в армию призывать, а валить на свалку. Нет, что-то неладное придумало наше правительство, — заканчивал он свои размышления шепотом, оглядываясь по сторонам. — Вот сейчас нас куда-то погонят пешком. А я знаю свои ноги: не пройдут они больше пяти километров.

— Прикажут, так пройдут и сто пять, — отклик-

нулся стоявший позади нас ополченец лет сорока, высокого роста с рыжими усами и веснушчатым лицом. — Ты думаешь, я здоровый? Да у меня тридцать три болезни; мне нельзя ничего есть: что ни съем, все идет назад рвотой... В гражданскую у меня прострелена правая нога... А вот заставят пойти — и пойду, ни на что не посмотрю...

Бахвальство рыжеусого было напускным, в нем чувствовалось больше горечи и злости, чем готовности переносить предстоявшие лишения.

Нас выстраивали долго, с криками, с угрозами. Вечер был тихий, светлый, душный. Окна зданий, заклеенные темными полосками материи, напоминали тюрьмы. Жители города спешили домой. Стрижи темными молниями прорезали белесо-голубое небо, подкрашенное розовато-лимонной краской заката. Родных возле нас не было — и потому, что к 11 часам вечера прекращалось всякое движение по городу, и потому, что никто не знал о нашей отправке. Нас угоняли куда-то тихонько от близких. Чего этим хотели достигнуть? Чего избежать? Может быть боялись слез разлуки? Или наши сердца с первых дней решили закалять огорчениями, досадой, злобой на начальство?

Ровно в 11 радиостанция имени Коминтерна завела патефонную пластинку с «интернационалом» (без этого колыбельного напутствия не кончался ни один день советской жизни). И мы пошли — по улицам и переулкам столицы, а нам навстречу мчались танки и зенитные орудия, чтобы занять все площади города — на случай неприятельских налетов или десантов.

Дети и женщины махали из открытых окон платками и желали нам победы. Победы... Мы не представляли, как могут добиться победы — старики, инвалиды, мальчики, никогда не державшие в руках оружия, затаившие глубоко в сердцах обиду на многолетнее бесправие и тоску по родному гнезду, из которого нас вырвали обманом или угрозой. Каждый представлял горе родных, которые завтра, подбежав к дверям школы, услышат: «Опоздали...» И родные — матери, жены, сестры, дети, прижимая к груди узелки с подарками, поплетутся домой, спотыкаясь, ничего не видя под ногами.

Мы вышли окраину города — к Красно-Пресненской

заставе и остановились. Слева, у Трехгорной фабрики, раздавались голоса многих тысяч людей: там собиралась основная часть дивизии.

На трамвайных путях стояли вагоны, возвращавшиеся в парк, из них выглядывали женщины-кондуктора. Никогда не позабудутся эти лица, состарившиеся в несколько дней от неверия в победу, отчаяния, обреченности.

Изнывающих от ожидания ополченцев клонило ко сну, многих томила жажда. Хотелось упасть и не вставать. Впереди была длинная дорога, а каждый чувствовал себя настолько измученным, будто он прошел уже сотни километров и преодолел множество преград. Люди ложились на пыльные булыжники мостовой и дремали, хотя тоска мешала забыться.

Витя не отходил от меня. Я предложил ему ломтик сыру, он достал из мешка хлеб, и мы стали закусывать

— Ну, вот Витя, — сказал я, — еще совсем недавно ты с товарищами играл в войну, а теперь идешь воевать по настоящему.

— Мне почему-то кажется все это непохожим на войну. Здесь какая-то неинтересная игра в войну. Честное слово, Родион Михалыч, в наших школьных военных играх было больше правды и естественности. Уходя на войну в игре, мы прощались с родными, вооружались, шли стройными шеренгами. Перед войной мы учились искусству воевать. Это было интересно, это волновало. Сейчас мы похожи на стадо, которому хочется пить, или на измученных бродяг... Сколько времени мы будем валяться на камнях?

Он достал из брючного кармашка часы. Циферблат был со светящимися цифрами.

— Два часа. За это время я мог бы пять раз сбегать домой. Отсюда до нас не больше десяти минут ходу.

Егор Иваныч, подложив под голову мешок, вздыхал:

— Плохо придумало наше правительство. С такими, как мы, долго не навоюешь. Если б немец поглядел на нас, он бы досыта насмеялся. Не воевать нам, а на печке лежать да внучатам сказки рассказывать. А нас на войну гонят. Понять не могу такой затеи. И кому она в голову пришла? Неужто Сталину? Ведь у нас настоящего

войска некуда девать. Ну что теперь будет в колхозах? Хлеб убрать не успели. Нашим старухам да внучатам не до уборки. Выходит — и в хозяйстве урон. А ведь от этого вред не только мне и тебе, а всему государству. По теперешнему-то положению нужно каждое зернышко убрать, а у нас миллионы пудов погибнут. И ничего правителям не жалко. А все потому, что не свое это для них, а чужое. А за чужое разве будет болеть сердце?.. Да и мы-то для них чужие, ненавистные...

И долго еще полушепотом горько резонерствовал сорокадевятилетний беззубый старик, распластавшись на крупных булыжниках Красно-Пресненской заставы.

***

... Мы идем мимо кладбища, где похоронен Сергей Есенин — последний поэт деревни, имя которого много лет произносилось с оглядкой русскими людьми. Легкий ветер пробегает по листве тополей, выстроившихся угрюмыми часовыми вдоль ограды. Сквозь кусты просвечивают белые памятники: мраморные кресты, аналои, печальные ангелы. Ополченцы глядят на кладбище... «И где мне смерть пошлет судьбина — в бою ли, в странствовании, в волнах?» — невольно вспоминаются многим строки из Пушкина. Вот мост над железной дорогой. Ни одного огонька на путях. Поезда распределяются по линиям испуганными радиосигналами. Испуг и в лязганьи буферов, в скрипении колес, во всей этой железнодорожной суматохе, скрытой сумраком ночи. Ужасом перед надвигающейся опасностью, неверием в победу, горькими раздумьями пронизано все — воздух, деревья, здания, камни мостовой.

Пройдя мимо ипподрома, выходим на асфальтированное Ленинградское шоссе. Шарообразные кроны лип справа и слева от дороги наводят на грустные раздумья: может быть многих из нас скоро не будет в живых, а эти, аккуратно подстриженные, деревца останутся свидетелями иных жизней, более счастливых, чем наши.

— Щемит сердце, — жалуется Витя,

— Устал?

— От тоски.

Он рассказывает, что врачи запретили ему много

двигаться из-за болезни сердца, что желудок у него тоже больной, а ноги никуда не годятся.

— Стыдно признаваться, но я уже инвалид.

Мы идем без отдыха, то замедляя, то ускоряя шаг. Чаще всего мы бежим. Изредка нас перегоняют автомобили. Разносится слух, что машиной задавлен один из взводных лейтенантов.

— Отвоевался, — без сочувствия замечают ополченцы. В рядах — ропот, что нет привала. На востоке совсем светло. Беловато- зеленоватые, бледно-голубые и розовые краски переходят незаметно из одного тона в другой. Все звезды, кроме одной, погасли. А эта последняя — с длинными золотыми ресницами, равнодушно мерцает, напоминая о вечности мира.

Завиднелся мост окружной железной дороги. Мы прошли уже не менее десяти километров. Предыдущие бессонные ночи и вслед за ними сразу такой поход — превращают нас в качающиеся от усталости, озлобленные существа, не знающие, куда деваться от отчаяния.

К счастью, раздаются сигналы воздушной тревоги. Гудки фабрик и заводов завывают на разные голоса жалобно-пугающе. Ополченцы, охваченные животным страхом, разбегаются в разные стороны — под заборы маленьких домиков с палисадниками, под деревья, под мост. Плачут гудки и многим чудится, что это предсмертные вопли большой страны, которая много веков называлась Россией, а в последние два с лишним десятилетия была превращена в огромную тюрьму, на воротах которой зловеще извивались змеевидные буквы — СССР.

Гудки рыдают долго-долго, а люди, свернувшись комочками, уже спят. Пусть гибнет все — сон нельзя побороть: он сковывает руки, ноги, он вливает во все тело тяжелый свинец забытья.

— Подымайсь! — раздается команда. Каждый спросонок вздрагивает от испуга и утренней свежести. О, каким коротким был сон. В первый момент кажется, что дальше идти невозможно. Но снова шагают ополченцы — мимо дачных домиков, пригородных деревень, больниц, заводов. У калиток и заборов стоят кучки людей со скорбными лицами. Километр за километром остается возади нас. У колонны, растянувшейся по черному извилистому асфальту дороги, не видно ни начала, ни

конца. Людская река течет все дальше и дальше на запад. Справа и слева от нас луга с высокой, густой травой и крупными ромашками, хлеба — высокие, как речной камыш. Какие могучие травы и хлеба в этом году! Они так великолепны и сильны, что их боится приласкать ветер. Давно небо и земля не были такими щедрыми.

Но всему этому изобилию суждено перезреть, осыпаться, перестояться, захиреть без призора. Шагающие по дороге пахари, сеятели, косари и жнецы глядят на луга и поля и сердце каждому подсказывает: «Все погибнет».

***

Когда-нибудь чудом спасшиеся от смерти вспомнят каждый день бесконечного марша из Москвы, вспомнят палящий зной и пыль по щиколотке на проселочных дорогах, росистые травы, которые мы приминали на коротких привалах, безрадостный диск луны, проколотый остроконечными верхушками ароматных елей, вспомнят жажду, испепелявшую душу, очереди у колодцев, звериные окрики лейтенантов, постоянное ощущение голода и ничем неистребимую тоску по родным семьям. Эта скорбь каждый день нашего бытия превращала в вечность. Сознание бессмысленности нашего пребывания в армии отнимало у нас все радости, мешало нам понимать величие природы, хотелось без конца повторять строку поэта: «Жизнь моя, иль ты ты приснилась мне?» Москва и родные деревни казались иными планетами. И каждый спрашивал: «Неужели когда-то и я жил на этой планете? Неужели и теперь там живут мои близкие?»

***

Нашим первым лагерем был сосновый бор на берегу Москва-реки. Мы спали на голой земле, тесно прижимаясь друг к другу. Витя повертывался ко мне спиной и я согревал его своим дыханием. Егор Иваныч пытался защитить его от холода с другой стороны, но увы! В полночь мальчик начинал ежиться от озноба. Высокие вершины сосен шумели настороженно и неприязненно. На рассвете нас будили горном, приказывали раздеваться

до гола и гнали к реке. Дряблые, костлявые тела стариков покрывались от озноба сыпью, лязгали зубы. Краснощекие, тепло одетые лейтенанты, глядя на наши мучения, хохотали или изощрялись в похабщине, от которой травы приникали к земле. С крутого обрыва мы катились кубарем, расцарапывая себя до крови о корни деревьев; после купанья отвесную стену брали штурмом.

Сердце отказывалось биться, а командиры издевательски повторяли: «Тяжело в ученьи, легче в бою».

После нескольких дней пребывания в лагере, нам приказали строить шалаши: на каждые 12 человек шалаш. Двое суток мы уничтожали березовую рощу в трех километрах от бора, таская на себе тяжелые бревна и охапки ветвей. Нас подхлестывали соревнованием, бранью, издевательством над здравым смыслом и человеческим достоинством.

Закончив шалаши, мы размечтались о тепле, но нас попрежнему уложили возле толстых, неуютных стволов сосен.

С вечера погода испортилась, подул ветер, бор загудел предостерегающе. Ночью полил дожь. Редкие, голенастые деревья не спасали ни от одной капли.

Витя последние дни чувствовал себя очень плохо. Он еле двигался, не прикасался к пище, подолгу и сосредоточенно глядел в одну точку, о чем-то глубоко задумываясь... О чем? Конечно, о своей нелепо сложившейся жизни, о родителях, которых он, может быть, никогда больше не увидит. Сейчас его била лихарадка. Я вытащил из-под изголовья газету и попытался сделать из нее зонтик для больного.

Группа ополченцев, собравшись у соседней сосны, тихо запела: «Ревела буря, дождь шумел». Песня разрывала сердце. Рассказывая о гибели Ермака и его войска, она и нам пророчила печальный конец.

— Знает ли мама о том, что со мною? — спросил Витя и сам себе ответил:

— Вероятно, догадывается.

Дождь усиливался. В ополченской массе нарастал ропот. «Почему запрещают ночевать в шалашах?» Когда мы перемокли до нитки, нас погнали в ближайшую деревню и рассовали по худым сараям, а на рассвете, еще

до восхода солнца, подняли для того, чтобы выдать винтовки. И снова, по приказу свыше, мы зашагали по тропинкам и проселкам, по лесам, лугам и полям.

Обувь у многих была изношена. Босоногим приказали идти справа и слева от основной колонны, чтобы не позорить честь народного ополчения. Разутых и оборванных насчитывалось больше половины.

Грустно было смотреть на эту массу, сверкавшую голыми пятками. Особенно стыдно было проходить городами.

Лейтенанты для поднятия духа приказывали петь веселые песни. Женщины, дети и старики молча глядели на нас и плакали. В перерывы между песнями безусые начальники, желая снискать любовь ополченцев рассказывали похабные анекдоты. Молодежь заискивающе гоготала. Старики молчали. В их молчании чувствовался укор. Витя спрашивал у меня:

— Слышите? Стараются рассмешить и подлизаться в такие минуты, когда на нас глядят сотни заплаканных глаз. Позор! Неужели они не понимают, что их похабщина в таких случаях — кощунство?

Я разделял искреннее негодование культурного мальчика и не раз порывался сделать замечание своему взводному. Меня останавливал Егор Иваныч:

— Не связывайтесь. Лучше командирские анекдоты, чем угрозы карцером и расстрелом.

Кто-то пустил слух, что нам предстоит сделать стопятидесятикилометровый переход в двое суток.

— Погибнем, — испуганно перешептывались ополченцы. — Нас хотят угробить до встречи с неприятелем.

Мы допытывались у юркого, жуликоватого старшины и у политрука — тупого сплетника и соглядатая, и у мужиковатого, пожилого помкомвзвода, и у хвастунишки крикуна взводного, — сколько километров предстоит нам осилить и в какой срок? Никто не сказал нам правды. Взводный, ухмыляясь, пошутил, что через 15 километров будет остановка на неделю. И вот наивные, доверчивые люди начинали подсчитывать:

— Прошагали уже больше 20! Где же остановка на неделю? Обманщики: говорили бы сразу: 200!

На одной из остановок нам выдали по 150 патронов и обмундирование. Все цивильное: пиджачные пары, бе-

лье, кепки, шляпы, желтые и белые полуботинки, одеяла, портфели — были зашиты в посылки с указанием адресов тех близких, которые должны были получить наше последнее штатское облачение. А мы превратились в однотонную, скучную массу: на каждом синевато-линючие дешевенькие брюки и гимнастерка, пудовые ботинки с резиновой подметкой, черные обмотки и защитного цвета пилотка с красной звездочкой.

Те, одежда и обувь у которых были ветхими, побросали ее тут же, в еловом лесу, на полянке, возле торфяного болота. Этих перемена не печалила: наоборот, кое-кто, грустивший не один раз, теперь приободрился и по-детски улыбался, любуясь обновками.

— Чему радуетесь? — хотелось задать вопрос невзыскательным людям.

Для большой группы ополченцев это был один из самых печальных дней. До этого наша внешность еще говорила о какой-то связи с недавним прошлым. Теперь наше тело было облечено в стандартную форму. И все мы со своими страданиями, недоумениями, тоской—должны были и внутренне превратиться в стандарты, в послушных, нерассуждающих марионеток, которые должны беспрекословно исполнять волю тупых, безмозглых и жестоких командиров. Теперь все прежнее — московская квартира, родные и близкие, творческая работа — казалось принадлежностью иной планеты, на которую нет возврата.

Марш продолжается. Вещевая сумка с бельем и патронами, противогаз, винтовка оттягивали плечи и сдавливали грудную клетку. Натруженные ноги шагали как будто по раскаленным плитам. Пройдя 40 километров я стал спотыкаться. Егор Иваныч пропал. Витя задыхался:

— Не могу, давайте отстанем и зароемся в сено.

Я вял его под руку. Мы оба качались, как только что вставшие после изнурительной болезни. Теперь, после долгих месяцев войны, многим знакомо это состояние: своя часть далеко, нас перегоняют другие батальоны, вот плетутся, хромая и проклиная все на свете отдельные группы всех подразделений, наконец, и они исчезают... Мы одни. Идти или упасть? Перед глазами темные круги... Голоса людей чуть слышны во влажном воздухе ночи. Но вот замирают последние. Проходим

мимо совхоза, где жутко завывает тоскующий одинокий бугай, бродя по огородам.

Опустошенные, издерганные рабы — мы все еще движемся, только нашим движением ведает уже не сознание, а ботинки, брюки, гимнастерка... Ноги же ступают по твердой, кочкастой дороге потому, что вставлены в движущуюся оболочку... На западе гул войны и сполохи пожаров.

— Больше не могу, — умоляет Витя.

— Потерпи еще одну минуту. Видишь на пригорке деревню? Дальше не пойдем...

***

Вот оно — это желанное пристанище. Возле каждого дома палисадник. Заходим в один и слышим многоголосый храп. Ополченцы лежат вповалку, прижавшись друг к другу. Тоже самое у всех домов. Поднимается ветер. Деревья шумят. Мы стелем палатку рядом со спящими на другом конце селения и тут же погружаемся в сон, похожий на смерть.

Но очень скоро к нам возвращается жизнь — постылая, нелепая, нежеланная жизнь — страдание. Ветер пронизывает наши тела в пропотевшем белье. Надеваем сухое, но это не спасает от озноба. Робко стучим в окно — никакого отклика; стучим в другой дом — и там молчание. Что же делать? Короткий отдых недостаточен после такого перехода. Заняться для согревания гимнастикой — нет сил. На востоке светлеет.

Витя хочет снять ботинки и не может. Я развязываю ему кожаные шнурки, осторожно стаскиваю пудовые буцы. Он разматывает портянки и вскрикивает от испуга: на ногах огромные кровавые волдыри, к которым нельзя прикоснуться. Мы удивляемся, как он мог пройти такими ногами полсотни километров. Ищем затишья, не думая в этот момент ни о своей части, ни о дальнейшем пути.

— Сегодня мне исполнилось 15 лет... Чуть не забыл, — говорит равнодушно несчастный. — Когда бывал дома, этот день отмечался особенным обедом... с пирогами... приходили товарищи... мечтали, спорили... было весело и шумно.

— Чем же мы отметим такую дату? Может быть черствым хлебцем?? — спрашиваю я шутливым тоном.

Мы располагаемся на полусгнившем крылечке с тремя ступеньками. К нам осторожно приближается красный петух. Сбочив голову, он удивленно смотрит на нас Бросаем ему крошки хлеба. Он глотает их неспеша. Его любопытство в эту минуту сильнее, чем утренний аппетит.

Открывается скрипучая дверь и на улицу выходит дряхлая старушка лет семидесяти. Мы рассказываем ей о своих недугах. Она подносит к глазам фартук и зовет нас в дом, где ставит на стол огурцы, хлеб и горшок молока.

— И мои вот так же где-нибудь мучаются... Спаси их Царица Небесная, ласковые они у меня были, уважительные.

Хозяйка укладывает нас на горячей печке, и мы снова прощаемся с дикой реальностью, которая называется жизнью. Двое суток прожили мы у гостеприимной Даниловны. Как нам хотелось остаться у нее на все время войны и заменить собою трех мобилизованных неженатых сыновей. Исправно и добросовестно, по родственному, мы вели бы хозяйство и покоили ее старость, не прося за это ничего, кроме теплого угла. Кусок хлеба мы сумели бы добыть своим трудом... Несбыточная мечта!

***

На третьи сутки нас подобрал грузовик, шедший в сторону Вязьмы. Когда мы нашли свою часть, то выслушали грозные нотации сначала взводного, потом ротного и, наконец, батальонного командира. Все они были уверены, что мы симулянты и никуда негодные бойцы. Снова не один раз были произнесены слова «карцер» и «расстрел»... Наши товарищи, в том числе и Егор Иваныч, уже рыли окопы, ходы сообщений, блиндажи и противотанковые надолбы. Грунт был убийственный. Под тонким слоем серой почвы, похожей на золу, залегала порода, неподдающаяся лопате. Кирок не было во всей дивизии. Взводный лейтенант видел, что ополченцы бессильны в борьбе с каменными глыбами и все-таки бубнил:

— Приказ командира полка должен выполняться свято и нерушимо. К завтраку окопы должны быть закончены!.. Будете рыть всю ночь!

Я был дневальным. Глядя на круглую луну, нырявшую в облаках, я улетел мыслями к многочисленным друзьям, рассеянным по несчастной русской земле. Что они переживают в эти дни? Какая участь постигла их? Неужели и они стали жертвой бессмыслицы?

До утра звенели лопаты о камни.

— Погибнем, — стонали старики и молодые ополченцы.

Прошло три месяца. Губительные переходы сменялись издевательским перебрасыванием земли с одного места на другое. Мы были уверены, что немецкая армия не пойдет со своими танками там, где мы готовили для нее ловушки, годные лишь для детской игры.

— Неужели этого не понимают командиры? — недоумевал каждый из нас.

За три месяца мы не сделали ни одного выстрела. Нам даже не показали, как нужно держать винтовку во время стрельбы. Мы укладывались спать, где придется, не раньше 12 ночи, а в 4 часа утра уже раздавался голос старшины: «Подымайсь!» Неделями мы не имели возможности разуться и подержать на воздухе истомленные, пропотевшие ноги.

Газеты, радио и политруки твердили нам ежедневно о немилосердных расправах неприятеля с пленными. Каждое такое внушение заканчивалось словами:

«Лучше покончить жизнь самоубийством, чем сдаваться в плен».

Второго октября мне сообщили, что для меня в хозчасти дивизии лежит посылка, доставленная из Москвы с оказией.

Командир роты — грубый, заикающийся солдафон с мутными бараньими глазами, разрешил мне сходить за посылкой, но с условием, чтобы я управился в течение трех часов. Три часа на восемнадцатикилометровую дорогу! — Не привыкать, — подумал я, вырываясь из своей роты, как птица из клетки.

Очутиться наедине с самим собой после бесконеч-

ных издевательств начальства, увидеть небо и деревья глазами не затурканного ополченца, а человека, для которого природа всегда была храмом успокоения, — ради этого можно было пройти и не восемнадцать километров. Я не шел, а летел, не чувствуя усталости. Я знал, что в посылке будут письма, миновавшие карандаш военной цензуры, письма подробные, откровенные и правдивые, а не те коротышки, что присылались по почте и всегда заканчивались уверенностью в победе красной армии.

День на редкость был хорошим. Светило солнце, голубело по весеннему небо, летали красные бабочки. Я шел то лесом, то кустарником, то полями. Возле прозрачного ручья я сорвал несколько малиновых листочков бересклетника и нежнолиловых крупных колокольчиков. В тот же день я послал этот прифронтовой подарок домой. Мне выдали посылку. Она была собрана сестрой и любовно уложена руками жены. Присланного хватило бы надолго, но... в ночь со 2-го на 3-е был дан приказ: выступать в бой по направлению к Ельне. Через полчаса наш батальон был уже в походе. Никогда он не казался таким утомительным, как в эту теплую, лунную ночь. Тяжелый груз резал плечи, давил на легкие, подкашивал ноги. Привалов не было. Под утро, после пятнадцатикилометрового перехода, расположились в лесу, неподалеку от деревни. Я прилег на мягком зеленом мху, но заснуть не удалось: началась выдача шинелей. Бойцы кричали, спорили, ругались. Там и сям на кострах кипятилась в котелках вода. Я угощал многих гостинцами из посылки. Витя смущенно отказывался:

— Хватит, Родион Михайлыч!..

Но его рука невольно тянулась к соблазнительным баранкам, посыпанным маком.

В 9 утра нас покормили жиденьким невкусным супом, а после полудня стали размещать по грузовым машинам. Это было впервые за три месяца. Забираясь в кузов мы не верили, что усидим там долго: ведь установка полковника была всем известна — закалять бойца переходами, голодом, жаждой, ожесточением.

— Не забудьте: нас везут на смерть.

— Ради такого случая можно сделать исключение, — с печальной улыбкой «шутили» ополченцы.

Дорога в сторону фронта была изумительной: холмы, золотистые кудри берез, темные, высокие ели, уютные поляны, последние цветы-ромашки, полевые астры, колокольчики. День был ярко солнечным. Даже равнодушные к природе восхищались красотою осени. «Может быть все это мы видим в последний раз», — думал каждый.

Настроение у всех было серьезно-сосредоточенное. Тревога мешала людям говорить, когда воспоминании о далеком и недавнем прошлом, цепляясь одно за другое. развертывались, как бесконечный кинофильм, щемящий сердце.

Почему-то на полпути все машины остановились. Над нашим грузовиком протянула длинные, красные руки приземистая, корявая придорожная сосна. На западе в сизой дымке терялась цепь холмов.

... Стоим долго. Краснощекий комбат ходит вприпрыжку вдоль машин, самодовольно потирая руки. Этот жест говорит о его уверенности в победе. А мне, глядя на него, делается еще грустнее. «Какая ограниченность, — не знать, чем дышит совершенно неподготовленная к боевым действиям масса, и все-таки радоваться... Как-то ты запрыгаешь завтра?»

И снова едем. Дорога вдоль Днепра. Перегоняем повозки, стада коров. И все это — люди, телеги, скот — охвачено какой-то нервозностью обреченности. Только деревья, травы, небо, река — спокойно-равнодушны. За много столетий Российского государства они привыкли к битвам, пожарам, грому канонады.

Едем всю ночь. Наша машина отстает, блуждает, стоит на месте и снова рывками устремляется вперед. Холодный ветер пронизывает до костей. Вчера я не получил шинели и мне пообещали выдать ее на фронте.

В кузове 25 человек — сидим, скорчившись, давя друг друга.

***

На рассвете приезжаем в деревню Уваровку, останавливаемся возле белой церкви с зеленой кровлей. Седой старик с дрожащими коленями, опираясь на палку, приближается к нашей машине и сообщает, что немцы в десяти километрах... Нас везут дальше, в Устиновку...

Поблизости, справа и слева от дороги, полыхают в трескучем пламени деревни. Воздух пропитан гарью.

В Устиновке все крестьяне грузят на подводы скарб и привязывают к телегам коров. У них замедленные движения и окаменевшие, почерневшие лица. События, свалившиеся на них, так грандиозны, что они не могут их осознать в полной мере. Они действуют, как во сне. Хотят поскорее удалиться от опасности, а ноги не движутся и в горле, вместо зова о помощи, — невнятный крик.

На телегах развешены окровавленные свежие овечьи шкуры. Что заставило крестьян уничтожить овец? Нежелание оставлять скот немцам? Боязнь, что он будет убит или уничтожен огнем? Невозможность увезти с собою? И куда они могут уехать, когда кругом море огня? Дети на руках у матерей смотрят на все с любопытством: еще никогда они не видели таких картин...

Едва мы успеваем выйти из грузовиков, как раздается крик:

— По машинам! — Наши командиры похожи на слепых щенят: без четкого плана, без намеченной цели, не зная ни сил, ни расположения противника, они каждую минуту дергают нас новыми приказами — бестолковыми, глупыми, роковыми.

Мы отъезжаем к опушке леса, на возвышенность, километров за десять. Обширное пространство перед нами забито повозками, машинами, людьми. Все это в хаотическом состоянии и напоминает развороченный муравейник. Командиры притихли, как притихают хищные звери, попавшие на маленький островок, окруженный со всех сторон бурлящим, мутным половодьем... Нас со всех сторон окружает опасность. Можно при желании уже сейчас дезертировать, но внутренний голос подсказывает, что это было бы большой непорядочностью.

Нашей роте приказано строиться и идти к высокому холму за церковью, навстречу минометным выстрелам противника.

— Мы окружены, — шепчут ополченцы.

В мелком березняке делаем привал. Витя и Егор Иваныч голодны. Достаю из мешка сухари, бублики и распечатываю банку с клубничным вареньем.

— Это никогда не забудется, если останемся жи-

выми, — говорит Витя, — вы только подумайте: гремят выстрелы, дрожит земля, взлетают на воздух деревья, через минуту нам идти в бой, но вот в это мгновенье мы еще слышим лепет березовых листьев, видим небо, едим варенье, присланное из Москвы.

Нас ведут на холм. Снаряды рвутся перед нами и позади нас. Мы залегаем. Разносится слух, что уже есть убитые и раненые. Двое санитаров проносят мимо нас на носилках стонущего старика.

«Началось уничтожение ополченцев», — думаю я. Через несколько минут поступает приказ: «Отойти от высоты». Но мы не отходим, а бежим. Запыхавшись, ложимся в воронке от разорвавшихся снарядов.

Десятки людей просят у меня сухарей: уж вторые сутки бойцы ничего не ели и не пили. Приходится со всеми делиться. Вдруг поступает приказ: «Идти в наступление на Устиновку». И мы идем, как идут на виселицу или на плаху, приговоренные к смерти. С Витей и Егором Ивановичем у нас уговор — не расставаться: «вместе проделали весь поход, вместе переживали трехмесячную тоску, вместе будем в бою». На всякий случай, заранее обмениваемся адресами: оставшийся в живых сообщит о судьбе погибших.

— Будем надеяться, что смерть минует нас всех троих, — утешаю я друзей по несчастью.

Мы приближаемся к последней черте. Еще больше, чем утром, бушует пламя впереди, справа и слева... Теперь и позади нас пожары. Мы в огненном кольце.

— Что они с нами делают? — наивно в тысячный раз возмущается Егор Иваныч.

— То же, что со всем русским народом: уничтожают миллионами, — говорю я.

***

Вот и Устиновка. Крестьяне спешно насыпают в мешки зерно из общественного амбара. Мы подходим к картофельным огородам, и вдруг перед нами разражается ливень пулеметного и минометного огня.

Кончилась глупая игра в бирюльки, пошлая трехмесячная комедия. Ну-ка, товарищи — политрук, командиры взводов, рот, батальонов и полков, покажите свои

стратегические таланты, проявите свою храбрость, расторопность, хладнокровие, сметку. Постойте, зачем же вы прячетесь в пустые сараи, жметесь к стенам домов, к плетням огородв? Так поступаете вы, окончившие военные школы. Что же делать нам, старикам и детям? Залечь в картофельную ботву? Попробуем. Но противник замечает нас: снаряды рвутся совсем близко.

Кто-то кричит издали: «Отходи к лесу». Пригнувшись, бежим вдоль домов, обезлюдевшей деревни. «Где наши пулеметы?» — спрашиваем друг друга. Чем защищаться? Винтовками? Но куда стрелять, если цель не видна? Мы бежим кустарником вдоль дороги, падаем и на этом месте переползаем на метр левее или правее, как нас учили. Далеко впереди улепетывают командиры. Но вот они спохватываются и кричат: «Стой, стой! Куда? Ни с места! Приготовиться к бою!»

В той стороне, откуда свистят пули и завывают мины, мирно пасутся на пригорке кони, коровы, овцы, они щиплют траву, а мы бежим. Вот новенький мост, пахнущий свежими сосновыми досками через узкую канаву, пересекающую шоссе. Прячемся под него с Витей. Запыхавшийся Егор Иваныч отстал.

— Скорее! — кричу я.

— Не могу, — хрипит он, — сейчас пойду, сдамся в плен.

— Вы же знаете, как неприятель расправляется пленными! Читали газеты?

— Брехня!.. Что может поделать неприятель с беззубым стариком?

На всякий случай он лезет под мостик. Канавка так узка, что втроем нам тесно.

— Что делать? — спрашиваем друг друга. Витя берет мою руку и прикладывает к своему сердцу.

— Дорогой мой, оно у тебя сейчас разорвется!

— Все равно, — говорит он безнадежно, — часом раньше, часом позже. В живых нам не остаться.

Наконец-то заработали наши пулеметы. Возвратившаяся разведка сообщает:

— Устиновка занята немцами.

Под мостик лезет четвертый долговязый, глуховатый ополченец, страдающий куриной слепотой. Ночью его нужно водить под руки. Сейчас он сообщает нам: «Ком-

бат позвонил по полевому телефону комдиву: «Как быть? Все пулеметы подбиты». — «Идите в штыковую атаку!» — ответил комдив.

По шоссе пробегает откуда-то появившийся полковник — окающий, грубый чурбан в возрасте пятидесяти лет с двумя орденами. По отношению к нам он все время держался принципа: «Закалять бойцов голодом, длительными переходами, копанием земли без передышки». И сюда он пригнал нас голодных и жаждущих потому, что сытый человек будто бы тяжело переносит ранения. Неподалеку от него разрывается мина. Подобрав полы шинели, полковник удирает что есть духу. Противник уже обстреливает нас с трех сторон. Семнадцатилетний связист с обезумевшими глазами бегает вдоль шоссе с донесениями, которые никому не нужны:

— «Убиты такие-то и такие-то».

— «У нас в тылу — танки».

А вы все еще лежим под мостиком.

— Давайте вылезать, — предлагаю я. Первым выходит страдающий куриной слепотой, потом Егор Иваныч. Вдоль дороги со сверлящим воздух шипением пролетают мины. Пытаемся увидеть их и не можем, хотя нам кажется: подними кто-нибудь руку и она будет скошена, как травка.

Что случилось с Егором Иванычем? Он падает и судорожно извивается. Быстро вылезаем из под мостика, втроем укладываем его на палатку и несем туда, куда бегут отступающие. Раненый стонет:

— Спасите... Выньте из кармана деньги... Двадцать семь рублей... Слепятся от крови!..

Лицо у него черное. Кровь хлещет через палатку.

— Ой, — издает он последний вздох и затихает. Мы оставляем его в кустах вместе с палаткой. Его пожелание остается невыполненным: мы не вынули денег, о которых он беспокоился, из окровавленных карманов. Зачем они нам? Спасение от гибели на них не купишь.

Бушует ветер. Шум березовых ветвей при дороге сливается со свистом снарядов.

В шесть часов вечера поступает приказ: «Отойти на возвышенность к востоку».

Мы бежим под гул взрывов: подожжен своими же сарай с запасами снарядов в Уваровке, где мы были рано

утром. Какой страшный фейерверк взлетает к небу! Снаряды рвутся сразу тысячами. Огненные шары взмывают кверху. Искры зловещей метелью заполнили все пространство между небом и землей на десятки километров вокруг. Такой ужас я представлял в детстве, читая о последних днях Помпеи. Бойцами все больше овладевает паника. Скрыться бы куда-нибудь от ужаса, не слышать канонады, не видеть пожаров. Но возможно ли это? Нет, нет, вся земля — кромешный ад...

***

Проходим через маленькую деревеньку. Двери домов раскрыты настежь. Многим знакомо ощущение холода на душе при входе в опустевший дом. Человек — душа жилища. И когда эта душа покидает свое обиталище, оно превращается в труп. Опустевшее селение — это целое кладбище. Свистит ветер в колодезном журавле, раскачивая разлохмаченную веревку без бадьи... И меня и Витю терзает жажда. Забегаем в избу — на столе горшки, кружка, стаканы. Пробуем один горшок — пустой, берем другой, трясем — что-то плещется. Не зная, что это — помои, квас, вода или молоко, наливаем в стаканы... Молоко. Жадно пьем. Молоко с медом. Мгновенья блаженства, а потом тревога: может быть в горшке была отрава?.. Выбегаем. Ополченцы уже далеко. За деревней подводы, возле них трясущиеся женщины, старики, дети. Испуг заморозил их — не слышно ни громких разговоров, ни рыданий. Даже малыши на руках сосредоточенно молчаливы. Только визг поросенка, завязанного в мешке, говорит о том, что все эти подводы и люди возле них — не привидения, а действительность. Остатки нашего полка собираются на холме. Самолеты обстреливают нас трассирующими пулями, похожими на золотых пчел. Горизонт со всех сторон объят заревом пожаров. Вот оно — лицо войны. Но в эти минуты, так же, как до этого и после и даже теперь, когда я пишу об этом, я еще не могу свыкнуться с мыслью, что все пережитое Россией и русскими людьми — реальность, потому что страдания и ужасы, свалившиеся на нашу несчастную родину так велики, что их нельзя понять рассудком и объять вообра-

жением, как нельзя представить размеров бесконечности вселенной с мириадами планет, рассеянных в мировом пространстве.

Долго, суматошливо нас выстраивают на дороге. Полковник орет:

— Вы не умеете даже отступать! Как же с таким стадом идти в наступление?

А что было сделано тобою, чтобы мы не походили на стадо? Только матерщину изрыгали твои уста. Три месяца ты обращался с нами, как лютый зверь обращается со своими жертвами — ни дружеского слова, ни ободрения, ни мудрого совета — никто не слышал от тебя. На рябой, самодовольной физиономии всегда была тупость. Твои питомцы лейтенанты были тебе подстать. Испепеляющей ненавистью ко всем вам было переполнено сердце каждого ополченца. Многие жили мечтой: первыми пулями на фронте уложить вас.

Наконец мы трогаемся. Нам с Витей навязали нести ящик с гранатами. Широкое шоссе поднимается в гору. Слева и справа лес. Ветер притих. Слабо шелестят ветви берез. На небе полная луна. Идем робко, как по краю пропасти. Из лесу взвиваются желтые, красные и голубые ракеты. Это сигналы для неприятельских пулеметов. Тра-та-та-та... Очередь за очередью летят в нашу сторону. Каждый жмется в середину.

Предчувствие не обманывает: впереди нас ждет что-то еще более страшное, чем то, что было до сих пор. Мы бредем, как толпа, охваченная ужасом перед надвигающейся опасностью. Лес остается позади. Двигаемся по черепашьи, как будто у нас завязаны глаза. Луна освещает окрестности: мелкий кустарник слева от дороги, поле с правой стороны и силуэт деревни вдали. Впереди на дороге, по которой мы идем, стоят какие-то машины, похожие на танки, телеги и мирно пасущиеся лошади. Вот слева от нас, наискосок, по направлению к машинам движутся три фигуры.

— Немецкие разведчики, — шепчем мы. Комбат приказывает перехватить их, но из нас никто не трогается с места. — Кому я приказываю? — разгневанно кричит начальник. В этот момент одна ракета взвивается к небу, другая стелется над землей. Свет такой яркий, что видно каждую придорожную травинку. И в ту же секунду...

***

Прошло уже несколько лет с той ночи, а я все еще не могу найти слов, чтобы описать то, что последовало вслед за ракетами. Если днем был ливень огня, то сейчас бушевал всесокрушающий шторм. Минометы, пулеметы, автоматы, шрапнель — обрушились на нас — почти безоружных, измученных, опустошенных. Мы бросились на землю и поползли. Ротный, не поднимаясь, закричал:

— За мною, ура!

Но ни одна душа не двигалась.

— В атаку, гады и подлецы! Ура!

Кое-кто встает, хриплым, перерывающимся голосом, кричит: «Ура!» Но огонь усиливается и снова все падают, стараясь теснее прижаться к земле или найти хоть маленькую ямку для головы. Застонали в разных местах раненые.

— Держись за меня,—шепчу я Вите, переползая влево от дороги. Вот траншея, — к сожалению, очень мелкая. В ней можно укрыться только лежа. Сюда ползут другие, давят друг друга. Комбат взывает к сознательности, говорит, что нас в бой послал «великий Сталин . Командир полка кричит: «Не позорьте моих седин!» Народ не двигается. Лишь слышны стоны раненых. Я рою углубление в траншее, чтобы спрятать голову. То же делает Витя. Ракеты, описав дугу, на несколько секунд застывают в воздухе, как бы разглядывая нас. Пулеметный обстрел усиливается. Мы прикрываемся шанцевыми лопатками. Пули звякают о лопатки и, отскакивая в бруствер, осыпают землю. Что я испытываю в эти минуты? Мне чужд панический страх. Я вспоминаю, как однажды стоял в очереди за билетом в Художественный театр. Меня охватывала тревога: неужели не достанется? В тот раз счастье улыбнулось мне. Может быть теперь я получу ордер на жизнь?

Два человека справа от меня уже убиты.

— Страшно? — спрашиваю я у Вити.

— Умереть? Нет...

Какой-то дурак из нашей траншеи пускает очередь из полуавтомата. В отместку за это нас поливают пулеметным огнем.

— Ой! — вскрикивает Витя и валится в мою сторону со словами:

— Конец... Если попадете в Москву, расскажите... маме...

Кровь из раны течет мне на грудь. Я достаю индивидуальный пакет, расстегиваю телогрейку мальчика — рана в правый бок. Вместе с кровью со свистом вылетает воздух. Забинтовывая раненого, думаю: «Чем его утешить?» Сказать: «Пустяки, поправишься» — не могу. Продекламировать: «Ничего, мой дорогой, у тебя вся жизнь впереди!» — не могу... Может быть ему осталось жить несколько минут... Жил ли он? Нет. Рожденный в 1926 году, он, уже трехлетним, вступил в полосу страданий, начавшихся для всего русского народа вместе с коллективизацией. В детском саду он должен был петь благодарственные песни в честь того, кто будто бы осчастливил новое поколение. В школе он повторял вместе со всеми: «Спасибо великому Сталину за счастливое детство», не зная, что такое настоящее счастье. К пятнадцати годам он нажил порок сердца, изнурил себя физически и, в довершение всего, был брошен в общую мясорубку с тысячами сверстников, оторванных от единственной радости — быть вместе с родителями...

За три месяца ополченства он подавал не менее пяти рапортов об освобождении. Над ним издевались: «Говоришь — нужно учиться? — Вот твоя учеба, молодой человек!» И показывали на тяжелую лопату, которой он должен был копать противотанковые надолбы.

— Пристрелите меня, Родион Михайлыч, — просит раненый.

— Потерпи немного... Сейчас нас возьмут в плен. Тебя положат в госпиталь. Может быть рана не так опасна?

— Я... не могу... дышать... Почему здесь так мало воздуха?

Озноб потрясает все его тело и передается мне.

— Холодно, — стонет умирающий. Да, я чувствую, что он умирает.

***

В блокноте у меня записаны два адреса: «Деревня

Степаньщина, Воскресенского района, Московской области, Егор Иваныч Пыляев» и другой: «Москва, Малая Грузинская, дом 7, кв. 2, Виктор Долин».

Суждено ли мне побывать в семьях моих погибших соратников?

Что я скажу жене Егора Иваныча и матери Виктора? Что они умерли на моих руках и тело первого я оставил под березой, а второго — в траншее, переполненной трупами?

О, Боже, дай мне сил передать когда-нибудь скорбную весть родным моих погибших товарищей.

ДВЕ ДУШИ

Волжская пристань уездного городка кишмя кишела народом: ждали теплоходов общества «Кавказ и Меркурий» сверху и снизу. В этом месте они встречались.

В толпе было много уезжающих и не мало таких, которые встречали родственников и знакомых.

Июльская жара смягчалась легким ветерком с широкой ленты реки. День был воскресный. Парусные и весельные лодки скользили по всем направлениям. Против пристани желтела песчаная коса. Она была усеяна полураздетыми людьми, которые нежились под горячими лучами солнца.

Неподалеку от берега в два ряда расположились торговцы и торговки. Они шумели, расхваливая свой товар — стерлядки колечками, жареных цыплят, блинчики в сметане, свежие бублики, самодельные колбаски, ватрушки с творогом, пирожки с мясом, здобные плюшки, заливную поросятину, вишню, клубнику, ранние яблоки,

ядреную брагу, тыквенные и подсолнечные семечки, копченую и вяленую тарань.

К моменту скрещения теплоходов из городка приходило много молодежи — поглазеть, развлечься, услышать какие-нибудь новости. Встреча пароходов была главным удовольствием летней поры в глухом городке.

Очень радостным был момент, когда одновременно на горизонте снизу и сверху показывались белые красавцы. Они увеличивались по мере приближения. Быстрее в эти минуты двигались лодки: всем хотелось попасть на двойные водяные валы, чтобы пережить сладостное чувство взлета и взвизгнуть при этом от удовольствия.

Особенно оживлялись торговцы. Возбужденные желанием — распродать весь товар — они раскладывали его так, чтобы он был на виду. Назойливых мух отгоняли полотенцами и метелками из перьев. У некоторых были жаровни с тлеющими углями. Когда теплоходы приближались, в жаровни подбрасывали свежие угли и маленькие березовые полешки. На сковороде начиналось соблазнительное шипение. Жир булькал и брызгался с треском.

Пассажиры выходили на берег — размяться, посмотреть, нанюхаться всяких ароматов. Тут был русский дух — мяса, рыбы, свежих ягод, простонародных цыгарок, сапожного дегтя и лампадного масла, которым многие смазывали голову для «благообразности».

Сначала причалил теплоход шедший снизу. Он назывался «Двенадцатый год» — в честь Отечественной войны против ринувшихся на Россию «двунадесяти языков». Другой теплоход назывался «Бородино».

Это было за несколько дней до начала мировой войны. В стране царило благополучие. Народная сила искала выхода.

Людские потоки с теплоходов веселили зевак и праздношатающихся . В торговом ряду появились хорошо одетые интеллигенты, красивые барышни в легких летних платьях, священники в цветных рясах, бравые военные. В запахи торга влились заграничные духи и аромат дорогих папирос.

У самого края торгового ряда примостилась толстая торговка. Ее белорозовые щеки, раздувшись, почти

закрывали глаза. Красный платок завязанный на затылке, был приманкой для покупателей. Рукава белой кофточки с зеленым горошком торговка завернула выше локтей. Голубой фартук прикрывал ее пышную грудь.

— Почтенные... уважаемые... милые... хорошие... любезные, а вот заливной поросеночек — и целый и кусками... недельный... молочный... сама выходила... во рту будет таять... вовек не забудете тетку Евлампию...

Поросенок лежал в жаровне вниз мордочкой. Кожа его была такого же цвета, как лицо у хозяйки. Казалось, что она — его мать.

К ней подошел парнек лет семнадцати и стал прицениваться к разрезанным кускам, лежавшим на деревянном блюде. Движения молодого человека были неторопливы. Он снял с затылка синюю фуражку и стал обмахивать темные вьющиеся волосы.

— Коль не распродашь, тетка, я куплю остаток... Ты мне уступишь немножко?

— Бери сейчас, пока не отчалили теплоходы.

— Я жду «Купеческого»... «Кавказ и Меркурий» в нашем селе не пристает.

После второго гудка, одновременного на обоих теплоходах, пассажиры заспешили по узкому скрипучему мостику на пристань. На берегу остались местные жители и все те, которые ожидали других пароходов. Нижние и верхние палубы, носовые и кормовые части обоих судов были заполнены людьми. Наверху — первый сорт, благородные, хорошо одетые, надушенные, внизу — трудовой народ. На пристани столпились провожающие. Замелькали сотни платочков и рук.

— Пишите! — кто-то кому-то кричал с пристани. С удаляющихся теплоходов что-то отвечали, но разобрать было уже невозможно. Не только платочки, но и люди на балконах и палубах превращались в точки.

Кое-кто из торговцев, распродав свой товар, медленно удалялся от берега, но большинство осталось дожидаться «Купеческого», который по расписанию вскоре должен был подойти с верховья.

Паренек в синей фуражке купил у Евлампии кусок холодной поросятины и, завернув его в зеленый лопух, сунул в холстинный мешочек. Как только он отошел, торговка закричала истошным голосом:

— Караул!.. обокрал!.. когда подходил, деньги были целы, а как отошел, в кармане пусто... несчастная я сирота... обездолил ворюга... вон энтот... кудлатый... хватайте, покуда не утек!..

Услышав крики, паренек побежал и это погубило его. Толпа догнала «вора» и, не допросив ни его, ни торговку, стала избивать несчастного. Его свалили с ног и принялись топтать подкованными сапогами. Какой то силач, похожий на цыгана, схватил поверженного за грудь и стал стукать головой о перила мостика. Расторопный рыжий мужиченка, отбив горлышко у пустой бутылки, вонзил ее в израненную голову острыми зубчатыми краями.

Паренек сначала оправдывался, кричал, потом стонал, а под конец совсем затих. Тогда разъяренная толпа решила бросить его в воду. Труп затащили на пристань и, раскачав, забросили подальше — на съедение сомам и щукам, как шутили некоторые. Все думали, что он сразу пойдет на дно. Но, очутившись в воде, парень пришел в себя. Когда толпа увидела его на поверхности реки, удивлению не было конца.

— Какой живучий дьявол!.. Вот что значит русская натура — ничего ей не делается, хоть жги ее, хоть в воде захлебывай!..

Он даже тихонько поплыл. Вокруг было много лодок. Направился к ближайшей — розовой, на которой сидело четыре человека. С берега заорали:

— Бейте, бейте его!.. Женщину начисто обворовал... прикончите эту падаль!..

Паренек уже хотел ухватиться за борта лодки. Но один из сидевших в ней размахнулся дубовым веслом и ударил по голове еле державшегося на воде человека. Сразу он скрылся под водой и больше не показался.

— Слава Богу, — сказала торговка, продавшая пареньку кусок поросятины.

— Радуешься гибели человека? — спросили у нее с озлоблением.

— Наплевать мне на него!.. Радуюсь, что деньги нашлись... Я, оказывается, засунула их в карман нижней юбки от воров.

— Значит, возвела на человека напраслину?.. Значит, он невинно принял мученическую смерть?.. Ах,

ты змея подколодная!.. Ребята, хватайте эту людоедку!.. Колошматьте ее, по одной жилочке из жирного тела вытягивайте!.. Она на человека ябеду возвела... Болезный... может к родной матушке торопился, а мы его ухайдакали из-за этой толстой свиньи!..

Та же толпа, которая только что терзала парня, теперь, в отместку за него, набросилась на торговку. Того мучили и прикончили парни и мужики. На эту ринулись женщины. Они сорвали с ее головы красный платок и, как будто он был главный виновник несчастья, стали рвать его на мелкие ленточки. Другие располосовали кофту, третьи растеребили косы и намотав их на руки, стучали головой о пустую чугунную жаровню.

— Хватайте бессовестную, — кричали рассвирепевшие женщины мужикам, — из-за нее мы согрешили душегубством... Коль не чебурахнем в Волгу, не будет нам прощения от Бога на том свете!..

Женщина визжала, стонала, ругалась, грозила, но ей затыкали рот. Четыре дюжих мужика приволокли ее на пристань. Там сидела монашенка с раскрытой Библией. Какая-то маленькая испуганная старушечка в сером платочке часто крестилась, повторяя: «Помяни, Господи, душу потопленного раба Божия... водвори его в святых обителях за принятую муку от злодеев...»

— Что с ней делать? — спрашивали четыре мужика.

— В Волгу, в Волгу! — орала сбежавшаяся толпа.

— Ну, что ж, в Волгу, так в Волгу, не одному пареньку кормить щук и сомов в реке... На этой сала побольше... Эй, дубинушка, ухнем!

— А может быть пожалели бы, — подала голос монашенка, — она бы на монастырь пожертвовала, замолила бы свой грех...

«Прощай, прощай,
по ночам не стращай», — с этой прибауткой, сказанной нараспев, торговку бросили в воду. Плавать она не умела и камнем булькнула на дно.

— Как по вашему, матушка, — обратились к монашке мужики, — Бог смилостивится над нами?

— В Ветхом Завете виновных побивали камнями, а вы погубили человека через потопление.

— Не человек это, а змея, мы за правду вступились.

— Да, да, матушка, за святую правду! — зашумели женщины.

С запозданием на берег прибыли полицейские. Кое-кого арестовали. Толпа не разбредалась, как будто ожидая новых страшных событий.

Купеческий пароход запаздывал.

На западе быстро собралась туча. Скоро засверкала молния, загремел гром. Вода усиливала его звучание. Небо все больше темнело. Подул ветер. Речные просторы покрылись белыми барашками.

Народ с берега побежал на пристань. Полил дождь — сплошной водяной толщей от неба до земли. Природа хотела смыть следы двух преступлений озверелой толпы.

1965 г.
Санта Барбара.

НАУКА ДЕДА ЯКОВА

Широкая улица села тянется вдоль реки. Посреди темнеет дорога, а от нее до самых домов — зеленая мурава. Избы деревянные, почти все трехоконные с тесовыми и железными кровлями. Палисадники редки. Но почти возле каждой избы или длинная узкая скамеечка, врытая в землю или оструганные бревна.

Время весеннее. Солнце приятное. День воскресный. Посреди села, на широкой зеленой площади — белая кирпичная церковь. Купол и колокольня покрашены темно-синей краской. Позолоченные кресты сверкают под солнечными лучами.

Люди после обедни пообедали и вышли на улицу — посидеть на бревнах и скамейках.

Молодежи сидеть неохота: скучно слушать разговоры старших о разных делах и хозяйстве.

Большая толпа идет серединой улицы и поет протяжную красивую песню о казаке, убежавшем из турецкой неволи.

Песня не мешает приветствовать низкими поклонами отцов и матерей. Голоса в это время немного затихают. Сидящие на скамейках и бревнах отвечают на поклоны вставанием, хвалят детей за учтивость, любуются яркими нарядами девушек, скрипучими сапогами парней, их картузами набекрень, кудрями, цветными рубашками, витыми поясами с шелковыми кистями.

Немного поодаль от толпы важно вышагивает самый нарядный парень. Ему хочется, чтобы все обратили внимание на его сапоги с лаковыми голенищами, на лаковый козырек черной фуражки, на котором солнце играет, как на церковных крестах. Из-под козырька русый клок волос топорщится кверху густыми завитками. Рубашка на парне кремовая, с перламутровыми частыми пуговицами, пояс голубой, синие брюки с широким напуском, как у цыгана.

— Василий, чего отстал? — зовут парня товарищи.

Но если он будет со всеми, кто его заметит? Он из самой богатой семьи. У отца Ивана Федоровича полдюжина коней, пасека в лесу. Его знают не только в своем селе, но и во всех окрестных деревнях. Многие хотели бы с ним породниться. За красавца Василия согласилась бы выйти любая девушка. Такие женихи на дороге не валяются. Парень знает об этом и потому не хочет смешиваться с толпой. Когда молодежь делает общий поклон старикам, Василий задирает голову кверху.

— Гордый, — говорят о нем сидящие на скамейках и бревнах.

— Ему есть чем гордиться, — добавляют другие.

Но вот навстречу, опираясь на тяжелую, шишковатую палку, загнутую вверху полукругом, медленно идет старик с длинной белой бородой.

— Дедушка Яков на разгулку вышел,—говорят у всех дворов и как только он равняется с какой-либо группой, все первыми встают, низко кланяются и громким хором говорят:

— Здорово, дедушка Яков!

— Здорово, почтенные, — отвечает старик.

Дедушке Якову перевалило за девяносто. Он участник Русско-турецкой войны. Награжден медалью, которую прикрепляет к груди, когда выходит на улицу. Не один раз рассказывал он, за что его отличили из массы воинов:

— Выпалил враг бонбу из пушки. На покатость упала. Катится к нашим позициям. Фитиль дымится. Вот-вот огонь достигнет середины бонбы — тогда всем нам гибель. Наши ребята кричат: «Убегать надо, спасаться». А я говорю: «Зачем убегать? Лучше затушить ее».. Рванулся вперед, на бегу схватил ком грязи и запечатал ее, как бутылку пробкой. Огонь заглох, до середины не добрался, а я взял и со всего размаху отпихнул ее в канаву: «Отдыхай, голубушка»... Покатилась она, как тыква и в грязь шлепнулась. Товарищи закричали: «Молодец, Яков!.. Качать тебя за это!» — «Что ж, качайте, храбрецы»... В тот же день доложили обо мне начальству и вот с тех пор ношу эту медаль за смелость.

Жена у дедушки Якова померла, когда ему было 70 лет, вскоре умер и старший сын. А младший с семьей переселился в Сибирь. Звал с собой отца, но старик сказал:

— Где родился, тут и помру... Не поворачивается душа — от родного села отречься.

У дедушки Якова небольшая избушка, за избушкой огород и садик. Добрые соседки не оставляют старика своими заботами: и постирают, и залатают прохудившееся и нанесут в праздник стряпни.

За огородом и садиком сам присматривает. В саду три колоды с пчелами. С ними дедушка живет в большой дружбе: еще ни одна за долгую жизнь не ужалила. А по длинной седой бороде и по голове любят они прогуливаться. Потому всегда такой хороший дух от пчеляка — и воском, и медом, и цветами весь он пропитался.

Молодежь любит его за добрые советы и за рассказы о далеком прошлом.

Приостановились все и петь перестали. В пояс поклонились старику:

— Здравствуй, дедушка Яков!

— Здорово, хлопцы, люблю ваши песни слушать,

сам когда-то певал, а теперь вместо голоса одна хрипота осталась...

Василий на отшибе. Что ему за нужда кланяться старику? Молодому со стариком родства не водить, ни с какой докукой не постучится он к этой древности.

Молодежь хочет дальше идти, но дедушка Яков всем говорит:

— Погодите малость!

Белокурого гордеца к себе подзывает:

— А, ну-ка, подойди сюда!

— Зачем это мне к тебе идти? Коль тебе нужно, сам подойди!..

— Ах, вон какие дела?.. Хорошо, подойду, только после ни на кого не пеняй.

Бодро подходит к Василью, с минуту смотрит на него в упор, изловчается и со всего размаху — трах по спине костылем и раз, и два и три!..

— Ты не имеешь права бить меня!..

— Врешь!.. Имею, да еще какое!.. Мне девяносто два, а тебе восемнадцать... Как ты смеешь не почитать старость? Я Россию матушку защищал, с турками воевал, за смелость медалью награжден, а ты предо мною, пащенок, нос задираешь, своим богатством великанишься?.. Нынче же скажи отцу и матери, что тебя отколошматил дедушка Яков при всем честном народе, да не забудь признаться, за какую провинность!

Стыдно Василию перед товарищами и всем народом. Сбитый с головы картуз даже не отряхнул от пыли. В первом переулке свернул налево. Теперь не до гулянья в зеленых лугах: все смеяться будут. Домой задворками пробирается, грозится:

— Погоди, старый хрыч, отец не посмотрит на твою медаль, на сходе пристыдит за самоуправство!

Все село в тот же день облетела диковинная новость: дедушка Яков огрел три раза по спине костылем Василия Петухова за непочтительность. Что-то теперь сделает отец этого зазнайки?

Иван Феодорыч в отъезде: за 20 верст вместе с женой наведывался насчет покупки земли. Вернулись поздно вечером, когда в селе все спать полегли. Ничего не узнали в этот день родители. Утром за завтраком сын единым словечком не обмолвился о вчерашнем конфузе.

Соседи тоже не решаются рассказывать отцу о расправе Якова с Василием. Все село говорит об этом, только в доме Петуховых молчат.

На четвертый день сам старик пришел к богачам. Они только что из-за стола вышли после обеда. Перекрестился на образа Яков, поклонился хозяевам:

— Здравствуйте, люди добрые.

— Здравствуй, дедушка Яков, может быть подкрепиться хочешь? Садись за стол.

— Благодарствую. Только что от стола. Пришел насчет сынка вашего. Рассказал он вам, что я сделал с ним?

Красней арбузной мякоти стало красивое лицо Василия. Даже белая шея огнем заполыхала. Хотел выйти в горницу, но отец властно крикнул:

— Стой!.. Ни с места!.. Расскажи, дедушка, коль у него язык корова отжевала... Садись на лавку и рассказывай... Садись и ты, Алена, а он пусть стоит и своими буркалами хлопает!..

Сел и хозяин. Уши навострил — деда слушать, а синими глазами на сына молнии мечет, русую бороду в эти минуты хотел бы удалить с подбородка... От предчувствия жарко, а борода еще больше огненности придает. Мать вздыхает. И она приготовилась к худой вести.

С самого начала поведал дедушка о случившемся. Упомянул о ясном дне, о народе возле изб, о почтительных девушках и парнях, о поклонах старому воину — участнику Русско-турецкой войны и вот об этой самой медали на груди.

— Все были, как люди, только у одного человека изо всего села не оказалось Бога в душе. Когда все люди кланялись, этот человек задрал нос кверху, я, мол при богатстве плевать на тебя хочу! Кто это был? Вот этот самый гордец, ваш сынок красавец. Не стерпела моя справедливая душа, подошел я к нему и три раза огрел костылем. Но мало этого: велел ему сказать обо всем отцу и матери. И вот хочется мне сейчас спросить: сказал он или утаил?

Пот крупными каплями катился по лицу Василия, русые кудри прилипли к широкому лбу.

Вскочил с лавки Иван Федорович, схватил за грудь сына, зловеще тихо спросил:

— Почему не сказал, поганец?

— Забыл...

Не стерпел отец сыновней лжи, вцепился пятерней в мягкие кудри, рывками три раза пригнул голову до пояса.

Поднялась с лавки мать, увивается возле мужа и сына, жалко и того и другого, думает: «Хоть бы не искалечил»...

— Знаешь, что ты наделал себе и нам? Кто теперь согласится выйти за тебя замуж? Какими глазами я буду глядеть на людей? Дегтем ты себя и нас опачкал... Рано тебе нос задирать... Не тобой нажит достаток, не тому тебя учили отец и мать!.. Кланяйся в ноги дедушке Якову, проси прощенья, чтоб мы тебя родным сыном считали!..

Теперь не только пот, но и слезы покатились по щекам парня, улетучилось зазнайство, последней тварью почувствовал себя Василий. Упал на колени перед седым стариком, перед его сверкающей медалью на груди, обхватил его ноги, дрожит всем телом:

— Прости, дедушка Яков, никогда больше не буду так делать... По глупости петушился, по несмышлености...

— Бог простит, паренек... Ты думаешь, я против тебя ношу зло в сердце? Для твоей пользы решил поучить тебя... Пусть запомнит твоя душа эту науку на всю жизнь!..

Склонился старик над коленопреклоненным, обнял его, кудрявую голову расцеловал.

— Вставай, вставай, касатик, дай Бог тебе на первой красавице жениться — покорной, ласковой, угодливой.

Старил взял поверженного подмышки, помог встать ему. Сын оглянулся на родителей, а они тоже плачут — не от досады и позора, что теперь все село говорит о них, а от радости, что сыну преподана великая наука — почтительности перед старшими.

— Прости, тятя.

Крепко обнял отца.

— Бог простит.

— Прости, мама.

Слились объятия сына и матери. Долго не выпускала она единственную радость из своих рук. А под конец

все трое — отец, мать и сын низко поклонились дедушке Якову и попросили остаться для чаепития.

Когда в селе узнали об этом, все радовались:

— Слава Богу: все кончилось по хорошему.

1968 г.

Брайт.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

Три русских человека обедали в красивой кафетерии со звездным синим потолком. Все были преклонного возраста, а потому не спешили. Больше говорили чем кушали. По виду нельзя было определить, кем они были в прошлом. Одно можно было сказать, что все трое в свое время получили образование, а поэтому даже за многолетнее пребывание в эмиграции не разучились правильно говорить по-русски.

Что всех интересовало? О, конечно, «прекрасное прошлое, когда люди были честнее, благороднее, исполнительнее».

— А ведь это верный признак, что мы доживаем жизнь, — сказал тот, который сидел с вытянутой правой ногою. Он был худ, строен, с узким лицом, на котором выделялись большие черные глаза. Как будто это были даже не глаза, а два кружочка из черной глянцевитой бумаги.

— О каком признаке вы говорите? — спросил сидевший напротив. Этот очень походил на священника всем своим обликом — и длинными седыми волосами и по-

луседой, аккуратно подстриженной овальной бородой. На его розовом носу занимали много места большие очки в роговой оправе. Из-за непрочности заушников они часто сползали с переносицы. Тогда он нервно снимал их совсем и засовывал в боковой карман широкого голубого пиджака, но через минуту снова вытаскивал и водворял на прежнее место.

— Признак этот проверен, испытан, подтвержден многолетним опытом истории: отживающие люди не находят ничего хорошего в современности.

— А что думает наш поэт? — обратились они к третьему, одетому с таким изяществом, как будто ему предстояла встреча с директором крупного издательства. Он был в сером новом костюме. Вместо галстука самовяза под самым подбородком красовалась синяя бабочка с белым горошком, а лысое широкое темя с удивительным старанием прикрывали рыжие волоски «внутреннего займа», смазанные какой-то липкой специей, чтобы их не сдувало малейшее движение воздуха.

— Я не согласен с вами: во все эпохи было хорошее и плохое. При желании и в наше время, читая газеты и слушая радио, можно, кроме отрицательных моментов, отметить много положительного. Согласен я только с тем, что проблема отцов и детей никогда не сходила с повестки дня, если говорить языком протоколов. Сознаю, как и вы, что зла в мире очень много, что мораль упала очень низко, но и теперь в мире есть праведники, ради которых Бог терпит беззакония большинства.

В это время к столу подошел четвертый русский — с улыбающимися голубыми глазами, с коричневой шевелюрой и с таким красным лицом, как будто только что выбежал впопыхах из парной бани.

— Наум Иваныч, ваш приход кстати, — радостно воскликнул поэт, — но прежде всего познакомьтесь с моими друзьями: Владимир Владимирович Травкин, бывший офицер царской армии и Сергей Васильевич Любославов — бывший настоятель православного храма в Херсоне.

— Очень, очень рад, — громко сказал подошедший. Сидевшие за соседними столиками американцы стали недоуменно оглядываться. Кое-кто с полупрезрительной насмешкой произносил:

— Рашен пипл!..

— Наум? — воскликнул бывший офицер, — Боже мой, как это удивительно, как неожиданно, какая это радость для меня!

Подошедший, думая, что излияния военного вызваны его персоной, немного смутился:

— Мы, кажется, были незнакомы до этой встречи.

— Да, да, конечно, и дело не в вас, а только в вашем имени «Наум».

— Вам нравится мое имя? Русское, старинное, больше деревенское, чем городское.

— Да, да, деревенское, рязанское.

— Я из Орловской губернии.

— Мой Наум Коробейников, мой денщик, был из-под Рязани. Ах, господа, как это кстати, что между нами появился Наум. Но сейчас мне хочется говорить не о вас, уважаемый соотечественник, а о моем Науме, прекрасном парне, преданном верном друге... Ничего не будете иметь против? Кстати, я уже закончил обед, а вы можете кушать и хотя бы краем уха внимать тому, что хочется поведать вам, именно поведать, а не рассказать... Всего, конечно, не перескажешь. Остановлюсь на самом главном. Наум был значительно моложе меня, но для меня он был заботливым отцом и любящей нянькой. Он хотел, чтобы я во-время ложился спать, во-время завтракал, обедал и ужинал, ему не хотелось спускать с меня своих добрых глаз — светло-голубых, как цветочки льна.

Однажды в офицерском собрании я сидел с компанией за карточным столом. Пробила полночь, но азарт овладел всеми и никто не хотел подниматься со стульев. Мне в тот раз везло, как никогда. После каждого хода куча денег передо мною все увеличивалась. Товарищи смотрели на меня с завистью и удивлением. Неожиданно вошел Наум и робко остановился у двери. Он ничего не сказал, но, взглянув на него, я понял, что он пришел за мной и сейчас стоит, как напоминание, что пора подумать о сне.

— Господа, ставлю на Наума! Это будет последний ход. Пора действительно на боковую. Спасибо, Наум, что напомнил об этом своим появлением. Не бойтесь, господа офицеры, увеличивайте ставки: если проиграю

расплатиться есть чем — видите, какая гора денег?

Напряжение достигло предела. Все замерли. Я открыл карту и громко крикнул: «Радуйся, Наум, ты богач!» Участники игры настаивали, чтобы я не убегал, но я сказал:

— Вы были предупреждены, что это последний ход.

— Рассовав деньги по карманам, я отправился домой вместе с Наумом.

— Ты счастливый, — говорил я ему, — на восемьсот рублей ты можешь починить дом и купить лошадь, а может быть даже две.

— Неужто это правда, барин? — усомнился Наум.

— А как же может быть иначе? Ведь я поставил на тебя, значит, это — твое. До сих пор я не был обманщиком!

— Что верно, то верно: барин — вы честный, мало таких в окружности, век буду за вас Бога молить.

На следующий день я сделал денежный перевод жене Наума от его имени. Но знаете, что произошло? Получив такую сумму, солдатка решила, что муж обворовал барина — офицера. Со слезами на глазах она пошла к сельскому старосте и призналась в грехе мужа: «Гляди-ка, что наделал — вот в какие сети затянул сатана честного человека: на чужие деньги польстился, своего барина обокрал. Отправь их назад и напиши, чтоб покаялся перед крестом и Евангелием».

Деньги пришли обратно с объяснительным письмом старосты. И тогда я сам написал письмо жене, которую звали Натальей. В письме я рассказал подробно о происхождении этих денег и просил не думать ничего плохого о Науме, честности которого завидуют все мои товарищи. Скоро пришло второе письмо, полное благодарности, с поклоном «от бела лица и до сырой земли», с обещанием молиться обо мне по гроб жизни. Науму я тогда сказал:

— Дорожи своей женой, береги ее, люби, лелей, потому что она — воплощение святой честности.

Когда началась война, меня сразу отправили на фронт. На третий день по прибыти на театр военных действий нашу часть бросили в бой. Это было во второй половине дня. Сражение длилось несколько часов. Огонь с обеих сторон прекратился только после заката солнца.

Позиций своих мы не отдали, но все поле было усеяно трупами. Раненых не успели убрать до ночи. Наум, не дождавшись моего возвращения, пошел на поиски. Тьма. Только вдали приглушенные орудийные вспышки. Ноги в темноте натыкаются на трупы. В разных местах стоны, мольбы о помощи, о глотке воды. Наум ходил по этому полю смерти и звал: «Барин... Владимир Владимирович, отзовитесь, подайте голос... это ваш денщик Наум»... Больше часа продолжались его розыски. Наконец, он услышал мой слабый голос: «Наум, я здесь».

Денщик подбежал ко мне, наклонился, дрожащим голосом сказал:

— Слава Богу, что оставил вас живым. А что ранены — не беда, рана — это не смерть. Бог даст — поправитесь. Во что ранены, барин?

— В правую ногу... не могу подняться... не могу ползти...

— Зачем подниматься? Зачем ползти? А я для чего?

Осторожно, с нежностью и заботливостью он взвалил меня себе на спину и понес к полевому госпиталю. Идти нужно было версты две. Когда моя кровь из ноги промочила его штаны, он спохватился:

Быстро сбросив с себя гимнастреку, он снял исподнюю рубашку и хотел разорвать ее на ленты для перевязки. Когда я предложил свою, он сказал: «Ваша вам самому пригодится, а моя, барин, чистая, не сумлевайтесь — только нынче перед боем переменил, думал и меня прикончит шальной снаряд — так чтобы в чистом одеянии предстать перед Богом». При помощи складного ножа он разорвал рубашку на ленты и остановил мне кровь. В полевом госпитале все были удивлены подвигом такой преданности и представили Наума к награде – медалью за верность.

На другой день вместе с другими меня отправили в тыловой лазарет, где ногу пришлось отнять до колена. Когда я уже выздоравливал, мне позволили отдыхать в садике при лазарете. Один раз сижу в плетеном кресле, прикрыв ноги пледом. Подходит деревенская женщина в кубовом сарафане и в бордовом платочке, с кроткими материнскими глазами.

— Сидишь, касатик?

— Сижу, мамаша.

— Иль трудно ходить?

— Трудно, мамаша, видишь?

Я откинул плед и показал свою култышку.

— Болезный ты мой, такой еще молодой и такая беда.

Она приподняла немного свой сарафан и запустила руку в белый шерстяной чулок. Оттуда извлекла красную тряпочку с одного угла завязанную узелком. Развязала его и взяла из своих малых сбережений копейку.

— Дают вам тут бублики иль не дают?

— Не дают, мамаша.

— Так вот скажи сестре-хожалке, чтоб купила тебе бублик на выздоровление. Поправляйся, касатик. Ох, сколько скорби на земле, но Бог не без милости.

— Спасибо, мамаша.

Больше я не мог говорить от подступивших слез. Женщина низко поклонилась и, уходя от меня, несколько раз оглянулась. Я махал ей рукой и думал: «Как хорошо, когда на земле есть такие люди, как Наум, как его честная жена и как вот эта чужая тетка, подарившая мне копейку на бублик». Думаете, я истратил ее? Она была для меня дороже червонца. Позже я вставил ее в золотой ободок и прикрепил к часовой цепочке, как брелок. Хотите взглянуть на эту копейку?

Он извлек из кармана довольно массивные, старинные часы фирмы Павла Буре с изящной золотой цепочкой и с различными брелоками. Тут были и виноградная кисточка, и малюсенький пистолетик, и покрытое красной эмалью сердце и эта в золотой рамке русская копейка незнакомой крестьянки в кубовом сарафане и в бордовом платочке.

— Видите, что вы наделали своим рассказом? — спросил Наум Иваныч, — всех, как малых детей, прослезили. Да, много было хороших людей на русской земле в старину.

— Не перевелись они и теперь, — сказал поэт, — они есть и в русском рассеянии — в Европе, в Америке, в Австралии, в Аргентине, в Бразилии, в Канаде, в Новой Зеландии, везде, где еще звучит русская речь, где трепещут от сочувствия чужому горю отзывчивые добрые сердца.

— А что же стало с вашим Наумом? — спросил бывший священник.

— Как вам известно, при Керенском денщики были отменены. В армии началось разложение. Наум решил вернуться в родную деревню. Перед отъездом захотел повидаться со мной. Звал к себе:

— Поедем к нам, барин, места хватит, будете, как у Христа за пазухой, переждете лихолетье вместе с крестьянами, а там, Бог даст, все наладится и будет, как при царе. С искалеченной ногой вы уже не вояка.

Тронутый приглашением Наума, я купил ему на прощанье гармонь-двухрядку. Он был очень обрадован подарком.

— Сначала научусь сам, а родятся сыновья — их тоже сделаю музыкантами. Пусть выступают по всей России, как братья Коробейниковы. Это получше крестьянской доли.

Во время гражданской войны я был на стороне белых, а позже очутился за границей. В своих молитвах и я и жена всегда вспоминаем Наума и его семью с горячим желанием, чтобы Господь сохранил ее. Спасибо вам, Наум Иваныч, что своим появлением вы воскресили в памяти целую полосу жизни. Какое это было удивительное время. Но как давно все это происходило. Иногда кажется даже сновидением.

1967 г.

Брайт.

ЛИПАТ

В свое превосходство Липат поверил с детства. Начиная с восьмилетнего возраста он командовал всеми сверстниками, жившими по соседству. Приказы его были непререкаемы: забраться в чужой сад и наворовать яблок, напасть на соседние огороды, поймать курицу, свернуть ей шею, ощипать и сварить на задворках, проникнуть на бахчи и перед самым носом караульщика стибрить арбуз или дыню. Кто не умел воровать, не попадал в его шайку, а быть на побегушках у Липатки считалось великой честью. И мальчишки даже старше его готовы были на любое преступление, чтобы только коновод сказал: «Принимаю». Его подчиненных не раз секли крапивой, стегали ремнями и гибкими прутьями, их драли за уши, снимали с них штаны заставляли возвращаться домой голыми — все претерпевали они ради чести — быть под началом атамана. Сам он не воровал, не пакостил, не причинял горя. Он только приказывал, загребая жар чужими руками.

С годами его власть над окрестными ребятишками усиливалась все больше. Его армия готова была по команде броситься в огонь и в воду.

Жил Липатка в небогатой семье. У него были отец, мать, старшие братья и сестры. Привыкнув командовать вне дома, он считал для себя позором выполнять какие-

либо приказания родственников. Все делали за него братья и сестры, а он подсмеивался над нами: «Дураков работа любит».

Кожа у него была нежная, чувствительная. Он не терпел, когда на его голову садилась муха. Устраивая пир из наворованного — в степи, в лесочке или на берегу речки, он как турецкий султан, приказывал обмахивать его ветками, чтобы ни одна муха, оса, пчела или комар не посмели прикоснуться к его телу. Эта честь — обмахивать Липатку доставалась не каждому, а только тем, кто не нарушил ни одного его приказа.

В родительском доме в летнюю пору от мух не было спасенья. Особенно много мух жужжало и кружилось над столом во время обеда. Почему-то они больше всего садились на русую кудрявую голову Липатки. Паренек так яростно махал руками, что часто задевал миску со щами. Щи разливались, обжигая колени родителей и братьев. Тогда он придумал во время обеда надевать на голову толстую шапку, которую нахлобучивал до самых бровей.

— Он у вас, как барин, — говорили входившие в эту пору соседи.

— Ничего не поделаешь, — сокрушалась мать, — мухи липнут к нему, как к меду, только и спасение в шапке...

В школе он учился плохо, заставляя сверстников решать за него задачи и подсказывать ему устные уроки. Он пытался давать советы учительнице, но она скоро раскусила этого лентяя и часто поднимала его на смех.

Во время полевых работ он предпочитал лежать под телегой, обмахиваясь пучком васильков. Братья и сестры сердились, но родители махали рукой:

— Что ж с ним поделаешь?.. Таким он уродился.

— Пусть не лопает, коль не хочет работать. А если желает быть султаном,пусть уезжает в Турцию.

— Вот женится и остепенится.

— А кто пойдет замуж за такого байбака?

— Найдется какая-нибудь дура.

И «дура» действительно нашлась: невзрачная девица-сирота. Девушки, знающие себе цену, не хотели связывать своей судьбы с красивым бездельником, чтобы не пускать детей по миру.

Жену звали Катей. Она была робкая, послушная, исполнительная. Муж с первых дней женитьбы стал помыкать ею: заставлял не только работать, но обувать и разувать, надевать на него рубаху и даже штаны. За всякое неловкое движение он толкал ее ногой или бил щелчком по лбу, отчего появлялись сразу круглые синяки. Когда у Кати спрашивали: «Кто это разукрасил тебя?» она тихо отвечала:

— Липатик.

— Какой разбойник!

— Я сама просила его... я люблю, когда он меня щелкает.

Отвечая так, Катя еле сдерживала слезы.

— Да что вы — сумасшедшие что ли оба? Он — бандюга, а ты — бессловесница, божья коровка...

Одно Липат умел делать хорошо: увеличивать семью. Дети у него появлялись каждый год и не только одиночки, но двойни и тройни. Как только малыши начинали ходить, отец кричал на жену:

— Приучай их к работе, чтоб не было ни одного лодыря!..

И почему-то никто не возражал ему:

— А сам то ты кто? Не лодырь? За всю жизнь пальцем о палец не ударил.

С малых лет дети помогали матери и в доме и во дворе. Десятилетние уже работали в поле, запрягали лошадей, сеяли, пололи, молотили под присмотром матери, а отец — краснощекий, сытый, огромный, насмешливый — стоял рядом, засунув руки в карман и, морщась или качая головой, говорил:

— Кто ж так работает, команда босоногая, рвань недобитая?

Привычка командовать, учить, давать советы — с годами все больше укреплялась в этом человеке. От безделья и хорошего аппетита у него быстро округлился живот. Казалось, что под длинной рубахой — пуховая подушка. Эта округлость свисала над поясом. Поглаживать живот — доставляло удовольствие Липату. Он считал это признаком хозяйственности, авторитетности, солидности. Подойдя вечером к народу возле чьего-нибудь дома, он высовывал руки из штанных карманов и начинал медленно водить по животу.

Соседи его не уважали, с советами его не считались. За глаза его поднимали на смех, а при встрече выказывали явное пренебрежение. Люди смеялись, когда он читал лекции по пчеловодству, боясь пчел, по садоводству, не посадив ни одного деревца, по сельскому хозяйству, не проведя ни одной борозды плугом.

Дети его выростали работящими в мать. Когда семья Липата разрослась до 12 человек, он разделился с братьями. Сыновья вместе с матерью быстро наладили самостоятельное хозяйство. Отец надоедал им своими наставлениями, но его никто не слушал.

Кроме уменья плодить детей у него была одна страсть, которая причиняла много беспокойства семье: он любил пить чай, потеть во время чаепития и вытирать полотенцем пот с раскрасневшегося, самодовольного лица. Жена ставила самовар не менее трех раз в день. Чай пили с топленым молоком. Липат мог выпить половину самовара.

Самовар непременно должен был шуметь. Этот шум веселил Липата и располагал к благодушию. Когда заходил разговор, что из домашней утвари нужнее всего для хозяйства, Липат говорил:

— Без всякого сумления — самовар.

Своих девочек он заставлял чистить самовар в летнюю пору песком на речке, а зимой — специальной мазью.

— Когда этот красавец блестит, тогда и душа от радости сверкает.

В один из теплых весенних дней сильно задымились круги навоза за дворами. Из этого навоза делали кизяки для топлива. Церковный подслеповатый сторож, увидев густые клубы дыма, решил, что это пожар. Подойдя к колокольне, он стал дергать веревку набатного колокола. Народ с криком: «Пожар... пожар» высыпал на улицу. Липат в это время благодушествовал за самоваром. Вместо того, чтобы разузнать, где горит и что в таком случае спасать в первую очередь, он, как ужаленный, выскочил из-за стола и схватил самовар: ведь если этот друг расплавится в пламени, кончится главное удовольствие жизни — не сырую же локать воду, не квасом же наполнять свою жировую подушку.

Во дворе был глубокий колодец. Липат принюхался

к дыму: действительно горит. Что тут долго раздумывать? Вместе с горячими угольками и кипятком он бросил самовар в самое надежное от погибели место: в колодезный сруб. Но вскоре оказалось, что тревога была напрасной. День как раз был праздничный. Пришло четверо гостей. В самоваре была нужда до зарезу.

— Куда ты его спрятал? — спросила Катерина.

— Поболтай с гостями, а я потружусь.

Эта была первая работа Липата за всю жизнь. Он взял багор, надвязал его веревкой и опустил на дно сруба. Но самовар не подцеплялся. Отца увидели старшие дети.

— Что делаешь, тятя?

— Самовар достаю.

— А как он очутился в колодце?

— Из рук выскочил.

Младшие девочки, непредупрежденные родителями, выбежали на улицу и запрыгали, хвастаясь:

— А у нас самовар в колодец прыгнул!

Лепетом девочек заинтересовались соседи. Во дворе стала собираться толпа. Из избы вышла жена:

— Скорей доставай, а то гости уходить собираются.

— Легко сказать: «Доставай»... он как будто в тартарары юркнул...

От одного к другому стала передаваться новость о несчастье в липатовом дворе. Кто-то сболтнул, что в колодец попал теленок. На другом конце села теленок превратился в девченку. Сбегались любопытные — кто подивиться, кто — посочувствовать, кто — помочь в беде.

Только к вечеру самовар был извлечен из колодца — помятый, изуродованный, без крана. Это был день великого посрамления Липата. Теперь над ним издевались в глаза, без всякого стеснения:

— Всех учил уму-разуму, а у самого не хватило на копейку сообразительности... Эх, ты, самоварный мудрец!..

— Но зато поглядите, как вспотел, а попотеть ему полезно!..

— Бедный самовар, и за что ты претерпел такую муку мученическую?..

— Липат Васильич, выходи нынче на улицу и про-

читай всему народу лекцию, как лучше прятать пожитки от пожара!..

Липат долго терпел, краснел от стыда, но когда насмешки стали усиливаться, рассвирепел и заорал:

— Вон с моих владений, шантрапа, коль не хотите, чтоб вас багром изуродовал!..

— У него хватит ума, — подумали мужики и бабы и один по одному стали покидать широкий двор, испачканный глиной из колодца.

Слава деревенского «султана», прирожденного лодыря, доморощенного советника закатилась навсегда. Вместо славы пришло бесславье, которое мешало ездить на базары и ярмарки. Каждый увидев Липата, спрашивал:

— Не этот ли бросил самовар в колодец?

1967 г.
Брайт.

ДОГАДЛИВЫЙ СОСЕД

Оба дома были одинаковы по размерам и архитектуре. Отличались они только покраской — один светло-розового цвета, другой темно-зеленого.

В розовом с полгода тому назад поселились взаимно влюбленные молодожены. В зеленом жила семейная пара преклонного возраста.

Молодым в день свадьбы подарили в изящной клетке поющую канарейку. У пожилой пары была злая лохматая, приземистая собаченка по кличке Крези. Ее никогда не купали и она вечно чесалась. Другим ее занятием был неистовый лай по всякому поводу. Этот лай доносился до розового дома и беспокоил канарейку. Чтобы заглушить его, она старалась петь как можно громче. Но собачий голос был сильнее птичьего.

Что еще характеризовало эти дома? В розовом жили мирно, в согласии, в любовании друг другом. В зеленом почти всегда ссорились. Нападающей стороной

был муж — тщедушный, низкорослый, лысый блондин, с глазами, похожими на щели.

Сохранившая красоту жена молча, всегда со слезами на глазах, выслушивала брань супруга, пытаясь укрыться в своей спальне. Но ей этого не позволяли. Всякий раз, когда она бралась за ручку двери, муж властно отстранял ее.

— Ты должна выслушать этот урок и запомнить его!

— Тебе не надоело выступать в роли учителя? Сорок лет ты бесплодно учишь меня... Неужели это не надоело тебе?

— Я буду учить тебя до последнего момента.

— Что ты считаешь последним моментом?

— Гроб и могилу.

— А заметил ты, что за сорок лет я ни разу, ничему не учила тебя?

— Ученого учить — только портить. Да и чему ты могла бы научить меня?

Этого горе-учителя звали Евграфом, а его жену Людмилой. Он был сыном сельского дьячка, она — дочерью бывшей институтки и белого офицера.

Иногда, наблюдая жизнь супругов, диву даешься: что их заставило заключить семейный союз? У них нет ничего общего, связующего. С одной стороны — благородство, с другой — мелочность. Одна половина всегда думает о других, другая переполнена себялюбием. Смирение вступает в брак с гордостью, жертвенность с жадностью, тепло с холодом, свет со тьмой. Дополняют ли они друг друга, дают ли простор положительному над отрицательным?

К сожалению, некоторые пары за много лет супружеской жизни остаются такими же, какими были в день бракосочетания. Линии жизни остаются параллельными, не скрещиваются, не пересекаясь, не закручиваясь в спираль. Так что же их соединило? Любовь? Материальный расчет? Нежелание остаться старой девой или старым холостяком? Часто — ни то, ни другое, ни третье. Так что же? Жертвенность одной из сторон.

Жених прикидывается несчастным, сиротою, претерпевшим много всяких бедствий. Он откровенно признается, что его никто не любит, что все его третируют

и выход для него только один — покончить с жизнью самоубийством.

Чуткая, отзывчивая душа, которой он признается в своих драмах, злоключениях и одиночестве, проникается жалостью к несчастному и решает пожертвовать собой, чтобы спасти человека. Но после женитьбы этот «обездоленный» сразу из трусливого мышенка превращается в самоуверенного кота и всеми силами старается доказать жене, что он не лыком шит, что во всех житейских вопросах он смыслит больше ее, что она должна прислушиваться к его советам, указаниям, критике.

Так было с Евграфом и Людмилой: она его пожалела и стала жертвой на десятки лет.

Низкорослые изобретательны: они заказывают обувь с высокими каблуками, в веселой компании, рассказывая о чем-либо, становятся на цыпочки. Если на голове у них густая шевелюра, они делают себе торчащую прическу, что увеличивает рост на два-три дюйма.

К несчастью для Евграфа он быстро облысел. Изъяны внешности надо было возместить внутренними достоинствами. И тогда он стал тренироваться в остроумии. Он записывал в блокнот анекдоты, исторические факты, изречения мудрецов.

В гостях, опьянев от первой рюмки, он поднимался со стула, чтобы развлечь публику какой-то комической или трагической историей. Держаться на цыпочках было трудно. Его покачивало. Сказав несколько слов, он стремительно поворачивал голову сначала направо, потом налево, чтобы проверить, как реагирует на его остроумие большая компания.

Одни деланно смеялись или ужасались, другие думали: «Фитулька хочет разыграть роль мудреца». Жена испытывала смущение: муж часто казался ей голым королем из сказки Андерсена, не замечающим своей наготы. Но с первого дня супружеской жизни она дала обет: молчать и терпеть.

Еще одна особенность была у мужа: знакомясь с кем-либо, он называл свое имя так, что первые две буквы проглатывались и тогда получалось: «Граф Днепров».

Людмила работала ночным джанитором в одном из небоскребов Лос Анжелоса. Евграф, не желая чрезмерно обременять себя, вышел на пенсию раньше срока и те-

перь целыми днями отдыхал дома.

Жена возвращалась домой в час ночи. Утром хотелось поспать подольше. Но муж, ложась в постель с вечера, просыпался чуть свет и начинал наводить порядок в доме: двигать стульями, что-то прибивать, насвистывая при этом мелодии из оперетт.

— Неужели ты не можешь делать что-то без стука и грохота? — с досадой и тоской спрашивала разбуженная.

Этот вопрос всегда бывал искрой для пороховой бочки. Муж моментально взрывался бранью, упреками, бестактностью, жестокостью. Одновременно с его бранью начинался пронзительный лай собаченки Крези. И трудно было понять, на чьей стороне, кому сочувствует это лохматое грязное существо.

Но с того дня, как в розовом доме поселились молодожены, в жизни соседки Людмилы кое-что изменилось к лучшему. Как только неистово начинала заливаться лаем Крези, сосед выходил на заднюю веранду с окнами в садик и прислушивался.

— Опять он кричит на нее... Как ей помочь? Как остановить этот поток брани? Пойду попрошу у соседа какую-нибудь вещь...

— Куда ты, Миша, в такую рань? — спрашивала жена.

— Не сердись, Таня, отдыхай... Иду к соседу, чтобы прекратить его наскоки на Людмилу Ивановну.

— Но он может сказать тебе: «Пожалуйста не вмешивайтесь в чужие семейные дела»...

— Я и не буду вмешиваться... Я только что-нибудь попрошу у него.

Резкий звонок в передную дверь останавливал словесные выстрелы Евграфа. Он шел открыть дверь, досадуя на раннего посетителя. Увидев веселого, красивого соседа, расплывался в деланной улыбке, не забывая для солидности привстать на цыпочки.

— Простите, Евграф Петрович, за беспокойство... До отъезда на работу хочу кое-что сделать по дому, но для задуманной работы нужен коловорот. Если имеете, одолжите на часок.

— Как не иметь? Спустимся в бейсмонт — там у меня склад инструментов.

Чтобы подольше задержать Днепрова в бейсмонте, сосед задавал множество вопросов о доме, о хозяйстве, о родственниках в Советском Союзе, о взаимоотношениях Америки с коммунистическими государствами.

Евграф на все вопросы отвечал с апломбом, как знаток, как искушенный во всех тонкостях политик. Когда молодой сосед убеждался, что Евграф остыл, успокоился, вошел в колею нормальности, можно было возвращаться домой, поблагодарив за ненужный инструмент.

Людмила Ивановна тем временем, замкнувшись в своей спальне, успевала хоть немножко вздремнуть. А супруг, настроенный соседом на добрый лад, уже не возобновлял наскоков на свою жертву.

— Успокоил? — спрашивала вернувшегося мужа Таня.

— О, да.

— Миротворец ты мой хороший... А зачем принес эту штуку?

— Надо ж было что-нибудь попросить.

Так с той поры и пошло: как только Евграф начинал неистовствовать, сосед бежал попросить какую-нибудь вещь и десятиминутным разговором успокаивал разбушевавшегося.

Как-то к молодоженам зашла Людмила Ивановна. Ей предложили чашку чя.

— Спасибо, дорогие соседи. Я пришла поблагодарить вас, Миша, за добрую догадливость. Вы мой редкостный защитник. Даже не упоминая моего имени, вы всякий раз ласковыми словами разгоняете грозовую тучу... Канарейка у вас дивная. Как она поет... Разве можно сравнить это с собачьим лаем? Это муж настоял на том, чтобы завести собаку. Он же дал ей кличку Крези. У каждого свои вкусы, симпатии, привязанности... У вас очень уютно, в таком гнездышке отдыхает душа.

— Заходите к нам почаще, Людмила Ивановна.

— Спасибо, друзья. Вы, как два голубка. Всегда оставайтесь такими.

1968 г.
Брайт.

МАХОТКА

Мать дорожила глиняной махоткой с ручкой: в ней затапливали жирное утреннее молоко к чаю. От долгого пребывания в русской печке на вольном духу молоко меняло цвет: из белого делалось красновато-желтым и покрывалось толстой коричневой пенкой. Такое молоко называлось томленым.

Махотку во время чаепития ставили посредине стола. Молоко брали из нее деревянной лакированной ложкой с незатейливыми черными цветочками. Одной ложки на чашку было достаточно. В горячем чае появлялись золотистые блестки. Мелко наколотый синеватый сахар долго не растворялся во рту, но давал сладость — с одним малюсеньким кусочком можно было выпить целую чашку.

Такой чай был особенно приятен после вечерней, субботней бани. Жажда в это время казалась неутолимой. По распаренному лицу текли струйки пота, рубашка прилипала к телу. Внутри самовара дотлевали угольки, отчего он издавал приятные звуки, похожие на кошачье мурлыканье или тихий лепет засыпающей птички.

Когда отец простудился на холодном зимнем ветру, у него появились боли в груди и в суставах. Мать пошла посоветоваться с соседкой Натальей, исцелявшей боль-

ных снадобьями из трав и корней. Наталья дала щепотку потогонного чая и посоветовала поставить банки.

— Где ж мы их возьмем? Банки только господа себе ставят.

— Тогда накиньте больному махотку на грудь — польза будет такая же.

Отец лежал на печке, согревая спину. Накинуть махотку согласился старший брат — богатырь и силач Павел. Из чулана принесли пакли, накрутили ее на палочку, обмакнули в четверть с керосином. Та самая махотка, в какой много раз томилось молоко, должна была исцелить от недуга болящего отца. Живот и грудь ему смазали свиным салом. Брат поднес зажженную спичку к палочке. Вонючее пламя колыхнулось почти до потолка.

— Не наделай пожара, — испуганно крикнула бабка.

Лекарь накрыл огонь махоткой возле самого тела. Пламя погасло и в ту же секунду прижатая по ошибке не к груди, махотка припаялась к животу.

— Ой, — вскрикнул болящий.

— Потерпи, лучше будет, — стали успокаивать отца — мать, бабка и сноха.

— Невмоготу... весь живот втянуло... кишки рвутся на части!

— Так тебе кажется — это махотка душит твою хворь. Скрипи зубами, коль не хватает терпежу.

Мать полезла на печку. Лицо больного было покрыто крупными каплями пота.

— Снимите... хватит!

— Павел, сними, коль он так мается.

Брат хотел оторвать махотку от живота, но не тут-то было: она так крепко впилась, что все усилия богатыря были впустую.

— Настоящее «Магдебургское полушарие», — сказал он и вся семья вспомнила недавно прочитанный рассказ с картинками о том, как в немецком городе Магдебурге ученый человек выкачал насосом воздух из двух больших медных полушарий. Наружный воздух давил на них с такой силой, что их не могли растащить шесть лошадей — по три с каждой стороны.

Вся наша семья удивлялась, слушая рассказ из научной книги. А вот теперь такая же история получилась

с махоткой на животе отца. Огонь и дым удалили из нее воздух, она втянула отцов живот и не поддавалась человеческим усилиям.

— Скорее... бесчувственные... вам наплевать, что человек помирает, — упрашивал отец.

— Видно придется разбить махотку, — сказал брат.

— С ума сошел: а в чем молоко затоплять? — испугалась бабка, — махотке этой больше пятнадцати лет, а ты хочешь ее раскокать.

— Небось, человек дороже махотки... помираю, — умолял страдалец.

— От этого не умирают — уж больно ты нежный, словно барского рода, — не сдавалась бабка.

Тогда брата осенила догадка. На широкой лавке возле печки стояла большая корчага с загустевшим кислым молоком. Брат засучил рукав до локтя, запустил руку в молоко и поспешил к стонущему. Там он придавил живот больного и подсунул скользкие от молока пальцы под махотку. Послышался сильный звук: пшш — это воздух ворвался в пустоту махотки. На животе отца было большое круглое вздутие сине-багрового цвета.

— О-о, — вздохнул он с облегчением.

— Слава Богу, — сказали весело женщины, — и больному полегчело и махотка уцелела. Только корчага кислого молока подпорчена грязной рукою, но это не беда: съедим — не дворяне.

Махотку после этого пришлось обжигать в горячей печке, чтоб удалить запах керосина. Ее мыли щелоком, терли мочалками, кипятили в святой крещенской воде. Можно бы бы купить новую — стоила она не больше пятака. Но не хотелось расставаться с той, к которой привыкли за многие годы. Снова с утрешником ее ставили в печку, а вечером водворяли на стол для чаепития. Густая буро-коричневая пенка дразнила сметанным ароматом и сверкала блестками в каждой чайной чашке.

Мы, дети, прозвали махотку «Магденбургским полушарием».

1960 г.
Сан Франциско

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Жили были в Калифорнии две семейных пары. Я познакомился с ними в Сан Франциско, когда супружеский стаж у той и другой пары перевалил за 30.

Первую пару звали Иван Сергеич и Анна Федоровна, вторую Василий Васильич и Евдокия Михайловна.

Мужья — военные в прошлом — работали джаниторами. Анна Федоровна по приезде в Америку устроилась в большой швейной мастерской,Евдокия Михайловна была продавщицей в универсальном магазине на Маркет стрит.

В Америку они попали после гражданской войны из России. Внешность их описывать нет смысла: в их лицах, походках, манерах, привычках, склонностях не было ничего выдающегося. Это были заурядные, незлобивые люди, любящие ходить в гости и принимать гостей у себя. Но одна черта их супружеских взаимоотношений наводила на размышление. Иван Сергеич никогда, ни наедине, ни при гостях не хвалил свою жену Анну Федоровну, но всегда с восторгом отзывался о Евдокии Михайловне. Он превозносил до небес ее характер, умение вести

хозяйство, кулинарные способности, обаятельность, обращение с гостями.

Выслушивая восторги мужа, Анна Федоровна почти всегда молчала, изредка улыбалась, кое-когда вздыхала. В этих улыбках и вздохах были молчаливые вопросы:

— Чем же я не угодила тебе? Если бы я вела плохо хозяйство, у нас не было бы трех домов... Если бы я не умела обращаться с гостями, они не засиживались бы до полночи... Если бы мои кушанья не лезли в рот, знакомые дамы не упрашивали бы меня — давать им рецепты моих блюд.

У другой пары была иная крайность: муж молчал, но давала волю языку жена. По ее мнению лучшим мужчиной русской колонии в Сан Франциско был Иван Сергеевич: какой он тактичный, веселый, как много знает анекдотов!.. С ним не заскучаешь!.. Я завидую Анне Федоровне: ее жизнь вероятно — сплошной праздник...

Муж, слушая дифирамбы жены по адресу другого, обижался:

— Разве я бестактен? Разве наши гости когда-либо скучали? Разве мои анекдоты менее остроумны, чем Ивана Сергеича?

И так шли месяц за месяцем, год за годом — жизнь без особенных потрясений, взлетов и падений, как железнодорожное полотно в ровной степи.

Судьба иногда подшучивает над людьми, идя навстречу их желаниям. Почти одновременно у Ивана Сергеича умерла жена Анна Федоровна, а у Евдокии Михайловны — муж Василий Васильич.

Вдовцу было шестьдесят шесть лет, вдове шестьдесят два. После сорокалетних взаимных восторгов их сердцам наконец-то открылись двери для счастливого желанного союза.

Они еле дождались конца траура, чтобы вступить в брак. Гостей на свадебное торжество собралось множество. Обед был заказан в ресторане. Меня попросили написать поздравительное стихотворение. В звонких рифмованных строчках я предсказывал молодоженам многолетнее безмятежное счастье. Так думали и многочисленные гости.

Но, увы, любовь с сорокалетним стажем стала угасать на третий день супружеской жизни, а через две

недели они заявили в мерии о разводе.

Женщина, казавшаяся очаровательной на расстоянии, оказалась камнедробилкой, превращавшей совместную жизнь в пыль и пепел.

В день развода Иван Сергеич поехал на могилу жены. Упав на колени, он просил прощения у той, которая теперь покоилась под могильным холмом:

— Дорогая Аня, ты была единственным светом в моей жизни, кротким Ангелом утешителем, защитой от бурь и напастей... Я не видел этого, не замечал твоих достоинств, я был ослеплен фальшивой добротой и за это теперь жестоко наказан... Прости меня, моя необыкновенная, очаровательная терпеливица... Теперь у меня одно желание: поскорее соединиться с тобой, чтобы никогда не расставаться в вечности.

Молилась и Евдокия Михайловна на могиле своего мужа:

— Как поздно я прозрела, мой единственный, мой бесценный Васенька.

В этой истории я тоже оказался пострадавшим. При встрече со мной после развода удрученный Иван Сергеич сказал:

— Ваше поздравительное стихотворение было звучным, красивым, многообещающим, но я порвал его в мелкие клочки, как ложнопророческое.

1968 г.
Брайт.

НАГРАДА

В этот день мать и сын говорили об одном:

— Как жалко, что на торжестве не будет отца... Если бы не осколок бомбы, все бы сложилось по другому...

Они бежали на запад, уложив в телегу самое необходимое. Лошадью обзавелись в военное время. Покидая насиженные места, не знали, что ожидает впереди. Феде тогда было 10 лет, но в поездке он иногда заменял отца, когда тот уставал от бессонных ночей и страхов.

Однажды, перед переправой на другой берег реки, у моста, скопились тысячи подвод. Советским самолетам было дано задание: остановить этот людской поток взрывом моста и обстрелом бегущей массы. Много тогда погибло людей и лошадей, осколком в голову был убит отец. Бегство на запад задержалось на несколько часов. Феде удалось вывести подводу из людского месива на лесную опушку. Вместе с матерью он выкопал могилу среди берез, которые плакали золотыми листочками на легком ветру. Мальчик радовался, что среди

вещей в телеге оказался острый заступ. Могилу рыли поочереди — то мать, то сын. Жалели, что отца придется схоронить без гроба. На тело набросали березовых веток. Хотелось поголосить, но сдерживали вопли и стоны из боязни: громкое горе могло выдать их врагу.

Похороны отняли часа четыре. Наступил вечер. Бомбардировка прекратилась. Мост не был разрушен, переправа на другой берег не была затруднительной.

Сложное чувство завладело душой Феди: в несколько часов малыш превратился во взрослого — не он теперь на руках матери — беспомощной, неопытной, боязливой, а мать на его ответственности, попечении, заботах.

Ему предстояло сберегать и кормить лошадь, раздобывать пропитание, нанимать квартиру, когда добирались до селения вдали от фронта...

Так думал он. А у матери было одно желание: сохранить сына, как опору, как единственную радость. Сообразительность, нежность и расторопность мальчика вознаграждали за многие утраты.

Из колхозного селения они убежали на запад от неминуемой расправы красных: отец при оккупации был сельским старостой. Он не стремился к этому, но все общество указало на него немцам, как на грамотного и честного и тогда ему безоговорочно приказали:

— Будешь старостой!

В течение двух лет он был посредником между завоевателями и населением, всегда отдавая предпочтение своему народу. Федя помогал отцу составлять списки и разносить повестки. Быстро выучив немецкий язык, он часто выступал в качестве переводчика. Мальчику пророчили прекрасное будущее:

— Ты должен получить высшее образование в Гейдельберге!.. Из тебя будет толк!..

А теперь вместо мыслей о науке мальчика осаждали заботы о матери и лошади. Надо терпеть, быстрее расти, набираться сил.

На лошади они добрались до Лодзи и там продали ее. В городе было много русских. Мать с сыном поступили на работу в немецкую военную часть на кухню. Через несколько месяцев пришлось бежать дальше — уже на случайных машинах и поездах. Так добрались

до Зальцбурга и поселились в бараках для беженцев. Там дождались окончания войны и прожили почти четыре года в большом лагере за городом.

Федя поступил в лагерную гимназию, где удивлял учителей отличными успехами по всем предметам. Мать работала на кухне. Жили в комнате, разделенной зеленными солдатскими одеялами на три закутка.

В августе 1949 года попали в Нью Иорк. Прибыли туда на военном транспортном пароходе: «Генерал Мак Рей». К моменту переселения за океан Федя прекрасно говорил по-английски. Знакомые помогли найти комнату на восточной стороне 14-й улицы. Мать устроилась на работу в русской прачечной. Федя после уроков работал, как продавец в одном из больших продуктовых магазинов. Мать часто говорила ему:

— Это помешает тебе готовить уроки... Нам хватит моего заработка...

Но сыну хотелось получше обставить комнату и почаще делать подарки для матери. После средней школы, которую он окончил, как отличник, Федя поступил в университет стипендиатом. Кроме немецкого и английского языка он изучил испанский и французский. Но любимым его языком был русский. Когда Федя был на последнем курсе университета, ему предложили читать лекции по русскому языку, так что целый год он был одновременно и студентом и лектором.

Уже в беженском лагере он начал писать стихи и рассказы. Теперь литература была его любимым предметом. Он написал книгу по-русски: «Наша Голгофа» и сам перевел ее на английский язык. Профессура была в восторге от книги, полной искреннего драматизма. Книга была издана университетом. Отзывы о ней были блестящими во всех газетах и журналах Америки и Европы.

И вот настал день университетского выпуска, по-английски «Градуэйшен». Мать к этому времени по настоянию сына уже не работала в прачечной. Федя получал гонорар за статьи и рассказы. Жили они теперь неподалеку от университета в квартире из трех комнат.

— Как мне одеться? — спросила мать за завтраком.

— Оденься, как одевалась на родине в Курской области... У тебя ведь кажется сохранился этот наряд?

— Висит на память в шкафу.

— Вот и извлеки его на Божий свет.

— Надо мной будут смеяться...

— Не бойся этого.

— Тебе не будет стыдно за мой деревенский вид?

— Буду гордиться тобою.

Днем сын уехал в город по делам, а мать думала о предстоящем торжестве в главном зале университета. Желание сына, чтобы она оделась по-деревенски, немного смущало ее, но раз он так хочет, она не будет возражать: юбка и кофта — голубые, широкие с розовыми цветочками... голову повяжет белым платочком...

Настал давно ожидаемый вечер. В университет поехали на такси. Какое множество машин на паркинге. Людские потоки к дверям университета безостановочны. Федя провел мать в зал и предложил занять место в в центре возле прохода.

— Тут я буду на виду... лучше бы сесть на задней скамейке, у стены.

— Отсюда тебе будет виднее, что произойдет на сцене.

— Тут будут все оглядываться на мое платье и белый платочек...

— Вот и хорошо: разве ты не заслужила чести — быть центром внимания?

Волнуясь, мать заняла место, указанное сыном. Он оставил ее одну. Уходя, сказал:

— Не скучай... скоро мы увидимся...

Зал быстро наполнился нарядными людьми. Больше было женщин — надушенных, в модных платьях без рукавов, с большими вырезами на груди. На женщину, одетую по-деревенски, смотрели с любопытством и удивлением, а она чувствовала себя, как в дремучем лесу.

Сцена была закрыта коричневым занавесом. Когда все места в зале были заняты, занавес открыли. Он раздвинулся двумя половинами направо и налево, образуя складки сверху донизу. На огромной сцене, за столом почти у самого края, сидели солидные люди, как видно, профессора, а позади них в несколько повышающихся рядов стояли юные парни и девушки — первые в голубых хитонах, вторые — в белых. На молодых людях были четырехугольные головные уборы кремового

цвета с болтающейся кисточкой над левым ухом. А на девушках такого же фасона уборы — голубого цвета.

В первом ряду справа мать заметила Федю. Какой он красивый в этом наряде!

— Фред Аккуратов, — сказал громко один из профессоров, сидевших за столом как раз в самом центре. Профессор был высокого роста, брюнет с седеющими висками.

Федя отделился от своего ряда и подошел к столу. Если бы мать хорошо понимала английский язык, она бы сказала, что это самый радостный день ее жизни. Вот что сказал профессор:

— Не часты случаи, когда студент с первого до последнего курса получает по всем предметам высшие отметки. Таким оказался мистер Фред Аккуратов, поэт и писатель, гордость не только нашего университета, но и всей Америки. Вся профессура единогласно решила: наградить отличника медалью и серебряным лавровым венком, как триумфатора в искусстве и в науке.

Профессор протянул Феде венок и медаль. Раздались шумные аплодисменты в зале и на сцене. Мать видела, как дрожали от волнения руки сына.

Он ответил на приветствие по-английски:

— Я сердечно благодарю за высокую честь, оказанную мне, но эту награду следует вручить тому, кто заслужил ее своей жизнью, любовью и самоотверженностью.

В зале многие нервно задвигались, удивленно зашептали:

— Он отказывается от награды? Почему?

А Федя продолжал:

— Человек, которому нужно передать награду, находится здесь... Это — моя мать.

Снова забурлили аплодисменты.

— Пригласите ее на сцену! — сказали профессора.

— Мама, пройди сюда, — попросил по-русски Федя.

У матери потемнело в глазах от неожиданности, страха и удивления.

— Вас зовут туда, — громким шепотом говорили ей американки, сидевшие поблизости. Она поднялась. Голова кружилась. Чтобы не упасть, шла медленно, держась за спинки кресел. Когда приближалась к сцене,

закачалась. Сын сбежал по лесенке навстречу матери, взял ее под руку, подвел к столу.

— Она не досыпала ночей, чтобы дать мне образование и развить мои способности. Без нее я был бы нулем. Но держась впереди нуля, она превратила меня во что-то полезное для человечества... У нее простое деревенское имя Акулина, но ее душа сверкает добродетелями, как огромный бриллиант... Мои литературные способности — от нее: с юных лет она обращала мое внимание на Божью красоту, окружающую нас... И свои награды я передаю ей: она имеет все права на них!

Сын прицепил к груди матери медаль, а венок отдал в руки. Он поцеловал ее три раза. И тогда аудитория разразилась такими восторгами, которые заглушили бы раскаты грома.

Мать низко поклонилась профессорам и публике, повторяя слово: «Тенкью» а Феде сказала по-русски:

— Спасибо, сыночек, что не побрезгал деревенской матерью...

Когда аплодисменты стихли, профессор, преподносивший награду, сказал:

— Мы видим перед собой не только отличника в науках... Перед нами — отличник сын, отличник — человек... Друзья гости, друзья выпускники, коллеги профессора, пусть этот прекрасный юноша будет примером для всех нас!

1967 г.

ЛОВУШКА

1. РАЗЛУКА

Это произошло вскоре после советско-финской войны.

Молодой, красивый летчик Сергей Костров решил навестить своих родителей, которые учительствовали неподалеку от Сталинграда. Он был единственным их сыном.

За подвиги во время войны он получил звание «Героя Советского Союза», орден и золотую звезду. В Москве у него была невеста Наташа. На прощанье он ей сказал:

— Навещу родителей, повезу им гостинец, приглашу на нашу свадьбу. Она должна состояться не позже, чем через месяц.

В магазине для военных, на Воздвиженке, он накупил подарков: мануфактуры и теплых свитров для

отца и матери. Два огромных новых чемодана были набиты до отказа.

Невеста провожала его на вокзале. Когда уже трогался поезд, успела крикнуть вдогонку жениху, стоявшему у открытого окна:

— Умоляю, Сережа, не задерживайся!

Последний взмах невестиного платочка, крутой изгиб состава и вот она уже видит только удаляющийся задний вагон. Почему ее сердце заныло во время этой разлуки? Так она не тосковала даже в те дни, когда он уезжал на фронт.

Они уговорились, что по приезде он сразу пошлет ей телеграмму.

Поезд до Сталинграда идет немного больше суток. Значит после завтра она уже будет ждать обещанной весточки.

В Сталинград поезд пришел поздним вечером. Сначала Сергею нужнно было проехать окраинной трамвайной линией. В том месте, где она кончалась, была автобусная станция. Автобусы шли один раз в час в тот поселок, где учительствовали родители. На станции не было ни души. — Возможно, что автобуса из-за позднего времени вообще больше не будет, — подумал Сергей и решил идти пешком, но не вдоль пассажирской трассы, а наискосок, через огромный пустырь, принадлежавший, как сенокосное угодье, тому поселку, где жили родители.

2. ПУСТЫРЬ

Нетерпение — скорее увидеться с близкими заставляло Сергея ускорять шаги. Дело было ранней весной. На пустыре еще лежал кое-где снег. Небо заволокли тучи, но сквозь них изредка проглядывал молодой месяц. — Родители вероятно ждут меня на конечной автобусной остановке и я могу не застать их дома...

Плохая транспортная связь большого города с окрестными поселками навела Сергея на грустные мысли, но он отогнал их: скоро он будет обнимать родителей, с которыми не виделся почти год. Расставался он с ними простым летчиком. а теперь у него на груди — золотая звезда.

Глядя на золотой серпик молодого месяца, Сергей не обращал внимания на сухие стебли прошлогодней травы, которые хлестали его по ногам.

Совершенно неожиданно он почувствовал, что куда-то проваливается. От испуга и удивления он выпустил чемоданы из рук. Они остались наверху, а он очутился в цементном круглом колодце без воды. И тут он с ужасом вспомнил рассказ отца о силосной яме, которую колхоз вот уже третий год не может заполнить травой. Для безопасности ее прикрыли непрочными досками и закидали землей. От земли и влаги доски сгнили. И вот теперь Сергей провалился в эту ловушку с цементными стенами.. Что делать? Он попробовал кричать, но убедился, что звук почти не выходит из ямы. Ждать до утра? Но какие-нибудь прохожие могут стащить его чемоданы. И тут он осознал, что его жизнь — дороже всего того, чем набиты эти чемоданы. Пусть крадут, пусть ничего не оставляют ему, только бы помогли спастись. При нем был револьвер с пулями. Была сумка с переплетенной тетрадью для дневника. Были спички. Первая спичка не загорелась. Неужели отсырели? — со страхом подумал Сергей. Но в ту же минуту вспомнил, что у него два электрических фонарика. К несчастью, он их переложил уже в поезде в чемоданы, чтобы не было ничего лишнего в карманах.

Зажглась четвертая спичка. При свете ее он увидел свою тюрьму. Это была силосная круглая яма футов двадцати в глубину, обмазанная цементом. Ни одного выступа, ни одной зацепки. Можно ли чем расковырять это ущелье? Достал из кармана перочинный ножик. Попробовал. Тщетные усилия. Стена была крепкой, как сталь.

Можно представить, что переживал Сергей. Родители ждут его дома. Невеста будет ждать его телеграммы, а он должен погибнуть в этой сырой яме, умереть с золотой звездой на груди.

3. НА РАННЕМ РАССВЕТЕ

Кто-то подошел к яме. Осторожно заглянул внутрь. Спросил:

— Кто там? Почему очутился в пропасти?

— Шел ночью, не заметил и провалился... Дорогой товарищ, спасите меня...

— А кто ты?

— Сергей Костров, приехал к родителям... Вчера они, вероятно, встречали меня...

— А как же я тебя вытащу? Может пойти сказать в колхоз и твоим старикам?

— Это долго... Вот что сделаем: я сейчас кину тебе связку ключей... Ты откроешь чемоданы, достанешь отрез мануфактуры, сделаешь петлю и опустишь мне... Доски над ямой раздвинь пошире... Кто ты?

— Ты хорошо меня знаешь: дядя Василий... Когда был сторожем при школе, сколько раз нянчил тебя... Тогда ты был малышом...

— Дядя Василий? Какое счастье... Хорошо помню... Теперь я, дядя Вася, герой Советского Союза... на груди золотая звезда... Скорее вытаскивай меня и пойдем к нам пить чай... В чемоданах много вкусного!..

Сергей несколько раз пытался выбросить ключи наружу, но только в пятый раз они попали в руки Василия. К этому времени совсем рассветало. Когда чемоданы были открыты, голова старика закружилась от удивления, восторга, зависти и сатанинских планов. Он не будет вытаскивать человека из ямы, а получше закроет ее, чтобы никакие голоса не долетели наружу.

— Скорей, дядя Вася, — сгорал от нетерпения летчик-герей.

Но старик не торопился. Наоборот — он стал плотнее закрывать яму досками. Подумал: «Надо принести досок потолще и попрочнее». Чемоданы были замкнуты и он с бьющимся от радости и от стыда сердцем направился к своей сестре, которая была на десять лет моложе. Она разъезжала по разным городам, промышляя спекуляцией. Когда брат открыл перед ней чемоданы, сестра подпрыгнула от восторга:

— Откуда столько добра?

Рассказал. Попросил совета:

— Как по твоему — спасти человека иль похоронить в яме?

— Ясное дело — похоронить!.. Такие клады не часто даются в руки!..

— Но ведь я нянчил его, когда он был малышом...

— Ну, и что ж такое? Жизнь теперь вон какая трудная!.. Счастье само лезет нам в руки... Дураки будем, коль откажемся от него.

— А куда мы все это сбудем?

— Это не твоя забота.

4. ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ДНЯ

Прошло четыре дня. Все это время Василий был сам не свой: совесть боролась в нем со злодейством. Сестра помогла одержать победу злодейству.

Он навестил яму на раннем рассвете пятого дня. Раздвинул доски. Крикнул:

— Ну, как? Еще жив?

Слабый голос откликнулся сразу:

— Это ты, дядя Вася?.. Умоляю спаси... Бери себе все, что находится в обоих чемоданах и чемоданы... Клянусь тебе — никому не скажу, что ты сделал со мною...

— Не утерпишь, голубчик, расскажешь, а тогда знаешь, что со мною сделают? В тот же день расстреляют...

— Даю честное слово — промолчать!..

— Так все говорят, когда хотят себе добра, а потом сразу отрекаются от своих слов... А ты вот о чем подумай: на финском фронте погибли тысячи... Чем ты счастливей их? Вот и считай себя умершим...

— Значит, не хочешь спасти?..

— Тебя спасти — себя погубить, а кто ж самому себе враг?

— Я не думал, что ты такой жестокий... Что сделало тебя таким?

— Твое богатство... Ныне всякий промышляет, как может... Мне Бог послал твои чемоданы, а тебе смерть в силосной яме... Прощай покуда!..

Василий слышал, как застонал Сергей, когда верх ямы стал закрываться свежими досками и засыпаться землей.

Когда шел домой, сердце уже не так угрызалось совестью. Для своего облегчения вспомнил, что ведь родители Сергея — бывшие дворяне. Учительством они прикрывали свое прошлое. От дворян простому народу при царе не сладко было, так пусть теперь поплатятся

за свои измывательства над трудящимися... Они-то может и не измывались, но сколько было жестоких дворян!

— Закопал получше? — спросила сестра, когда брат пришел к ней.

— Никому в ум не придет, что там живой человек.

5. ПРОШЛО ЕЩЕ ШЕСТЬ ДНЕЙ

С того момента, как были найдены чемоданы, прошло всего уже десять дней. Пошел навестить покойника. Был уверен, что теперь не подаст голоса и не пошевелится. Вышел пораньше. Заря была ясная.

— Везет мне: никто ни разу не прошел по пустырю, словно весь мир вымер, — с радостью думал старик.

Доски раздвигал осторожно. Раздвинул совсем. Видно какой-то серый комочек. Что за диво: неужто это Сергей? Почему такой маленький? А может когда умирал, сжимался от голода и холода и вот стал таким маленьким?

Бросил камень. Серое пятно не пошевелилось. Крикнул:

— Живой иль мертвый?

Молчание.

— Стало быть отдал Богу душу... Можно пойти сказать начальству о находке.

Поехал в Сталинград, зашел в обком партии.

— Скажите: в газетах ничего не было насчет летчика Кострова?

— Было... пропал без вести...

— Не он ли в силосной яме?

— В какой яме?

— На пустыре за городом...

6. УЛИКИ

Труп был извлечен. И этот труп рассказал всему миру, как коварно поступил с ним когда-то хороший знакомый. У Сергея были карандаши и вечная ручка. И хотя свет сквозь доски и землю проникал слабый, он успел кратко описать свое происшествие. В записках прощался с невестой, с родителями, с друзьями. В одном месте записей было начертано уже слабеющей

рукою: «Умираю я не от голода и холода, а от ужаса перед людским озверением: человеку продукты и мануфактура оказались дороже, чем моя молодая жизнь».

Как только труп был извлечен и записи прочитаны, Василий и его сестра были сразу арестованы. Их допросы длились около месяца. Была вызвана невеста, сообщили многим товарищам. Страна забурлила требованиями — расправиться с жестокими людьми.

Судили их в Сталинграде. Суд был публичный. Больше всего на суде присутствовало молодежи. Над эстрадой, где заседал суд, был укреплен увеличенный портрет Сергея. Какой это был красавец, какой одаренный юноша!

Молодежь требовала не расстрела Василия, а четвертования, как когда-то казнили Емельяна Пугачева.

Другие предлагали закопать его живым в силосную яму, в которой он погубил летчика.

Но суд вынес решение: колхозного сторожа Василия и его сестру Соломониду — расстрелять. Председателя колхоза осудила на десять лет каторги.

Невеста Наташа дала слово — ни за кого не выходить замуж.

Родители после такого потрясения быстро состарились Через шесть месяцев умерла безутешная мать, а еще через три — отец.

7. ЧЕРЕЗ 25 ЛЕТ

Эта страшная история не выдумана. Ее мне рассказала 25 лет тому назад девушка сталинградка, которая лично присутствовала на процессе, когда судили убийц летчика-героя. «Я ревмя ревела все дни процесса, — говорила она, — в судебном зале был стон от воплей, возмущений и негодования... Как жалко было невесту и бедных родителей, но больше всех, конечно, погибшего»...

С этой девушкой мы работали вместе в одном из учреждений Берлина. Четверть века я не мог приступить к описанию этой трагедии. Не поднималась рука. Сейчас описал кратко. А ведь об этой «ловушке» можно

написать целую книгу. Для Сергея ловушкой оказалась силосная яма, для сторожа Василия — ловушкой были чемоданы, набитые до отказа добром.

Он и его сестра не знали слов Иисуса Христа: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным». Если не на земле, то в вечности.

1968 г.
Брайт.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Это было в первом веке христианства.

Молодой темнокудрый врач — христианин шел по дороге в отдаленное селение, где жил его больной друг. В руке врача была небольшая сумка с медикаментами. Погода была ясная. Также было ясно на душе врача.

Для сокращения дороги врач решил идти глухой тропою среди колючего кустарника. Он прошел уже довольно большое расстояние. Желание помочь больному заставляло его ускорять шаги. Но вдруг он заметил на тропе огромного зверя. Приглядевшись попристальней, он увидел, что это лев.

Врач остановился в раздумье: что делать? Повернуть назад? Свернуть направо или налево? Тогда зверь побежит за ним. Или идти прямо на льва? Что заставило животное расположиться на тропе? Поиски добычи или какие-то другие соображения? Ведь обычно хищники подстерегают свою жертву в незаметной для глаз засаде. «Попирать будешь льва и дракона», — вспомнил он псалом Давида и с упованием на Бога пошел вперед.

Лев не двигался.

— Может быть он ранен?

Это предположение рассеяло окончательно страх и врач смело двинулся в сторону льва. Вот он уже в расстоянии шагов десяти от зверя, в глазах которого застыла мольба о помощи. Врач подошел ко льву и увидел огромную занозу в правой передней лапе.

— Так вот почему ты вышел на тропу! Ты сообразил, что кроме человека тебе никто не может помочь, — сказал вслух врач и раскрыл свою сумку, в которой кроме лекарств были и некоторые медицинские инструменты: ножницы, нож, разных размеров иглы и пинцеты.

Из лапы льва сочилась кровь. Его глаза с доверием смотрели на человека.

— И как это тебя угораздило наткнуться на такую занозу? Она так крепко застряла в твоей лапе, что без посторонней помощи ты не мог бы от нее освободиться... Благодари судьбу за то, что я пошел не по главной дороге, а по этой глухой тропе.

Врач приступил к операции. Видно было, что льву больно, но он терпел, догадываясь, что все делается для его блага. Когда заноза была извлечена, врач сказал:

— Возьму ее себе на память о необычном пациенте.

Рана была залита обезболивающим бальзамом. Что сделал после этого лев? Он стал лизать руки и голову своего нежданного врачевателя. Он пристально глядел в темно-синие глаза, как бы стараясь запомнить их на всю жизнь.

— Ну, что же, мой неожиданный приятель, мне надо спешить к другу: ему помощь так же неотложна, как и тебе... Прощай... Вероятно больше никогда не встретимся.

Врач погладил льва по гриве, а зверь снова стал лизать руки своего спасителя. Когда целитель закрыл сумку и приподнялся, чтобы идти, лев издал слабое рычание. В этом звуке слышались благодарность вместе с сожалением о разлуке с целителем.

Человек пошел, а лев все еще оставался на тропе. Пройдя шагов десять, врач оглянулся. Лев оставался там же.

Когда врача стало не видно за холмами, лев покинул тропу.

Прошло несколько лет.

Наступило страшное для христиан время: престол Римской империи занял Нерон. Император издал указ — вылавливать христиан и предавать их пыткам и казням: распятиям и растерзаниям хищными зверями.

И вот было объявлено, что ближайшее дневное представление в цирке будет ознаменовано казнью десяти христиан. Для каждого приготовлен лев. Все львы до представления в течение трех дней не будут получать пищи, чтобы сразу наброситься на свои жертвы.

В этот раз в цирк спешили не только простолюдины, но и аристократы. Ведь так интересно созерцать, как кости десяти христиан будут хрустеть в голодных львиных пастях.

Все места были заполнены задолго до представления. Из клеток, расположенных в подземных подвалах доносилось глухое рычание голодных львов.

Публике больше нравилось, когда казни совершались поодиночке: тогда можно было сосредоточить все внимание на казнимом и на голодном льве, который разрывает на части живое тело.

В этот раз первым вывели на арену еще совсем молодого человека с темными кудрями. Он был красив и строен. Тысячи женских глаз устремились на него с сожалением: такой привлекательный, такой необыкновенный, но вот сейчас от него останутся лишь кости, а тело будет поглощено голодным львом.

Зверя долго не выпускали с целью: пусть все полюбуются красавцем в последние мгновения его жизни.

Он стоял посреди арены, глядел на людей и думал:

— Есть ли среди вас хотя бы одно сердце, которое сейчас обливается кровью от сочувствия? В чем моя вина? Какое преступление совершено мною? «Ты — христианин — и поэтому должен умереть», — говорят мне властители. Я готов принять свой мученический конец.

Публика стала топать ногами от нетерпения: пора выпускать льва!

И вот он бежит на арену отощалый, но проворный. Он направляется к жертве, но подбежав вплотную, останавливается: рычание, похожее на радость, вылетает из пасти льва: он узнал того, кто когда-то помог ему в страшной беде, узнал по запаху, по темным кудрям, по синим глазам, по всему доброму облику.

Став на задние лапы, он кладет передние на плечи своему спасителю и начинает лизать его в лицо и в голову.

Приговоренный к смерти видит шрам на когда-то оперированной лапе.

— Здравствуй друг, вот в каком необычайном месте мы встретились с тобой... Ты же сейчас должен растерзать и пожрать меня...

А лев рычит от тоски, любви и благодарности, продолжая нежно лизать христианина.

Публика гудит от удивления. Никогда еще не было такого зрелища в цирке.

— Чудо! Чудо! — раздаются женские голоса.

— Отменить смертную казнь всем приговоренным!

— Довольно крови!

Голоса тысяч людей так властны и непреклонны, что администрация цирка отдает распоряжение: «Казнь десяти христиан отменяется!»

1969 г.
Брайт.

ВЕЧНАЯ РАДОСТЬ

Столичный приморский город расположен на холмах. Во всех учебниках географии он считается одним из красивейших городов мира. Скалы, вечная зелень, лазурный залив, белые дворцы среди цветов и пальм, постоянное тепло и ничем невозмутимая тишина — привлекают к нему тысячи путешественников.

— Это — сказка, это — земной рай! — восторженно восклицают впервые попавшие сюда.

Золотой прибрежный песок манит с утра старых и молодых. Солнцем и морской водой люди исцеляются от многих недугов и благодарят Творца за неувядающую красоту.

Город славится дивными парками. Их много в этой столице. Они раскинуты и на вершинах гор и у подножия скал. Правитель края поклонник всего изящного,

прекрасного, радующего взоры и душу. Зная об этом, сюда охотно переселяются художники, скульпторы, музыканты, архитекторы. Картинные галлереи этой столицы известны всему миру. Аллеи и лужайки в парках украшены мраморными статуями.

Самый знаменитый из скульпторов — Джиовани Розарио. Его творения красуются всюду. У него красавица жена и четверо прелестных детей — два мальчика и две девочки. Никто не удивляется, что свои произведения он посвящает исключительно женской красоте и детской святости. Каждая новая статуя скульптора — вызывает всеобщие восторги зрителей и читателей журналов, в которых помещаются фотографии, посвященные искусству знаменитого ваятеля.

Приближалось десятилетие супружеской жизни правителя. По этому случаю он решил в центре главного парка поставить такую статую, которая бы своим величием и красотой затмила все, что было создано скульптором Розарию до этого времени. Заказ был сделан заранее, почти за год до семейного торжества.

— Какое изображение вам было бы больше по душе? — спросил скульптор у заказчика.

— Я предоставляю это вашему усмотрению. До сих пор вы были источником радости. Ни одна черта, ни одна линия не повредили вашим творениям. Огромные толпы туристов стоят часами возле ваших статуй.

***

«Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них» (Екклесиаст 9:12).

Семья Джиовани Розарио увеличилась еще одним ребенком. Но мальчик родился слабеньким, болезненным: совсем непохожим на старших детей. Теперь почти постоянным младенческим плачем оглашались роскошные апартаменты скульптора. Ребенок не спал, отворачивался от материнской груди, таял у всех на глазах. Скорбь пронзила сердце матери. Никогда еще ее лицо не было таким печальным, как теперь. А уже нужно было приступать к созданию статуи, которая по замыслу прави-

теля должна украсить центральный парк на радость жителей столицы и многочисленных туристов.

Мог ли скульптор допустить хотя бы малейшую фальшь, мог ли заставить резец — высечь из мрамора что-то радостное, одухотворяющее, заражающее всех беспредельным счастьем? Ведь черты любимой жены сейчас олицетворяют непрекращающуюся скорбь. Пусть же эта скорбь отразится и в белом мраморе.

Шли дни за днями. Больной ребенок не умирал, но и не выздоравливал. Часами глядела на него мать и невольные слезы текли по ее когда-то розовым, а теперь побледневшим щекам. Джиовани видел эти слезы, слышал скорбные стоны. Он страдал не меньше жены. И эти страдания постепенно отпечатывались на статуе, которую он высекал из мрамора.

Прошло несколько месяцев. В печали начатая работа была закончена.

— Как ты ее назовешь? — спросила жена.

— Мне кажется, для нее больше всего подходит название: «Скорбь, длящаяся вечно».

— Когда ты ее покажешь правителю?

— Сейчас он в отъезде. Его путешествие продлится еще две недели. Возвратившись, он захочет немедленно посмотреть на мою работу.

— Ты не боишься огорчить его?

— Но я сейчас не могу создать ничего веселого.

— Посоветуй ему — сделать заказ другим скульпторам.

— Он не примет такого совета... Почему ты думаешь, что «Скорбь, длящаяся вечно» напугает его? Разве жизнь человеческая — сплошной праздник?

Разве глубокая душевная скорбь не имеет права на существование? Слез в мире больше, чем улыбок.

Доводы мужа не успокоили жену. Перед сном она усердно молилась, прося Бога о чуде для своей семьи, для своего города и для всего мира.

Утром взглянув на ребенка, она воскликнула на весь дом:

— Он улыбается!.. Джиовани, иди сюда!..

Муж не слышал первых слов. Его ухо уловило только два последние: «Иди сюда». Думая, что больной умер, скульптор поспешил с тревожно трепещущим сердцем. Но вбежав в спальню жены, он остановился, не соображая в первые минуты, что случилось.

— Не стой у двери! Подойди сюда! Видишь он улыбается!.. Его щеки порозовели! Господи, Ты услышал вопль несчастной матери, Ты спас моего мужа от «Вечной скорби», Ты не разочаруешь тысячи людей, которые соберутся на открытие новой статуи!.. Не этой, Джиовани, которую ты закончил вчера, а другой, которую начнешь сейчас, сию минуту!

Счастливая мать приложила ребенка к груди и он впервые с поспешностью стал насыщаться дивным целительным напитком, отвергавшимся до этого момента.

Вдохновением загорелось лицо скульптора. Радость забурлила в его жилах. Он понял в эти мгновения, что на смену «Скорби» пришла «Нечаянная радость»... Как хорошо, что правитель в отъезде. Если на «Скорбь, длящуюся вечно» потрачено несколько месяцев, «Нечаянную радость» я успею закончить в несколько дней!.. Я буду работать днем и ночью... Бог даст мне мудрости и сил!..

Новая жизнь началась в доме скульптора: счастлива была мать, ликовали старшие дети, умилялись слуги, а ваятель еще никогда не работал с таким вдохновением, как в эти светлые дни, наступившие после длительной скорби.

К возвращению правителя из поездки статуя была готова. Заказчик пришел взглянуть на нее, заранее предвкушая восторг эстета.

Но то, что он увидел, превзошло все его ожидания. Растроганный до глубины души, он обнял скульптора и крепко расцеловал его.

— Ваш гений достиг вершины! Как я рад за всех обитателей земного шара!

Телеграммы о новом произведении Джиовани Розарио полетели во все страны. Многие благодарили Бога за то, что Он посылает на землю гениальных людей, которые своими творениями украшают жизнь и помогают забывать о всех ее тяготах и скорбях.

На торжество открытия в главном парке перед мра-

морным дворцом правителя собрались тысячи людей из разных городов и стран.

Когда белое покрывало было снято со статуи, бесчисленное множество голосов слилось в небывалый оркестр радости:

— Боже, какая красота!

Статуя изображала счастливую мать во весь рост. Нежными руками она прижимала к груди улыбающегося младенца и сама улыбалась. Среди зрителей не было ни одного лица, которое не ликовало бы в эти минуты. Каждое сердце трепетало от счастья.

— Джиовани Розарио! — Зашумели собравшиеся.

Правитель понял, что народ хочет видеть создателя этого шедевра. Он вывел на балкон своего дворца скульптора и первый зааплодировал. И тогда заплескался шквал восторгов счастья, радости, благодарности и удивления.

— Жену Джиовани Розарио! — снова зашумела толпа.

Правитель вывел на балкон счастливую мать с ребенком на руках.

— Это она! Это она!..

Люди глядели то на балкон, то на статую. Сходство радовало и умиляло. Долго не смолкали восторженные аплодисменты. Показаны были народу и старшие дети скульптора. На балкон полетели цветы. В воздухе взвивались шляпы и разноцветные шарфы. Люди обнимали друг друга, как будто каждый одержал победу или обрел клад.

Правитель поднял руку, призывая к тишине:

— Дорогие соотечественники и гости! Художник назвал свое произведение «Нечаянной радостью», но я думаю, что все мы с полным правом можем назвать это чудо искусства «Вечной радостью». Бог пожалел ту, которую вы видите на этом балконе и в мраморе среди парка: Он оживил ее сына и этой своей милостью говорит нам: «Радуйтесь!.. Всегда радуйтесь в Моем прекрасном мире и чаще обращайтесь ко Мне со своими мольбами». Слава Небесному Творцу за Его отзывчивость! Слава нашему гению Джиовани Розарио!

1969 г.

Брайт.

СКРИПКА

Друзей было четверо: Рей, Майк, Жан и Дени. Первый был коноводом. Он придумывал для всех задания на день: куда сбегать, что украсть, где выгоднее сбыть похищенное, накупить сластей и потом устроить пирушку.

Это был черноволосый мальчишка с насмешливыми большими глазами. Он обладал способностью глядеть не мигая несколько минут. Когда он устремлял свой взгляд на провинившихся товарищей, каждый извивался от смущения, как дождевой червь, нанизанный на удочку.

Дени был самым маленьким. Это был застенчивый белоголовый малыш, похожий на кролика. Всякое приказание коновода он исполнял без ропота. В первые дни принадлежности к шайке он пытался возражать, но ему было строго сказано, что в таком случае пусть он сидит возле своей мамы и не участвует в пиратских набегах.

Майк и Жан были исполнителями трудных предприятий, когда нужно было ускользать от полиции,

спускаться с высокого дома по водосточной трубе, обворовывать торговок на базарах. Они были похожи друг на друга, оба рыжие, веснушчатые, только у одного веснушки были крупные, как пятна величиною с пенни, а у другого мелкие, как пшено.

Жили друзья в Чикаго, где много простора авантюристам и проходимцам всех возрастов. По целым дням они шлялись по городу, ездили в подземных поездах, бродили в парках, часто советуясь, что предпринять в дневные и вечерние часы.

Трое старших знали, что у Дени год тому назад умер отец, а мать работает медицинской сестрой в большом госпитале, дежуря там по ночам. Днем она четыре часа служит в другом месте. Дома бывает редко. Дени зимою ходит в школу, а летом предоставлен самому себе. Потому его и потянуло в компанию Рея. С тремя ловкими, смелыми мальчиками ему не было скучно. Он был худ, бледен, тонок. Ребята его прозвали «Паутинкой».

Однажды Рея осенила такая мысль:

— Слушай, Паутинка, тебе ничего не стоит проникать в самые узкие щели. Ты можешь пролезть даже в замочную скважину, а в оконные форточки тем более... У меня на примете русская церковь, где в подвальном помещении много музыкальных инструментов... Больше всего мне нравится их скрипка — совершенно новая... Вот ее ты и подтибришь...

— А кто на ней играет? — поинтересовался Дени.

— Такой же карапуз, как ты... и белобрысый в тебя... Сегодня у оркестра как раз репетиция — можем поглядеть в окно... Уверен, что ты тоже влюбишься в их новую скрипку. Мы можем ее загнать за 20 долларов. По пяти долларов на человека — разве плохо? Согласен?

— Подумаю, — почему то несмело ответил Дени. Больше всего его смутило то, что на скрипке играл такой же мальчик, как он... Может быть тоже не имеет отца и единственный сын у матери?..

— Репетиция у них с 6 до 8 вечера!

— А когда они играют в церкви?

— На утреннем собрании. Ты полезешь в форточку, как только они разойдутся. Завтра ведь воскресенье.

Но мы их подведем: у скрипача не будет инструмента!..

За несколько минут до шести все четверо уже слонялись возле церкви. Музыканты собрались дружно: человек пятнадцать молодежи. Только дирижер был лет тридцати. Самым маленьким был скрипач. Как он действительно похож на Дени: и такого же роста, и застенчив. А как играл! Дирижер все время обращался к нему с ласковыми словами. Несколько раз он называл его Димой. У мальчика сверкали от радости глаза, видно было, что он очень счастлив. После репетиции дирижер обнял Диму, как сына и похлопал по правому плечу.

Дени почувствовал большую симпатию к музыканту-ровеснику. И такого одаренного, можно сказать, виртуоза — он должен лишить инструмента? Сердце заныло. Может быть отказаться? Но тогда Рей сразу выгонит из шайки... А что он будет делать один? Во дворе, где он живет, одни девочки — какой интерес водиться с ними?

Репетиция окончилась. Музыканты разошлись. Последним вышел дирижер и закрыл выходную дверь на замок. Вокруг церкви с одной стороны был небольшой сквер, с другой пустырь. Это было довольно безлюдное место, очень удобное для задуманной кражи.

— Форточку закрыть забыли... Лезь, — приказал Рей.

— Что-то не хочется... — вздохнул Дени.

— Это еще что за разговоры? Лезь без всяких рассуждений! Мы будем ожидать тебя...

И Дени полез. Без всякого труда он проник в подвальное помещение и быстро нащупал скрипку. Прежде чем лезть обратно, он долго гладил инструмент, как будто это была не скрипка, а живой человек. Подойдя к окну, он протянул ее своим товарищам. Скрипку взял Рей.

— Колоссально! — воскликнул он. Когда он бывал в восторге, то всегда повторял это слово.

Дени помогли выбраться наружу. Возле церкви было темно. Направились к перекрестку улицы, где светились яркие фонари.

— Дай мне взглянуть на нее при свете, — сказал Дени.

— Хочешь насладиться своим трофеем? На, любуйся. Держи и смычок...

Дени прижал скрипку к груди, как мать прижимает ребенка.

— Какая она хорошая... как живая...

— Смотри не влюбись, как в девочку... давай!..

— Скрипку взял я — значит она моя... Я никому ее не отдам!..

— Это еще что за фортель? Хочешь, чтоб мы тебя выкинули из своего союза?..

— И выкидывайте... Не отдам!.. А если будете отнимать силой, сейчас позову полицейского и про все расскажу!..

— Ненормальный какой-то!..

— Пусть ненормальный, но скрипки вы не получите... Я пойду домой по этой улице... Тут светло... Не смейте идти за мною!..

— Что стало с этим молокососом? — удивлялись все трое.

Скандалить с ним не хотели, так как были уверены, что за ночь он одумается и завтра снова будет проситься в шайку.

Дени вернулся домой, когда мать уже ушла на ночное дежурство. Скрипку он спрятал под кровать. В квартире никого не было.

— Как бы не взломали дверь Рей, Майк и Жан?..

Вместе со страхом в душе было хорошее чувство, какое бывает только после теплой ванны с мылом и губкой. Заснул скоро. А когда проснулся, мать еще спала. Написал ей записку: «Мама, если проснешься, не беспокойся, я скоро вернусь». Скрипку завернул в наволочку снятую с подушки.

Адрес русской церкви он запомнил хорошо. Быстрыми шагами направился туда, часто принимался бежать, оглядывался, как бы ожидая погони. Но, к счастью, недавних друзей в эти часы на улице не было видно. Подойдя к церкви, он несколько раз прошелся возле нее. Собирались посетители. Вот он увидел дирижера, подходили и музыканты. Дени остановился у двери и заплакал.

— Почему плачешь? — спросил дирижер. Мальчик не понял вопроса. Тогда о том же дирижер спросил по-английски.

— Мне стыдно...

— Ты сделал что-то плохое?

— Я украл вашу скрипку... Вот она...

— А почему же возвращаешь?

— Мне стало жалко вашего скрипача Диму и... мою маму...

Удивленный дирижер позвал пастора — ласкового, улыбающегося человека.

Дени рассказал, как была совершена кража и почему он решил вернуть скрипку.

— Твоя мать счастливая, — сказал пастор, — не у всякой матери в Америке такие хорошие дети.

— Наоборот, я очень плохой... я был три месяца в воровской шайке...

— Но раз ты возвращаешь скрипку, значит порываешь со своими недавними друзьями?

— Да... Порываю...

— Останься на нашем собрании... Для тебя это будет новинка...

— Мне бы хотелось познакомиться с Димой...

— А как зовут тебя?

— Дени.

— А вот как раз и Дима — познакомтесь!.. Ваши имена похожи и оба начинаются на букву «Д»...

Дени протянул руку юному скрипачу и спросил:

— Вы говорите по-английски?

— Да, конечно, ведь я родился в Америке и хожу в американскую школу.

— Я бы хотел подружиться с вами!.. Мне хочется быть скрипачом.

— Ну, что ж, я скажу Василию Васильичу и он с радостью примет вас в оркестр.

***

Дима и Дени стали друзьями. Дени приняли в оркестр. Он стал изучать руский язык только потому, что по-русски говорил его новый друг. С шайкой бандитов было покончено.

1966 г.
Брайт.

ДОРОГАЯ ГОСТЬЯ

На широкой дачной веранде, обвитой диким виноградом, было шумно и весело. Хозяйка дома, изящная блондинка, Мария Моисеевна Куницкая справляла именины.

Гости вместе с именинницей утром были на архиерейском богослужении. В соборном хоре Мария Моисеевна была солисткой. Ее колоратурное сопрано удивляло духовенство и всех прихожан. Послушать певицу собирались люди даже с далеких окраин города.

Муж Марии Моисеевны был главным губернским архитектором. У них было двое детей: мальчик двенадцати лет — белокурый в мать и шестилетняя девочка

— шатенка в отца. Стол для детей вместе с другими малышами, приехавшими на именины с родителями, был накрыт на другой террасе, выходившей ступенями в глубину парка.

Вдоль веранды, где собрались взрослые гости, цвели розовые и малиновые пионы. Аромат больших махровых цветов сливался с медовым запахом липы, которая еще не была в полном цвету.

Гостей было много — дамы в светлых платьях с обилием легких прозрачных кружев, мужчины в летних костюмах — в кремовых фланелевых брюках и синих пиджаках. Все как будто заранее сговорились, чтобы цвет и покрой одежды был выдержан в одних тонах, как для парада.

Разговор почему-то зашел о нищих, которых было очень много в это воскресенье на каменных ступенях соборной паперти.

— Я просто не понимаю, почему начальство не запретит этому сорту людей портить настроение христиан? — говорила одна из дам, — после чудных песнопений хочется идти домой в хорошем настроении, но уроды и калеки на паперти отравляют душу своими ранами, культышками рук и ног, слезящимися глазами и неугомонными воплями о помощи... Своими вытянутыми грязными руками они задевают за одежду и разносят заразу... Я бросаю им гроши всегда с брезгливостью... Этот кошмар нищеты и уродства выбивает меня из колеи... После этого даже красота природы меркнет: смотришь на цветы, а воображение рисует тех, которые только что цеплялись за твое платье... Пусть бы для нищих отводили какие-нибудь специальные места, но только не паперти соборов!..

— Не согласна с вами, — возразила хозяйка, — Собор —обитель Божья. Христос был и остался другом всех несчастных, обездоленных, нищих, калек... Его не пугают такие сборища... В другие места, где были бы собраны исключительно нищие, никто бы не пошел... Разве ходят люди в лепрозории для прокаженных?.. А здесь, на паперти, все молящиеся, хотят они этого или не хотят, непременно увидят несчастных при выходе из храма... А увидев, могут сжалиться и что-то уделить им из своих кошельков;... При виде нищих я тоже стра-

даю, но не потому, что эти люди некрасивы, а потому, что в мире много неравенства и несправедливости: рядом с богатством — нищета, рядом с красотою — уродство... Счастливые не хотят иметь дела с обездоленными, сытые не понимают голодных... Я никогда не забываю о многострадальном Иове, который после несметного богатства и крепкого здоровья стал жалким, больным человеком... Бог ему сначала много дал, а потом все взял... Разве не может это случиться с каждым из нас? Разве вы забыли о знаменитой певице, которая удивляла многочисленную публику всех столиц мира, но через некоторое время заболела, ослепла и в конце концов, всеми забытая, несчастная — превратилась в нищенку с протянутой рукою на паперти храма? «Подайте Христа ради ей», — поется в романсе об этой певице. Неужели все вы отвернулись бы от нее, если бы она робко обратилась к вам с просьбой о куске хлеба?

— Вы привели исключительный пример, — зашумели гости, — в большинстве же случаев — нищие — это лентяи, притворщики, хитрецы, очковтиратели, которые используют человеческую жалость.

— Не согласна с вами! Притворщиков среди нищих — ничтожная часть. Большинство же из них действительно — несчастные, обездоленные люди.

— Скажите, Мария Моисеевна, — спросила одна из гостей, — если бы вот сейчас к нашей веранде подошла нищенка в рубище, как бы вы с ней поступили?

Задавшая вопрос была рыжеволосой и толстой с пухлым носом, который свидетельствовал о ее лукавстве. Она думала, что подцепила хозяйку и та не сможет ей ответить. Но очаровательная Мария Моисеевна, слегка тряхнув головой, отчего зашевелились ее пушистые светлые волосы, решительно сказала:

— Я посадила бы ее на самое почетное место!

— Как? — вскричали все женщины и несколько мужчин, — вы пренебрегли бы всеми нами?

— Я этого не говорю... Гостья нищенка была бы для меня так же дорога, как все вы.

— Короче говоря, вы бы поставили всех нас на одну доску с нищенкой?... С каких это пор вы стали такой нищелюбкой?

— Я всегда была токой.

— Подтверждаю это, — сказал хозяин дома — солидный господин с приветливыми темными глазами и густой шевелюрой, зачесанной на левую сторону.

В конце липовой аллеи скрипнула калитка садовой ограды. Кто-то вошел в парк и робкими шагами направился к веранде.

— Радуйтесь: ваше желание исполнилось — идет нищенка — насмешливо закричали гости.

Вошедшая остановилась на довольно большом расстоянии от красивого дома, боясь подойти ближе. Это была еще совсем молодая женщина в ветхом платье, с сумой на левом плече. Из-под синего платочка выбивались светлые волосы. Она думала, что ей бросят издали какую-нибудь монету или пошлют прислугу с куском хлеба.

— Идите смелее, — крикнула хозяйка, — не бойтесь: здесь сидят люди, а не звери!

Женщина сделала еще три шага. Все увидели, что она хромает на правую ногу.

— Вы, Мария Моисеевна, так вежливы с нищими, что даже называете их на вы, — заметил кто-то из мужчин.

— Для меня все люди равны... Идите, идите, милая, вас послал Сам Бог: Он исполнил мое заветное желание!..

— Ах, вот как? Даже заветное? — стали в недоумении переглядываться гости, — вероятно нам тут нечего больше делать?

Хозяйка спустилась по желтым лаковым ступеням веранды и подошла к нищей.

— Как вас зовут?

— Марией.

— Мы с вами тезки... Я тоже Мария... справляю день Ангела...

— Когда-то в этот день я тоже служила молебен в церкви, а теперь вот побираюсь...

— Значит, вы тоже именинница? Как это прекрасно... Пойдемте к столу!

Она взяла нищую под руку и повела к дому. Видя это, гости один за другим поднялись со своих мест и

вместе с хозяином куда-то вышли. Но Мария Моисеевна была так захвачена порывом искренней доброты, что не обратила никакого внимания на опустевшую веранду. Она усадила гостью против себя и стала ее угощать всем тем, что было на столе: колбасами, пирогами, паштетом, салатами, фруктами.

— Снимите свою суму... Чувствуйте себя, как дома... Подождите меня здесь одну минутку... Я сейчас...

Хозяйка куда-то стремительно выбежала, а через несколько минут вернулась с ворохом платьев:

— Мы с вами одного роста... Вы, как и я, именинница. Вот вам именинный подарок... Кушайте пожалуйста, а потом раскажите мне о себе.

Гостья заплакала, со спазмами в голосе сказала:

— Вы лучше родной сестры...

Она стала целовать руку хозяйке:

— Мне кажется, что это во сне... Господи, какие есть на свете люди... У вас тут —рай... А гости ваши куда-то ушли... Наверно побрезгали мной... Я лучше уйду... Зачем вам из-за меня расстраиваться?

Мария Моисеевна только в эту минуту заметила пустоту на веранде. Но это еще более подняло ее дух. «Ах, так? — подумала она про себя, — вам противно общество этой несчастной! Ну что ж... упрашивать вас не стану, вдагонку за вами не побегу»...

Когда гостья утолила голод, хозяйка повела ее в комнаты и там помыла, причесала, одела в чистое платье и даже надушила. После этого она подвела ее к зеркалу.

— Господи, да неужели это я?.. В зеркале какая-то красивая барышня...

Она действительно была совсем молодой, привлекательной, с двумя длинными русыми косами, с застенчивыми голубыми глазами.

— Как это с тобой случилось, милая? Почему ты стала нищей?

— Мы жили в большом селе. Моего отца зовут Семен Берегов. Все нам завидовали. А завистники всегда очень злые... Один раз ночью три человека отравили весь наш скот, а дом подожгли. Страховка просрочилась. Отец не успел застраховать дом снова. Сгорело все имущество, шкатулка с деньгами, погиб весь скот. Когда я вытаскивала из дому подушки, на меня упала пе-

рекладина и придавила ногу... Я чуть не задохнулась в дыму... Меня спас брат. После пожара я месяц лежала в больнице, а когда вышла, то нога моя стала хромать... Отец нам сказал: «Идите собирать милостыню... Бог нам дал и Бог у нас взял»... В своем селе я стыдилась протягивать руку... В соседние села тоже стеснялась пойти... добралась до города и вот хожу тут... Могла бы поступить в прислуги... кое-кому набивалась, но люди как только увидят мою хромоту, отказывают: «Хромая девушка будет плохой прислугой»... Но я думаю, что это ничуть бы мне не помешало.

— Я устрою вас, милая Маруся!..

В это время из сада донесся дружный смех большой группы людей. Когда Мария Моисеевна выбежала с веранды, то увидела своих гостей: после обильного угощения они прогуливались по дорожкам и острили по адресу хозяйки.

— Где ваша любимица? — стали спрашивать дамы и мужчины.

— Нищенки нет... Но вместо нее появилась другая гостья... Спешите познакомиться: она торопится уходить...

Вслед за хозяйкой побежали дамы, за ними довольно поспешно следовали мужчины во главе с хозяином дома.

Переодетая гостья сидела в кресле. От смущения ее щеки покрылись румянцем... Косы она перекинула на грудь. Над лбом хозяйка сделала ей локон. Он был похож на опрокинутый знак вопроса. Когда вбежали гости, Мария хотела встать и уйти, но хозяйка сказала:

— Сидите, Маруся... Представляю вам, господа, Марию Семеновну Берегову.

Первым подошел к девице хозяин дома:

— Здравствуйте... Откуда вы, милая?

— Из дальнего села, — смутилась гостья.

На ее ресницах навернулись крупные слезы.

— Да ведь это же нищенка! — бестактно вскрикнула дама с пухлым носом.

— Ошибаетесь, Екатерина Михайловна, нищих здесь нет!

Мужчины, любуясь девушкой, говорили:

— Мария Моисеевна, вы — добрая фея... То, что мы читали в сказках, сегодня видим в действительности... Честь вам и слава!

⁂

Маруся Берегова осталась у Куницких. Они устроили ее в школу кройки и шитья. Через три года она стала знаменитой портнихой. Ей заказывали платья главные богачки и модницы города. Маруся много читала и стала культурной девушкой. Директор школы сделал ей предложение. Свадебный пир справляли на даче Куницких. На пиру присутствовали все те, которые когда-то сбежали с веранды, завидев приближавшуюся нищенку. Теперь они считали для себя честью завести дружбу со знаменитой портнихой, женой директора школы кройки и шитья.

1966 г.
Брайт.

ФЕДИНА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Пропал кот — хороший, черный с белыми лапками. Мать горюет:

— Теперь от мышей не будет житья.

Восьмилетний Федя утешает:

— Не расстраивайся, мама, я что-нибудь придумаю.

Придумывать — специальность Феди. Иначе и нельзя: после того, как умер отец, Федя стал хозяином дома. А это было два года тому назад. С тех пор соседи стали относиться к Феде с почтением. Прежде называли Федькой, а теперь еще издали кричат:

— Как поживаешь, Федор Кузьмич?

— Помаленьку, — с важностью отвечает малыш и гладит медленно по животу, как это делают старики.

Одно горе у Феди: не все то, что он придумывает, заслуживает похвалу матери. Кое за что ему здорово влетает. Однажды мать послала его на гумно — прополоть полоску проса. Нужно было удалить с полосы сорную траву, очень похожую на просо, которая называется «просянкой». Как разобраться малышу в растительных тонкостях? И он выдергал все просо, а просянку оставил. Больно побила его за это мать. Бить она хотела там же на полоске, когда увидела, что натворил ее помощник, но Федя сказал:

— Мама, ты бей меня дома, чтобы никто не видел и не слышал, как я плачу... Я ведь хозяин... Надо мной

смеяться будут, скажут: «Хозяина выдрали, как сидорову козу».

Мать согласилась:

— Хорошо, побью дома!

Федя не раз спрашивал:

— Тебе лучше бывает, когда ты меня бьешь?

— На сердце делается легче... И наука тебе, чтоб в другой раз был сообразительней.

Здорово попало Феде и за то, что он по недогадливости сжег пучки сухих трав, которые висели на чердаке.

— Не хозяйская у тебя голова, а бесхозяйственная, — приговаривала мать, стегая за это сына плеткой, — кто же лекарственную траву сжигает? Чем теперь будем лечиться от лихорадки, от ломоты, от рези в животе?

Много забот у матери, да и у Феди не меньше.

— Раздобуду кота, тогда мама все мои старые ошибки забудет и при всем народе похвалит.

Рано утром мать сказала:

— На базар в соседнее село пойду, а ты тут подомоседничаешь. Смотри новой беды не сотвори! Из погреба я выставила две махотки со сметаной, чтобы загустела и пять кринок с молоком, чтобы лучше сливки отстоялись. Как приду с базара, так начну масло пахтать. Телушку отгонишь на луговину. Есть захочешь, вот тебе пироги с картошкой, можешь молока себе налить.

— Не беспокойся, все сделаю, как надо!

Ушла мать, а у сына забота: как бы котом разжиться?

За зеленой луговиной — дубрава. Дубы ветвистые, могучие. Сколько раз на них забирался Федя на самую вершинку!

Подогнал теленка почти к самой опушке и вдруг слышит неистовый лай. Оглянулся и видит — пять или шесть собак гонятся за черным котом.

— Может быть, это наш кот, который пропал?.. Бедный, беги скорее сюда, прыгай на дерево!

А кот без подсказки сообразил, что спасенье только на дубах!

Собаки с лаем настигают — злые, разъяренные, вот-вот растерзают в клочки... Но кот бежит быстрее — вот и дуб, что на отшибе растет, широкий, как шатер.

Прыгнул кот на ствол, со ствола на нижнюю ветку, с этой — на другую — теперь не страшно: знает кот, что собаки по деревьям не карабкаются. Но этим уменьем обладает Федя. Кот — вверх, мальчик за котом!

— Кис-кис, не бойся, я тебе не злыдень...

Изловчился — и хвать поперек живота. Не сообразителен кот — царапает своего спасителя. Но Федя терпит: ничего, пусть льется кровь, все перенесу, только бы мама была довольна.

Собаки от дуба не отбегают, мечутся вокруг дерева, воют, лают, как будто просят мальчика:

— Дай нам его!

— Прочь, не ваш он, а мой!..

Течет кровь по обеим щекам Феди, в крови руки, но крепко они прижимают кота к груди. Слышит мальчик, как бьется кошачье сердце; говорит ему:

— Глупый ты преглупый, я же для тебя стараюсь, неужто не понимаешь?

Спустился исподволь с дуба, к дому направился, а собаки не отстают. Хорошо еще, что Федю загрызть не решаются. Только возле Фединой избы отстали.

Прибежал хозяин домой, думает: куда деть кота, чтоб он от собак успокоился?

Впихнул его в избу, а сам на дорогу вышел, какая к базарному селу ведет: ведь по этой дороге вот-вот должна мать вернуться, чтобы новостью о коте порадоваться... На лугах, во впадинах лужи от вчерашнего проливного дождя — голубеют, как маленькие озерки, а из них высокие травинки к солнышку тянутся... Нагнулся Федя над водой и видит: русые кудри спутаны, синие глаза от удивления шире стали... А удивляться есть чему: кровь по всему лицу размазана и уже присохла, только возле правого уха сочится. Больно, но терпит — все заглушает радость, как он встретит мать и котом ее осчастливит.

Умывается, а раны от воды щиплют:

— Не беда! Не умру!..

А вот люди по ближайшей дороге идут — наверно с базара. Может быть и мать с ними. Она в синей юбке, красной кофточке и в белом платочке... Пока не видно... Хоть бы скорее пришла, сердце от нетерпения места в груди не находит.

Вот показались соседи. Подбежал.

— Маму не видели?

— За нами шла, да в лесочке задержалась, ягоды тебе собирает...

— Моя мама хорошая.

А вот она завиднелась: по одежде ее издали можно узнать: красная кофточка, как мак цветет. Через плечо ноша перекинута: покупки. Заторопился навстречу.

— Мама, ты сроду не догадаешься, что я сделал!..

— Что-то больно веселый ты!..

— Как же не веселиться, коль радость с неба свалилась... Сначала по дороге бежала, а после на дуб прыгнула... Я за ней... и собак не побоялся...

— Неужто кота раздобыл?..

— Черного, в точности, как наш... А может быть это наш?.. Только почему-то всего исцарапал меня... крови много пролилось, но я ее смыл...

— А где ж этот кот теперь?

— Я его в избу пихнул.

— Как в избу?.. Ох, чует мое сердце беду... Возьмика вот малину в лопушке...

— Спасибо, мама: ты мне малину, а я тебе кота!..

Подошли к избе. Возле нее палисадник, а в палисаднике ветелка и красные мальвы.

Вот и дверь. А за дверью какой-то грохот. Замерли оба сердца — и материнское и сыновнее: кто там орудует? Уж не разбойники ли?

Открыли дверь, а навстречу им как шарахнется что-то черное с мордой испачканной в белое... Глядят, а на полу разбитые горшки, разлитое молоко... Сметана в кринках почти вся вылакана, табуретка опрокинута... Потемнело в Фединых глазах...

А мать ничего лучшего не придумала, как схватить сына за вихры. Левой кудри треплет, а правой изо всей силы шлепает — и по затылку, и по спине, и ниже.

— За что? Я ж кота раздобыл!..

— А сколько добра погубил? Все пропало, что целую неделю скапливала... Уходи из дому... Не нужен мне такой сын...

Впервые слышит Федя от матери такие слова. Неужели сметана и молоко дороже для нее, чем я? Куда ему идти? Кому свое горе выплакать? Сколько крови

пролил, а теперь выгоняют...

Вышел на дорогу, на которой мать совсем недавно в радостных чувствах встречал. А по дороге дедушка Ефим плетется, на палочку опирается. Борода длинная, белая, почти до пояса.

— О чем, хлопец, горюешь, кого оплакиваешь?..

Обо всем с самого начала поведал Федя ласковому старику. Погладил его по голове Ефим и говорит:

— Хорошее у тебя сердце, паренек, только голова плохо соображает... А надо, чтобы сердце с головой дружбу водило, тогда будешь ты даже из воды сухим вылезать... На мать не обижайся... С горя она крикнула, что ты ей не нужен... А теперь сама наверно убивается, разыскивает тебя, у соседей спрашивает: «Не видели моего ненаглядного Феденьку?»..

— Дедушка, ведь я хотел добра маме, — сквозь рыдания признается Федя.

— Верю, хвалю тебя за это, но всякое добро надо с умом делать... Слыхал побасенку о мужике и медведе? Подружились они. И вот один раз, когда мужик заснул, ему на лоб села муха... Медведь пожалел друга, схватил дубинку и трах по мухе. Муху прикончил, а с ней вместе и мужика ухайдакал... Вот так и ты... кота в избу впихнул, а о том не подумал, что там полно молока и сметаны... Ты бы его в какой-нибудь ларь спрятал, тогда и беды никакой бы не случилось...

— Верно... В другой раз буду догадливее.

А вот и мать бежит:

— Федя, куда запропал?.. Обедать пора!

Посветлело на душе у сына: значит простила все провинности. Слава Богу... Жить в несогласии с матерью хуже всего... А кота он все же раздобудет: без кота в доме мыши будут донимать. Этот сбежал —и не жалко: дурной он — всю сметану вылизал...

— Иду, мама!..

1966 г.
Брайт.

ЖИЗНЬ ИЛИ СМЕРТЬ

Агроном Корнаков стоял на холме и смотрел на восток, где величественно всходило солнце. Кругом расстилалась зеленая степь. Утренний ветерок ластился к траве и цветам. Невидимые под небом жаворонки сыпали бисер простых, но трогательно-умилительных песен. Золотились плоские песчаные берега обмелевшего извилистого Илека.

Ночью не спалось от печальных мыслей. На заре вышел за станицу. Оренбургские просторы напоминали родную Кубань, приволье плодородного юга, далекое и недавнее прошлое. Он любил рыбную ловлю, природу, одиночество. Как хорошо было в детстве, какими надеждами была озарена юность, но гражданская война разрушила все планы, обескрылила мечты. Мобилизованный в белую армию, он должен был сражаться за тех, кому не сочувствовал. Каждая сторона в безумном братоубийстве обещала освобождение: красные — от белых, белые — от красных. Каждая сторона несла с собою месть, расправу, кровь, угрозы.

Война закончилась разгромом белых. Корнакову представлялась возможность — эмигрировать, но он от-

казался от этого. Бежать от страданий и лишений своего народа — не подвиг и не доблесть. — Если Россия обречена на голод, холод, неволю, тиранию, то почему я должен наблюдать за всем этим издали и в полной беспомощности проливать слезы проклятья одним и сочувствия другим? Никуда не побегу! Останусь с женой и детьми. Будь, что будет! На все Божья воля!

Корнакова арестовали, судили, приговорили к тюремному заключению, после которого последовала высылка в Оренбургскую губернию, в город Соль Илецк. Вот уже несколько лет он прожил здесь, работая главным агрономом машино-тракторной станции. Как за репрессированным и бывшим белогвардейцем, за ним строго следило местное партийное начальство. Каждый промах в работе ставился на вид. В каждой неудаче усматривалось сознательное вредительство.

Местное население полюбило агронома. Он был прост в обращении, словоохотлив, остроумен. Жена, бывшая балерина, как и муж, была внимательна к людям, для всякого находя приветливое слово. У них было трое детей подростков — два мальчика и девочка. Жалованья еле-еле хватало, чтобы сводить концы с концами. Пришлось завести корову, свинью, кур. За глинобитным домиком из двух комнат был огород. Работали с темна до темна. Тосковали по родным краям, по полноводной Кубани, ждали конца ссылки.

В колхоз «Земледелец» со всех сторон съехалось начальство на экстренное совещание. Нужно было выяснить причины невыполнения посевного плана. «Что-то будет? »— думал Корнаков, идя на совещание. О, как было бы хорошо скрыться куда-нибудь от предстоящей бессмысленной говорильни, но куда скроешься? В природе все попрежнему, как было сто и тысячу лет тому назад: золотятся отмели реки, голубеет небо и солнце льет потоки лучей на красавицу землю... Почему же в человеческом обществе такая сумятица? Почему у миллионов людей отняты покой и радость?

В правлении колхоза было душно. Махорочный и папиросный дым, клубясь, оседал на пожелтевшие, за-

сиженные мухами, портреты вождей без рамок, прибитые гвоздиками на всех четырех стенах.

На совещание были приглашены все бригадиры колхоза и актив. Первым говорил председатель Соль Илецкого райисполкома. Это был представительный скуластый блондин средних лет. Как и все партийцы, он не скрывал чувства собственного достоинства, но с синим бостоновым костюмом и красным галстуком не гармонировали большие ногти с черными каемками грязи.

— Товарищи, советское государство заботится о нас, идет нам навстречу: вот прислало драгоценных семян и пять новеньких тракторов. Мы должны принять это с благодарной отзывчивостью и во что бы то ни стало выполнить весенний посевной план, потому что советская власть держится на трех китах: на нашей великой партии, на сознательности масс и на плане. Если мы будем срывать план, значит, ликвидируем одного кита. Кто же мы тогда будем? Срывщики и саботажники своего счастья. А за это нам будет позор и стыд. Что же вытекает из этого? Срочно распашем тракторами 600 гектаров целины, не доедим, не доспим, а план выполним, чтобы наши вожди радовались, зная, как мы их любим.

В ответ на горячий призыв последовало гробовое молчание. В этом молчании было осуждение преступного шага, на который толкало начальство. И председатель колхоза, и бригадиры и весь актив понимали, что сеять пшеницу в июне в засушливой местности — преступление, но секретарь райкома и председатель райисполкома, не считаясь с законами природы, думали о спасении своей шкуры. В случае неурожая всегда можно сослаться на «стихийное бедствие», а как оправдаться, когда виновата не стихия, а партийный недосмотр?

— Предлагаю высказаться старшему агроному МТС, — сказал секретарь райкома.

Корнаков вышел на середину комнаты. Всем бросилось в глаза, как он худ и высок, как печальны его большие серые глаза.

— Мое слово будет очень коротким: я не могу поручиться за результаты посева, потому что прошли все сроки... Это не север, а засушливый юго-восток.

С презрительной гримасой, секретарь спросил:

— Имейте мужество сказать, не виляя: вы за посев или против?

— В чем вы усмотрели мое виляние, товарищ секретарь? Если я сказал, что не могу поручиться за результаты, то, кажется, ясно и младенцу, что сеять нельзя.

Последние слова он произнес, подчеркнуто разделяя слоги.

— А как по вашему, товарищ председатель колхоза?

Председатель замялся:

— Против науки, конечно, не попрешь, а товарищ агроном смотрит с научной точки.

— Что скажете вы товарищи бригадиры?

За всех ответил старший бригадир:

— Если сделаем посев, то загубим семена, целину с травой, труд и горючее для тракторов.

— Вот результат вашей агитации против правительственных планов, товарищ агроном, — сказал угрожающим тоном секретарь. — Я вижу, что мы сегодня ни до чего не договоримся. Завтра бюро райкома обсудит этот вопрос всесторонне и вынесет соответствующее решение.

***

На заседании бюро секретарь настаивал на предании суду агронома Корнакова. Но среди партийцев нашелся человек с сердцем:

— Я знаю товарища Корнакова: это честный, самоотверженный работник. Его возражение против сева в настоящий момент продиктовано не мстительными чувствами к советской власти, а исключительно благородством, желанием экономить каждое зернышко, каждую минуту, каждое человеческое усилие. Воздержимся от пахоты целины. Посеем не 600 гектаров, как значится в плане, а лишь один гектар — на пробу. Если на этом единственном гектаре будет хороший урожай, осенью агронома предадим суду за срыв весеннего посевного плана. Тогда я первый буду требовать его расстрела.

Предложение было принято и в тот же вечер партиец-доброжелатель, зайдя к Корнаковым, сказал им о постановлении бюро. Жена агронома расплакалась:

— А если на пробном гектаре будет хороший урожай, значит мужу — расстрел?

— Думаю, что этого не будет... В июне у нас дожди не перепадают.

— А вдруг в этом году произойдет перемена в атмосфере?

— Молитесь своему Богу, чтобы этого не случилось.

— Вы верите в Бога?

— Я то не верю, но верите вы, а когда веришь, возможно самое невероятное.

Пробный гектар был посеян. Для жены агронома наступили мучительные дни. С утра до вечера она была в молитвенном состоянии. Работает, готовит обед, одевает и причесывает детей, а сама все время молится про себя: «Господи, Ты видишь наши страдания в этом краю. Власть хочет погубить нас. Но Ты всегда был с нами и охранял нас от смертных опасностей. Сохрани нас и теперь, когда наша жизнь висит на волоске. Господи, Ты приказываешь ветрам и морским безднам, Ты посылаешь росу на поля, украшаешь цветами земные просторы, даешь покой исстрадавшимся душам. Пошли и нам успокоение, спаси нас от лютых врагов-гонителей, убереги от смерти моего страдальца мужа»...

Бывшая балерина сама удивлялась, откуда приходят все слова горячей молитвы? Они льются из души горячим потоком, бьют фонтаном надежды на Божью милость. Порою раскаяние охватывает душу: ей стыдно, что до сих пор она так мало времени уделяла Богу... И не удивительно ли, что ей подсказал молиться безбожник, знающий понаслышке о всемогущем действии горячей искренней молитвы. Часто слезы текли по ее впалым щекам. Дети спрашивали:

— Почему ты, мама, плачешь?

— Я? Плачу? — удивлялась она.

— А разве ты не чувствуешь своих слез?

— Вероятно я уже привыкла к ним.

Через неделю после пробного посева она заговорила с мужем о том, что ей хочется поехать в колхоз «Земледелец».

— Зачем?

— Прокатиться по полям... Попроси машину у директора МТС и поедем всей семьей.

— Тебе так хочется?

— Да, сделай это для меня.

Они едут по пыльной дороге, а справа и слева уже серебрятся ковыльные просторы. Завиднелась лента обмелевшего Илека. Свернули с огромного тракта на ответвление дороги — узкое, в ямах и рытвинах. Машина подпрыгивала в облаках пыли.

— Остановимся здесь, — сказал агроном.

Вышли. Неподалеку от них была недавно вспаханная земля. От бездожья бедный оренбургский чернозем стал серым, как зола.

— Я не вижу всходов, — сказала жена, а ведь прошло уже восемь дней. Через сколько дней всходит пшеница?

— В нормальных условиях через три. Сегодня уже 12-е июня. Чувствуешь горячий ветер с востока?.. Пшеница уже не взойдет.

Они подошли к границе пробного посева. Агроном наклонился и стал копать руками землю. Через несколько минут он сказал:

— Глядите!

На широкой ладони правой руки лежало около десятка сухих пшеничных зерен.

— Они такие же, какими были восемь дней назад. Только осенние дожди оживят их, но это уже не страшно. Опыт партийцев оказался неудачным. Моя жизнь вне опасности.

— Бог услышал мою молитву, — сказала жена и опустилась на колени. Она что-то хотела сказать, но спазмы в горле мешали ей. Она припала изможденным, страдальческим лицом к земле. Муж и дети видели, как тряслись ее плечи.

— Мама, мама, — заплакала девочка. За девочкой заплакали мальчики.

— Дети, Алеша, благодарите Бога за Его милость ко всем нам.

Все опустились на колени рядом с нею. Мать стала молиться за всех.

Слова благодарности лились неудержимым потоком.

И то, что до сих пор она произносила про себя, теперь оглашало эту унылую пустыню. Дети с удивлением слушали молящуюся. Светом надежды горели их глаза и души:

— Папу не расстреляют!

1966 г.

Брайт.

НАКАНУНЕ

Вернувшись в Париж после победы под Аустерлицем, Наполеон решил сделать что-то необычное, о чем бы заговорила вся страна. Когда он был занят раздумьями об этом, ему принесли свежий номер парижской газеты. На первой странице он увидел свой портрет. Тут же описывалась гениальность императора, как полководца. Автор статьи поведал и об удивительном человеколюбии завоевателя.

Прочитав статью, император почувствовал неловкость:

— Меня называют человеколюбивым, но так ли это? Дорог ли для меня человек не как солдат, офицер и генерал, а просто, как человек со всеми его горестями? Нет, людей, как таковых, я никогда не любил, к их судьбам, несчастьям и трагедиям я был совершенно равнодушен.

Перелистывая газету, он остановил свое внимание на заголовке: Смертная казнь убийцам!»

Начал читать. В заметке рассказывалось о том, что завтра на Гревской площади будут отрублены головы десяти преступникам, обвиненным в убийствах, которым нет оправдания.

Император вызвал своего адъютанта — молодого красивого офицера.

— Распорядитесь о том, чтобы я мог повидать преступников, о которых написано в этой статье.

Он ткнул пальцем в газету. Адъютант удалился. Через несколько минут все было готово к визиту Наполеона в тюрьму. Его карету охраняло несколько вооруженных всадников — впереди и позади. Перед мрачными тюремными воротами они спешились. Привратник был предупрежден заранее. Тяжелый ключ в замочной скважине со скрипом повернулся два раза. Ворота распахнулись.

Император впервые шагал по тюремному двору. Смотритель, держа в руке фонарь, повел знатного гостя в сопровождении четырех телохранителей узким мрачным коридором в подвальное помещение. Сырость, промозглость, мрак и холод — заставили содрогнуться сердце, которое не содрогалось в моменты кровопролитных сражений.

Спустились в подвал. В этом подземелье находились исключительно смертники. «Чем они тут дышат?» — подумал император, боясь, что у него закружится голова.

Камеры были одиночные. Люди, находившиеся в них, казались скелетами — изможденные, обросшие, с ввалившимися глазами, трясущимися пальцами.

Знатному посетителю было показано уже девять камер.

— Почему ты здесь очутился? —спрашивал император.

И в каждом ответе он слышал самооправдание: осудили его по недоразумению, он не виновен, это роковая ошибка судьи и присяжных заседателей, он честный, хороший, достойный человек!..

— Они как будто сговорились в самовосхвалении, — думал император, — послушаем, что скажет последний.

— Я виновен, — сказал, зарыдав этот смертник, — мое положение было безвыходным: больная жена и восемь человек детей. В доме нет черствой корки, а соседка жила на широкую ногу в роскошной квартире, потому что занималась маркитантством в армии. Я пошел к ней — попросить взаймы денег, чтобы купить хлеба для голодных крошек, но она затопала на меня

ногами, назвала бездельником и попыталась вытолкать за дверь... Не помня себя от горя и отчаяния, я схватил ее за руку и ударил головой об угол стола. Удар пришелся в висок. Смерть наступила моментально. Я сам заявил об этом в полицию. Меня арестовали, судили, приговорили к смертной казни, которая совершится завтра... Я не оправдываю себя. Мне отрубят голову... Я избавлюсь от душевных и телесных страданий... Но в последний момент мне хотелось бы крикнуть из глубины сердца: «Помяни меня, Господи, во царствии Твоем»...

— Ты знаешь, кто разговаривает с тобою?

— Не имею чести знать.

— Я — император Наполеон.

Испуганный смертник пал на колени:

— Ваше императорское величество, я не могу поднять на вас своего лица, — так я виновен в тяжком преступлении!..

— Поднимись. Мне понравилось твое чистосердечное раскаяние и бесстрашие перед смертью. Через несколько минут тебя освободят. Ты будешь жить. Позабочусь я и о твоей семье.

— Ваше императорское величество... как мне?.. что мне?.. Сон это или явь? — залепетал преступник. — Господи, Ты говоришь устами великого человека, Ты прощаешь меня, как простил разбойника, который висел на кресте рядом с Тобою.

1967 г.

Брайт.

СОЛНЦЕ ОПОЗДАЛО

Он появился на свет не вовремя. Ему надо было родиться на триста лет раньше или на двести позже. Тогда, в эпоху Возрождения, во всем мире жили чуткие души, которые понимали художников, поэтов, музыкантов, архитекторов. Ценя искусство, они покровительствовали талантам и печатали их книги, предоставляли творцам уют своих палат и дворцов, устраивали выставки их картин и слушали только что созданные ими симфонии. Мир не забудет великих меценатов, благодаря которым человечество стало богаче и культурнее.

Вероятно в далеком будущем хорошая традиция прошлого снова восторжествует среди коммерсантов и опять будут появляться бескорыстные души, любящие все то, что овеяно творческим вдохновением. Мир от стяжания повернется к раздаче своих богатств, от себялюбия к человеколюбию, от скупости к щедрости. от узости к широте. Человечество поймет, оно должно будет понять, что жизнь, свет, радость, любовь царят только тогда, когда человек не замыкается в своих норах стяжательства, а выходит на простор широких дорог и зорко приглядывается, чутко прислушивается ко всему тому, что происходит вне его, чтобы не загубить ни один талант, чтобы дать возможность этим зернам и семенам пустить корни, расти, цвести и приносить живительные плоды.

Сила государства будет измеряться не количеством войск, танков, дредноутов, авиаматок, ракет и

скоростных аэропланов, а исключительно наличием талантов и гениев во всех сферах жизни. И вот тогда бы, лет через двести или триста, надо было родиться герою этого рассказа. Он же родился в конце 19-го века, а жил и творил в первой половине 20-го.

Местом его рождения была бедная крестьянская изба с подгнившим фундаментом. Его школой была природа, его музыкой — жалобы на трудность и нехватки. Но при всем этом его родители обладали удивительным терпением и беспредельной добротой. Стесненные сами, вынужденные прибегать к займам хлеба у соседей, они не отпугивали никого из просящих. Получив отказ в приюте на ночлег в богатых домах, убогие странники шли в жалкую хижину, которая принимала всех усталых, голодных, изможденных трудной дорогой.

Своему последнему сыну, родители привили с юных лет внимание к людям, готовность радовать каждого человека — ласковым словом, добрым советом, трудовой помощью, последними грошами, горячей молитвой, слезами сочувствия. Нежность распускалась в сердце малыша. С годами этот стебелек разрастался, превращаясь в ветвистое дерево, под которым находили отдых все, кто в нем нуждался.

У него было свое человеческое имя, но мы назовем его Последним. В пятнадцать лет он сложил первые строки печальной песни о страданиях родного народа. Его вдохновительницей была мать — неграмотная крестьянка, любившая цветы, звезды и утренние росы. Она часто брала Последнего с собою, когда отправлялась в лес за грибами и ягодама. С весны до поздней осени мать ходила босиком. Обувалась только в праздники когда шла в церковь. К этому она приучила и своего младшего сына.

— Босиком легче, — говорила она, — человек без обувки похож на птицу. Босые ноги никого не задавят — ни жучка, ни козявки, а жить всякой твари охота.

Сын вырос, приобщился к науке, стал писателем. Каждое лето он приезжал в родное село, где на широкой площади читал свои рассказы и стихи. Многочисленные слушатели радовались и горевали, а, расходясь по домам, просили переписать для них новые строки, пока они еще не увидели света в печати.

Последний чувствовал себя неотъемлемой частью де-

ревни, которая вспоила и вскормила его, дала зарядку любви к простому народу, укрепила его идеал служения. Казалось, что эта мечта уже была достигнута: его слушают, на его творениях учатся жить, он любим всеми, с кем соприкасается.

Но загремела война, его послали на фронт, где в кровопролитном сражении он был взят в плен неприятелем. В лагере военнопленных он чудом уцелел в то время, когда смерть ежедневно уносила по шести сот человек и больше.

Всему в мире бывает конец. Закончилась и война, наступило освобождение. Задумался Последний: «Что делать? Вернуться на родину или остаться в культурной Европе?» Там, где он провел часть жизни, свирепствовал террор. И он остался на чужбине, а позже попал в Америку. Ему казалось, что жить можно везде, где обосновались его соотечественники, скорбящие, добровольные изгнанники. Как и на родине, можно радовать их стихами, песнями, рассказами, материальной помощью дружеской поддержкой. В Америке издавались русские газеты, где вначале к Последнему отнеслись с полной благожелательностью. Он стал выступать на вечерах, стал печататься. Среди возгласов одобрения и восторга он чувствовал себя, как трепещущий крылышками жаворонок в голубой лазури неба. Его полюбили. Но... в этом земном мире кроме любви царит ненависть, кроме света господствует тьма, рядом с доброжелательством шагает зависть, к восклицаниям восторга присоединяются свистки ненависти и шипение клеветы.

И по мере того, как поэт завоевывал все больший успех в массах, в руководящих центрах забурлила против него чудовищная, умопомрачительная вражда. Главари стали соревноваться в выдумках о человеке, у которого не было ни одной черной мысли против кого-либо. Все раздражало злопыхателей: и почему он выпускает книгу за книгой? И на какие средства он путешествует внутри континента и по дальним странам? Если он это делает, то не иначе, как на деньги каких-то темных организаций, которые рано или поздно ждет печальный конец. В редакции газет и журналов потекли мутными потоками доносы на человека с чистым сердцем и с открытой душою.

Клевета в Священном Писании называется лакомством для определенного сорта людей. И вот к этому лакомству приникли прежде всего владельцы издательств. «Ах, он такой? Закрыть для него входы в наши содружества». И так одна за другой все двери, куда он раньше входил беспрепятственно, крепко захлопнулись.

Сначала поэт терпел, потом стал впадать в уныние. Батальоны, полки и дивизии ненависти сломили его. Солнце человечности для него закатилось. Он понял, что вне родины попал в царство скорпионов, летучих мышей, ядовитых пауков и смертоносных кобр. Депрессия завладела им. Это совпало как раз с ненастьем в атмосфере. Солнце не показывалось уже долгое время. Обессилевший, измученный морально, ослабевший физически — он лежал возле окна и с тоскою ждал, когда свет победит тьму.

Немногие друзья, оставшиеся верными ему, изредка навещали больного. — Неужели солнце честности, справедливости и доброжелательства навсегда покинуло души тех, которые создают общественные мнение? — спрашивал он.

Друзья утешали его, как могли, говорили, что нужно подождать.

— Пока солнце взойдет, роса очи выест..... Рассвет правды замедлил — значит лучше умереть... Не беспокойтесь: я не прерву своего дыхания насилием над собою... Я просто истаю, как тают мартовские сосульки, догорю, как догорает свеча, угасну, как угасает закат... В другом мире, в обществе чистых сердцем, мне будет лучше.... А здесь больше горя чем радостей, больше ненависти, чем любви....

Поэт не страдал каким-либо телесным недугом. Он лишь потерял способность сопротивляться злу, преодолевать его... Он догорал, дотлевал...

В один из утренних часов когда ему так хотелось увидеть солнце, он не вынес мрачного серого неба без единого луча рассвета и уснул, чтобы уже не просыпаться. О смерти узнали верные друзья. А через два дня, в вечерние часы гроб повезли на кладбище неподалеку от океана. И как раз в тот момент, когда гроб выдвинули из автомобиля и поставили на помост для последнего прощания, солнце одолело многоднев-

ные тучи и засверкало на росе, на голубых волнах, на живых цветах тех венков, которые были положены на гроб.

Но закрытые глаза затравленного клеветой уже не видели ни солнечных лучей, ни лазурного океана, ни широкого голубого неба.

Солнце опоздало.

Друг поэт перед опусканием гроба в могилу прочитал такие строки:

Да, он угас.... все ль ведают о том?
Покинул землю, где так мало света,
Где места нет для чуткого поэта,
Ушел к Отцу, в Его нетленный дом.
Сироты мы, не видя добрых глаз,
Не слыша речи ласковой и нежной,
В беспечности — безудержной, безбрежной —
Растратили мы добрых чувств запас.
Кругом цветы — зачем они теперь?
Сплетали мы ему венки из терний.
Горит закат. Безмолвен час вечерний.
Потеря наша — горше всех потерь.
Глашатай светлых истин и пророк —
Не оставлял он воплей без ответов.
На будущее, для других поэтов,
Запомнится ли горестный урок?
Научимся ль ценить живых людей?
Что может быть красивей и чудесней —
Предподносить цветы сердец за песни,
За блеск неумирающих идей?
Прощай, мой друг, прощай соратник мой,
Трудились мы с тобой на жесткой ниве.
Иссякли воды, бышие в разливе,
С чужой земли душа ушла домой.

Все, кто стоял возле гроба, плакали тихими слезами.

1966
Санта Барбара.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Первое мое стихотворение написано летом 1911-го, неурожайного года. Мне было 15 лет. В это время я готовился к поступлению в Учительскую Семинарию.

Вдохновила меня мать словами: «Был бы в нашем селе талантливый человек, все бы описал... А раз нет такого человека, то никто не узнает правды о крестьянском житье-бытье».

Услышав это сожаление, подумал: «А может быть я этот человек». Стихотворение в 28 строк было написано быстро, называлось «Голод». В тот же вечер возле нашего дома собралось много народа — послушать нового, «своего» поэта.

Об этом написан рассказ: «Доморощенный».

Печататься начал в Бузулукской газете, в марте 1917 года. В 1918 году вышел первый сборник. В нем было 24 моих и 36 стихотворений моих учеников 4-го класса.

В Москве впервые было напечатано стихотворение в 1924 году, в журнале «Делегатка». Позже мои стихи печатались в «Красной Ниве», в «Смене» и в других журналах.

В 1925 году стали печататься мои очерки в журналах: «Красная новь» и «Новый мир». О первом моем очерке хорошо отозвался Максим Горький. Редактору Воронскому он написал: «Очень мне понравились бытовые зарисовки Родиона Акульшина (Березовым я стал позже) — чувствуется, что автор хорошо знает деревню». Этот отзыв мне показал редактор журнала.

В том же году вышли в свет 2 книги: «САМОЛЕТ СТЕПАНИДА» (поэма, написанная ритмом «Гайаваты») и сборник очерков: «О ЧЕМ ШЕПЧЕТ ДЕРЕВНЯ». О книге было много благожелательных отзывов. В парижской газете: «ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ» под редакцией П. Н. Милюкова была напечатана большая статья о моей книге: «ШЕПОТ, ПЕРЕХОДЯЩИЙ В РОПОТ».

В годы НЭПа для меня были открыты двери многих газет и журналов. Каждый год я выпускал в свет две или три книги. Много писал для детей, сотрудничал в детских журналах.

В это время я был желанным гостем всех литера-

турных салонов Москвы, как известный чтец. Принимал участие во многих литературных вечерах в Москве и в провинции. Запомнились выступления в Большом зале Консерватории, в Колонном зале Дома Союзов, в большой аудитории Политехнического.

В феврале 1941 года в «Правде» появился злой фельетон Львова: «Писатели приехали» — о моих выступлениях вместе с Давидом Марковичем Хаитом в городах: Краснодар, Армавир, Майкоп.

Фельетон закрыл двери во все редакции и аудитории.

Когда началась война, я мог бы не вступать в «народное ополчение», но терпя бесправность, решил:

— Если я стал ненужным в тылу, то может быть пригожусь на фронте!

Лишения ополчения описаны в рассказе: «Два адреса». В плену пробыл три месяца в городе Рославле. Смертность в лагере была ужасающей: до 700 человек в день. Уцелел потому, что работал в кухне — варил баланду.

Из лагеря в конце 1941 года был направлен, как писатель, в Смоленск в редакцию русской газеты. Возглавлял газету Эрнест Шуле — бывший московский корреспондент фашистской газеты: «Фолькише Беобахтер». Он прекрасно говорил по-русски, был знаком со многими писателями и артистами. Его дача под Москвой была рядом с дачей певицы А. Неждановой. В откровенных разговорах он до небес превозносил таланты, энергию, изобретательность еврейской нации.

В смоленской газете со мной работали Шалва Сослани и Сергей Широков. До эвакуации Смоленска Широков был командирован в Берлин, где поступил на работу в «ВИНЕТУ». Там он возглавлял литературный отдел. По его протекции в «Винету» попали многие писатели и поэты.

После Смоленска год жил и работал в Минске, потом в Барановичах, откуда бежал в Берлин, где сразу был устроен на работу Сергеем Широковым.

В 1945 году в январе оставил работу в «Винете» и направился в сторону Зальцбурга. Там дождался прихода американцев. Несколько лет жил в дипийском лагере: «Парш», в деревне Мауеркирхен и снова в лагере. Связался через «Новое Русское Слово» с братьями Ле-

виными. Они прислали мне аффидейвит.

В 1949 году очутился в Нью-Йорке. В Н. Р. С. начал печататься еще живя в Австрии. В качестве гонорара получал из редакции посылки. Особенно ценными были папиросы: на эту «валюту» в Австрии можно было достать все, что угодно.

В Нью-Йорке выступил в нескольких аудиториях. От моего чтения слушатели были в восторге. Обо мне печатались хорошие отзывы.

В 1950 году перебрался в Калифорнию, где в Монтерее началась «Березовская болезнь», длившаяся 7 лет. Сущность ее всем известна: люди, скрывая свое прошлое, сочиняли о себе легенду. Я решил сказать о себе правду и это принесло мне много скорби. Но светлое начало восторжествовало: по предложению сенатора Джона Кеннеди был издан закон о реабилитации «березовцев», которых оказалось 25 тысяч.

В 1951 году вышла моя первая американская книга: «НАРОДНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ». Помог мне тогда Марк Ефимович Вейнбаум: он напечатал в газете мою рекламную статью с просьбой о предварительной подписке. За три месяца откликнулось 550 человек. Я сохранил эти адреса. Всякий раз, издавая новую книгу, рассылал письма с просьбой о подписке. Со многими читателями завязалась дружба. Подписчики всегда поддерживали меня.

«ПЕСНИ ЖИЗНИ» — 20-я книга.

Сначала я хотел издать роман о старой деревне — книгу размером в 700 страниц с иллюстрациями художника Е. В. Гарина. Но оказалось, что на издание такой книги нужно 10 тысяч долларов. Подписка мне дала одну тысячу. Остальные девять достать было негде. Прибегнув к небольшому займу, решил вместо романа выпустить в свет сборник повестей и рассказов. Хочется верить, что подписавшиеся на роман поймут меня и простят. Этот роман о деревне в двух томах по 700 страниц может быть когда-нибудь увидит свет на Родине. Но меня уже не будет на свете.

В 1971 году весной мне исполнится 75 лет. Энергия моя пока не иссякла. Но к смерти всегда готов.

Зачеркиваю чаще адреса,
Уходят адресаты в небеса.

Настанет день, когда и там и тут —
Друзья мой адрес с грустью зачеркнут.
Моя установка жизни: радование людей.
Философия жизни проста:
Радуй всех — будешь радостен сам.
В этом смысл, в этом — цель, красота,
Подчиненье души небесам.

В последний год моим утешением стал поэт, автор акростихов — Геннадий Геннадиевич Панин. Он первым написал мне. Я с радостью ответил. Возникла дружба. С каждым днем она крепнет все больше: приятно жить на свете, сознавая, что тобой кто-то интересуется, что тебя кто-то любит и готов поддержать чем только можно в любую минуту.

Геннадий Геннадиевич посвятил мне множество акростихов. Приведу некоторые.

ПЕСНИ ЖИЗНИ

Приветствую Вас с книгой новой. Знаю —
Ее прочтут не раз и перечтут.
Себя, талант свой Вы вложили в труд,
Не пряча солнца, тени не скрывая.
И славный наш язык помог и тут.

Желаю вам — от всей души желаю, —
Известности, заслуженной трудом.
Завидую немного, не скрываю.
Надеюсь — лед на Родине растает
И «Песни жизни» примет отчий дом.

ДРУГУ

Добрый друг, труды твои приятны,
Радуют сердечностью они.
Услыхав случайно взгляд обратный,
Говорю: на солнышко взгляни,
Убедишься — и на нем есть пятна.

Далеко мы друг от друга. Все же
Расстоянье можем одолеть.
Уверяю: почта нам поможет,
Где-нибудь найдем на марки «медь»...
Уповаю я на милость Божью.

Много у меня и других друзей доброжелателей. Если каких-либо двух друзей можно сравнить с крыльями самолета, то это Водневский и Березов. На совместной работе по изданию газеты «НАШИ ДНИ» мы, как два крыла. Нашей дружбе много лет, она бесконечна. Водневский моложе меня на 22 года. После моей смерти он обещает написать обо мне книгу и назвать ее «ВОЛЖСКИЙ СОЛОВЕЙ». Мы с ним — братья во Христе.

Мои друзья — сотни и тысячи моих читателей.

Из богатых людей мне никто не покровительствует. Все, что я имею — результат моего упорного труда. Путешествую я на свои скромные сбережения, а книги издаю благодаря подписке читателей.

До 1970 года в газете «Новое Русское Слово» печатались мои повести, рассказы, очерки, статьи, стихи.

Хотелось бы дружбу с редактором газеты сохранить до конца своих дней: Марк Ефимович Вейнбаум сыграл огромную роль в драме, которая называлась «Березовской болезнью». Он помещал много заметок о течении этой болезни, напечатал свою большую статью, взывая к общественности — поддержать Березова, благодаря ему было собрано 5 тысяч подписей под воззваниями в Конгресс и в Сенат — об оставлении Березова в США.

Всем поставившим подписи под воззваниями, всем откликающимся на просьбы о подписке, всем моим добрым, отзывчивым, чутким, внимательным читателям — приношу горячую искреннюю благодарность, как друг, как брат, как автор, как просто человек из Заволжской деревни, по имени Родион. Отца моего звали Михаилом.

Будьте счастливы, отзывчивые, хорошие люди!

Март 1970 года,

Калифорния.

Б48-оп